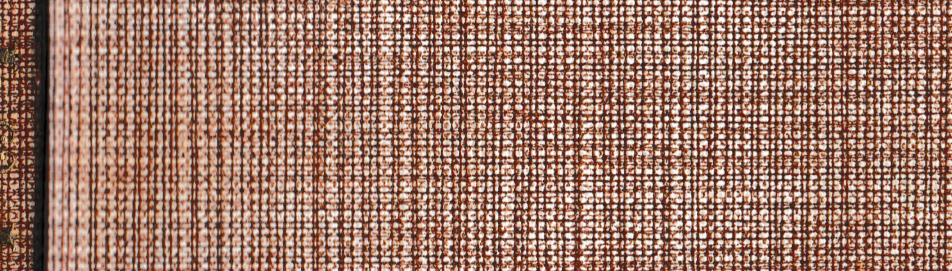
П.П.БАЖОВ

П.П.БАЖОВ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

П. П. БАЖОВ

Сочинения в трех томах

ТОМ

II

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Собрание сочинений печатается по изданию:
П. П. Бажов. Сочинения в трех томах.
Изд-во «Правда», 1976.

Иллюстрации художника
И. И. Пчелко

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Книга вторая

ОРЛИНОЕ ПЕРО

В деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. Вскорости после гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Ну, все-таки каждый, кто за советскую власть, придумывал, чем бы ей пособить.

В Сарапулке, известно, от дедов-прадедов привычка осталась в камешках разбираться. В междупарье, али еще когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про это вот вспомнили и тоже артелку устроили. Стали графит добывать. Вроде и ладно пошло. На тысячи пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина: то ли графит плохой, то ли цена неподходящая, этого растолковать не умею. Бросили и бросили, за другое принялись — на Адуй наметились.

Адуйское место всякому здешнему хоть маленько ведомо. Там главная приманка — аквамаринчики да аметистишки. Ну и другое попадается. Кто-то из артелки похвастал: «Знаю в старой яме щелку с большой надеждой». Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло. Два ли, три занорыша нашли. Решеточных! Решетками камень считали. На их удачу глядя, и другие из Сарапулки на Адуй кинулись: нельзя ли, дескать, и нам к тому припаиться. Яма большая — не запретишь. Тут, видно, и вышла не то фальшь, не то оплошка. Артелка, которая сперва старалась, жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали, искали, не нашли. Что делать? А в Березовске в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, и просят:

— Сделай милость, Кондрат Маркелыч, поищи жилку!

Угощенье, понятно, поставили, словами старика всяко задабривают, на обещанья не скупятся. Тут еще березовские старатели подошли, выхваляют своего горщика:

— У нас Маркелыч на эти штуки дошлый. По всей округе такого не найдешь!

Приезжие, конечно, и сами это знают, только помалкивают. Им на руку такая похвальба: не расшевелит ли она старика. Старик все-таки наотрез отказывается:

— Знаю я эти пережимы на Адуе! Глаз у меня теперь их не возьмет.

Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика да наговаривают: одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, к кому пойти? Старику лестно такое слушать, да и стаканчиками зарядился. Запошевеливал плечамито, сам похваляться стал: это нашел, другое нашел, там место открыл, там показал. Одним словом, дотолкали старика. Разгорячился, по столу стукнул:

— Не гляди, что старый, я еще покажу, как жилки искать!

Артельщикам того и надо.

— Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи, а мы в долгу не останемся. От первого занорыша половина в твою пользу.

Кондрат от этого в отпор.

— Не из-за этого стараюсь! Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием который.

Правильно слово сказано: пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на Адуй идти. Расспросил на месте, как жилка шла, стал сам постукивать да смекать, где потерю искать, а удачи нет. Артельщики, которые старика в это дело втравили, видят — толку нет, живо от работы отстали. Рассудили по-своему:

— Коли Кондрат найти не может, так нечего и время терять.

Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время подошло покосное. Всякому охота впору сенца поставить. На Адуйских-то ямах людей, как корова языком

слизнула: никого не видно. Один Кондрат у ямы бьется. Старик, видишь, самондравный. Сперва-то он для артельщиков старался, а как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошел:

— Добьюсь своего! Добьюсь!

Не одну неделю тут старался в одиночку. Из сил выбиваться стал, а толку не видит. Давно бы отстать надо, а ему это зазорно. Ну, как! Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти! Куда годится. Люди засмеют. Кондрат тогда и придумал:

— Не попытать ли по старинке?

В старину, сказывают, места искали рудознатной лозой да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела — для камешков. Кондрат про это сызмала слыхал, да не больно к тому приверженность оказывал,— за пустяк считал. Иной раз и посмеивался, а тут решил попробовать.

— Коли не выйдет, больше тут и топтаться не стану.

А правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит-камнем потереть, потом поисковым. Тем, значит, на который охотишься. Слова какие-то требовалось сказать. Эту заговоренную стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться перед тем, как стрелу пустить.

Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься, он и придумал пристроить к этому своего не то внучонка, не то правнучка. Не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из березовских старателей подходили с разговором, всех обнадеживал: на недельку еще сходить придется.

Сходил, как полагается, в баню, попарился, полежал денек дома, а как стал собираться, говорит внучонку:

— Пойдешь, Мишунька, со мной камешки искать?

Мальчонку, понятно, лестно с дедушком пойти.

— Пойду,— отвечает.

Вот и привел Кондрат своего внучонка на Адуй. Сделал ему лучок, стрелу по всем старинным правилам изготовил, велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять, куда придется. Мальчонка рад стараться. Все исполнил, как требовалось. До трех раз стрелял.

Только видит Кондрат — ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенек угодила, второй — в траву пала, третий — около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырялся маленько. Так, для порядка больше, чтоб выполнить все по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком да стрелой играть стал. Набегался, наигрался. Дедушко покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. Обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли еще как попытать. Тут ему и пришло в голову: потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена.

— Мальчонка, конечно, несмысленыш. Самый вроде к тому делу подходящий, а все-таки не он искал, потому и показа нет. Придется, видно, самому испробовать.

Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была. А на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке. На руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой:

— Не по годам тебе, дедушка, ребячьей забавой тешиться. Не по годам!

Кондрату неловко, что его за таким делом застали, говорит в сердцах:

— Проходи своей дорогой! Тебя не касаемо.

Прохожий смеется.

— Как не касаемо, коли чуть стрелой мне в ногу не угодил.

Подошел к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то со смешком:

— Эх, дед, дед! Много прожил, а присловья не знаешь: то не стрела, коя орлиным пером не оперена.

Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает:

— Нет по нашим местам такой птицы! Неоткуда и перо брать.

— Неправильно,— говорит,— твое слово. Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом.

Кондрат посомневался:

— Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своем деле не хуже людей разумею.

— Какое,— спрашивает,— дело?

Старик тут и распоясался. Всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, а рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет:

— Так, так, дедушка, а дальше что?

Кончил старик свой рассказ. Прохожий похвалил:

— Честно, дед, поработал. Много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?

Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел этак вприщур, да и говорит:

— То-то и есть. Орлиного пера твоей стреле не хватает.

Кондрат тут вовсе рассердился. Обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими! Закричал этак сердито:

— Говорю, нет по нашим местам такой птицы! Не найдешь пера! Глухой ты, что ли?

Прохожий усмехнулся, да и спрашивает:

— Хочешь, покажу?

Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит:

— Покажи, коли умеешь, да не шутишь.

Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький. Ростом кулака в два. Сверху и снизу ровнехонько срезано, а с боков обделано на пять граней. В потемках не разберешь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке — орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки, против каждой грани.

Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит — не видно. Световой колокол не больно высок. Так в три либо четыре человечьих роста. В свету мошкары вьется видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся.

— Видишь,— спрашивает,— перья?

— Вижу,— отвечает,— только это вовсе не орлиные.

— Правильно, не орлиные, а больше воробьиные,— говорит прохожий и объясняет: — Это твоя жизнь, дед,

показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые, на таких высоко не подняться. Мошкара глаза забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет.

Задел опять пальцем которое-то пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зеленый примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а вверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше журавли, еще выше — лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья книзу ровнее летят, потому — вес другой.

Прохожий еще задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и ввысь взлетел. Свет такой, что глаза слепит. Голубым, зеленым и красным отливает. На земле на две сажени в глубину все видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. Те перья к земле, как стрелы, летят и у самого того места, где камешек поставлен, падают. Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит:

— И выше орла, дед, птицы есть, да показать опасаюсь: глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу!

Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывает старику:

— Опускай в то место, где жилку ждешь, а зажмуривать глаза да крутиться не надо.

Кондрат послушался. Полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то что все каменные жилки-ходочки, а и занорыши видно. Один вовсе большой. Аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, растревожился, побежал поближе посмотреть, а свет и погас. Маркелыч кричит:

— Прохожий, ты где?

А тот отвечает:

— Дальше пошел.

— Куда ты в темень такую? Хитники пообидеть могут. Не ровен час, еще отберут у тебя эту штуку! — кричит Маркелыч, а прохожий отвечает:

— Не беспокойся, дед! Эта штука только в моих руках действует да у того, кому сам отдам.

— Ты хоть кто такой? — спрашивает Маркелыч.

А прохожий уж далеко. Едва слышно донеслось:

— У внучонка спроси. Он знает.

Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балагашка. Как дедушко пришел, Мишунька и говорит:

— А ведь это, дедушко, у тебя был Ленин!

Старик все-таки не удивился.

— Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают — ходит он по нашим местам. Ходит! Уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись. К орлиному, значит, перу.

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат.

Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.

Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. А тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.

Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивленье людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья, и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:

— Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.

Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало и сам-друг пески перелопачивали,— свою долю искали. Случалось и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют все, как полагается, и опять на работу, только куданибудь на новое место: там, может, повеселее.

Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда.

Вахоня гудит:

— Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается:

— Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рукам липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.

— У тебя, небось, ни один не задержится,— отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо!

Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.

На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали. Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:

— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи-старики, от лица советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же,— говорит,— фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках де-

лается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и все хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:

— Не до этого теперь, да и на то главки есть.

Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах все есть. Старики тогда и порешили:

— Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдет время.

Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.

Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.

Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень все — самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:

— Хо-хо-хо. Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.

Садык на это в обиде.

— Глупый,— говорит,— ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.

Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие

камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.

Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:

— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу.

Садык отвечает:

— Бачка Ленин желаим каминь казать.

Вахоня тут же гудит:

— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают.

Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:

— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.

Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.

Владимир Ильич и спрашивает:

— Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:

— С этим погодить можно.

Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:

— Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь...

Владимир Ильич удивился:

— У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солнечный каминь находили.

Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:

— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается:

— Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.

— Это,— говорит Владимир Ильич,— всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:

— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! — И руки им, понимаешь, пожал.

Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:

— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.

Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.

За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по званью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.

Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны,— и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами,— примечай, знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки,— и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али го-

лубого. Про хвостовое перо говорить не осталось,— как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.

Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубавили. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой — и дыханья нет. Одним словом, поработали.

Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

— Здоровеньки, богатыри?

А они подымутся враз, да и загрохочут:

— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует,— стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки уперся, да и задремал. Ну, все-таки заботы не потерял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.

К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться.

Первый-то, кто на это диво набрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.

За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота все богатство на себя одного перевести.

Прибегут такие, видят — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать.

— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.

Старик на эти речи ухмыльнется и пробурчит, как гром по далеким горам:

— Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.

И сейчас своей птице знак подает.

— Посторонись, Стрекотуха.

Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и уставится на добытчика.

Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не насмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырева рукавица — людям невподъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьешь.

Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и загибнет.

Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлет свою сороку.

— Погляди-ко, Стрекотуха, далече ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.

Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит, да и стрекочет:

— На дороге лежит, кости волками оглоданы.

Богатырь Денежкин на это и говорит:

— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.

Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали.

Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал:

— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу подберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, муторно.

Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел. Говорил сороке:

— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.

Только перемены все не было.

Старик Денежкин иной раз жаловался:

— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.

Когда опять уговаривать сороку примется:

— Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.

Сорока на это головой скоренько запокачивает:

— Верное слово говоришь. Придет!

А старик тогда и вздохнет:

— Передадим ему все по порядку — и на спокой.

Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтоб человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела, да и прихорошивается.

Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнуться не в силах, все-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит: идет по тропке человек, и никакого при нем снаряду — ни каелки то есть, ни лопатки, ни ковша, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идет скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково:

— Здравствуй, дедушка богатырь!

Старик загрохотал по-своему:

— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?

— Да вот,— отвечает,— хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.

— Давно,— говорит Денежкин,— такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображения нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут, и делу помеха.

— А ты,— спрашивает,— при каком деле, дедушка, приставлен?

Старый богатырь тут и объяснил все,— какая, значит, сила рудяных да каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:

— Поглядеть из своей руки можно?

— Сделай,— отвечает,— милость, погляди.

И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.

Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:

— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.

Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько:

— Дождались, Стрекотуха, настоящего, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.

Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу:

— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.

Человек на это отвечает:

— Не беспокойся, старина. Разберем как полагается. Коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.

— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил,— говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь, чего там больше: черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга смолой побрызгана, а черного глаза в веселом зеленом ободке не видно,— крепко закрыт. И зовется то место — урочище Сорочье.

Человек постоял еще, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берет с земли богатыреву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три, либо четыре человечьих роста. Только человек и сам на глазах растет. Легонько, двумя перстами поднял богатыреву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:

— Пусть полежит вместо покрышки. Все-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и еще пригодится.

Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно, чем дальше уходит, тем больше кажется.

СТАРЫХ ГОР ПОДАРЕНЬЕ

Это ведь не скоро разберешь, где старое кончается, где новое начинается. Иное будто вчера делано, а думка от дедов-прадедов пришла. Не разделишь концы-то. Недавно вон у нас на заводе случай вышел. Стали наши заводские готовить оружие в подарок первому человеку нашей земли. Всяк, понятно, старался придумать как можно лучше. Без спору не обошлось. В конце концов придумали такое, что всем по душе пришлось и совсем за новое показалось. Старый мастер, когда ему сказали: форма такая, разделка полосы этакая, узор такой,— похвалил выдумку, а потом и говорит:

— Если эту ниточку до конца размотать, так, пожалуй, дойдешь до старого сказа. Не знаю только, башкирский он или русский.

По нашим местам в этом деле — и верно — смешицы много. Бывает, что в русской семье поминают бабку Фатиму, а в башкирской, глядишь, какая-нибудь наша Маша-Наташа затесалась. Известно, с давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли, на рудниках да на приисках рядом колотились. При таком положении немудрено, что люди и песней, и сказкой, да и кровями перепутались. Не сразу разберешь, что откуда пришло. Привычны у нас к этому. Никто за диво не считает. А про сказ стали спрашивать. Старый мастер отказываться не стал.

— Было,— говорит,— еще в те годы, как я вовсе молодым парнишкой на завод поступил. С полсотни годов с той поры прошло.

В цеху, где оружие отделывали да украшали, случилась нежданная остановка. Позолотчики оплошали: до того напустили своих едучих зеленых паров, что всем

пришлось на улицу выбежать. Ну, прокашлялись, прочихались, отдышались и пристроились передохнуть маленько. Кто цыгарку себе свернул на тройной заряд, кто трубку набил с верхушкой, а кто и просто разохотился на голубой денек поглядеть. Уселись, как пришлось, и завели разговор. Рисовщик тогда у нас был. Перфишей звали. По мастерству из средненьких, а горячий и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое ему и прозванье было — Перфиша Пышкало. Он, помню, и начал разговор. Сперва на позолотчиков принялся ворчать, да видит,— остальные помалкивают, потому всяк про себя думает: с кем ошибки не случается. Перфиша чует,— не в лад пошло, и переменил разговор. Давай ругать эфиопского царя:

— Такой-сякой! И штаны-то, сказывают, в его державе носить не научились, а мы из-за него задыхайся.

Другие урезонивали Перфишу:

— Не наше дело разбирать, какой он царь. Заказ кабинетский, первостатейный, и должны мы выполнить его по совести, чтоб не стыдно было наше заводское клеймо поставить.

Перфиша все-таки не унимается.

— Стараемся, как для понимающего какого, а что он знает, твой эфиопский царь. Наляпать попестрее да поглазастее — ему в самый раз, и нам хлопот меньше.

Тут кто-то из молодых стал рассказывать про Эфиопию. Сторона, дескать, жаркая и не очень чтоб грамотная, а себя потерять не желает. На нее другие, больно грамотные, давно зубы точат, а она не поддается. И царь у них, по-тамошнему негус, в том деле заодно с народом. А веры они, эти эфиопы, нашей же, русской. Потому, видно, и придумали кабинетские подарок в Эфиопию послать.

С этого думки у людей и пошли по другим дорожкам. Всем будто веселее стало. По-хорошему заговорили об эфиопах:

— Настоящий народ, коли себя отстоять умеет. А что одежда по-другому против нашего, так это пустяк. Не по штанам человеку честь.

Перфиша видит,— разговор вовсе не в ту сторону пошел, захотел поправиться да и ляпнул:

— Коли так, то надо бы этому царю не меч сделать,

а шашку, на манер той, какая, сказывают, у Салавата была.

Тут Митрич, самый знаменитый по тем годам мастер, даже руками замахал:

— Что ты, Перфиша, этакое, не подумавши, говоришь. Деды-то наши, поди, не на царя ту шашку задумали.

Наш брат — молодые, кто про эту штуку не слыхал,— начали просить:

— Расскажи, дедушка Митрич? — А старик и не отговаривался:

— Почему не рассказать, если досуг выдался. Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные — в покор, иные — в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Вот слушайте.

Сперва в том сказе о Салавате говорится, что за человек был. Только по нашим местам об этом рассказывать нет надобности, потому как про такое все знают. Тот самый Салават, который у башкир на самой большой славе из всех старинных вожаков. При Пугачеве большую силу имел. Прямо сказать, правая рука. По письменности, сказывают, Салавата казнили царицыны прислужники, только башкиры этому не верят. Говорят, что Салават на Таганай ушел, а оттуда на луну перебрался. Так вот с этим Салаватом такой случай вышел.

Едет он раз близко здешних мест со своим войском. Дорога по ложку пришлась. Место узкое. Больше четырех конников в ряд не войдет. Салават по своему обычаю впереди. Вдруг на повороте выскочил вершник. В башкирских ичигах, в бешмете, а шапка русская — с высоким бараньим околышем, с суконным верхом. И обличьем этот человек на русскую стать — с кудрявой бородой широкого окладу. В немолодых годах: седины в бороде много. Конек под ним соловенький, не больно велик, да самых высоких статей: глаз горячий, навес, то есть грива, челка и хвост,— загляденье, а ножки подсушены, стрункой. Тронь такого, мелькнет — и не увидишь.

Башкиры — конники врожденные. При встрече сперва лошадь оглядят, потом на человека посмотрят. Все, кому видно было, и уставились на этого конька, и Салават тоже. Никто не подумал, откуда вершник появился и нет ли тут чего остерегаться. У каждого одно на

уме: такого бы конька залучить. Иные за арканы взялись. Не обернется ли дело так, чтоб захватом добыть. Все смотрят на Салавата, что он скажет, а тот и сам на конька загляделся. Под Салаватом, конечно, конь добрый был. Богатырский вороной жеребец, а соловенький все-таки еще краше показался. Закричал Салават:

— Эй, бабай, давай коням мену делать.

Вершник посмотрел этак усмешливо и говорит:

— Нет, батырь Салават, не за тем я к тебе прислан. Подаренье старых гор привез. Шашку.

Салават удивился:

— На что мне шашка, когда у меня надежная сабля есть. Вот гляди.

Выхватил саблю из ножен и показывает. Сабля, и точно, редкостного булату и богато украшена. На крыже и головке дорогие камни, а по всей полосе золотая насечка кудрявого узора. Ножны так и сверкают золотом да дорогими каменьями.

— Лучше не найдешь! — похвалился Салават.— Сам батька государь пожаловал. Ни за что с ней не расстанусь!

Вершник опять усмехнулся:

— Давно ли ты, батырь, считал своего вороного первым конем, а теперь говоришь мне: давай меняться. Как бы и с шашкой того не случилось. Батька Омельян, конечно, большой человек, и сабля его дорого стоит, а все-таки не равняться ей с подареньем старых гор. Принимай!

Подъехал к Салавату, снял по русскому обычаю шапку, а с коня не слез и подает шашку. Пошире она сабли, с пологим выгибом, в гладких ножнах. На них узор серебряный заподлицо вделан, как спрятан. Казового будто ничего нет, а тянет к себе шашка. Сунул Салават свою саблю в ножны, принял шашку и чует — не легонькая, как раз по руке. Вытащил из ножен — обомлел: там в полосе молнии сбились, вот-вот разлетятся. Махнул — молнии посыпались, а шашка целехонька.

— А ну, на крепость! — кричит Салават. Подлетел к большой сосне, а они ведь у нас, сами знаете, какие по горам растут. Как камень, в воде тонут. Рубанул Салават с налету во всю силу и думает,— посмотрю, какую зарубку оставит, если не переломится. Шашка прошла сосну, как прутик какой. Повалилась сосна, чуть

Салавата с конем не пришибла. Вершник приезжий тогда и спрашивает:

— Разумеешь, батырь Салават?

— Разумею,— отвечает.— Другой такой шашки на свете быть не может. Из своих рук ни в жизнь не выпущу.

— Не торопись со словами, Салават,— ответил приезжий,— сперва наказ выслушай!

— Какой еще наказ! — загорячился Салават.— Сказал — не выпущу из своих рук, пока жив! Тут и наказ весь!

— Этого,— отвечает,— и я тебе желаю, да не в моих силах то сделать. Шашка, сам видишь, не простая. По-доброму-то ее надо бы батьке Омельяну, как первому вожаку, да жил он всякова-то: в его руках шашка силу потеряет. Ты молодой, корыстью тебя никто не укорил, тебе и послали, но в малый дар. Знаешь, как при русских свадьбах бывает. На посыл жениха невеста со сватом посылает сперва малый дар. Он, может, и самый дорогой да посылается не навовсе, а вроде как для проверки. Невеста вольна во всякое время взять малый дар обратно. Так ты и знай! Будет эта шашка твоей, пока ничем худым и корыстным себя не запятнал. Если в том удержишься, тебе эту шашку, может, и в большой дар отдадут,— навсегда то есть.

— А как это узнать? — спрашивает Салават.

— Об этом не беспокойся. Явственно будет показано, а как — того не ведаю.

На Салавата тут раздумье нашло:

— Что будет, если со мной ошибка случится?

— Шашка силу потеряет и на весь твой народ беду приведет, если не вернешь шашку в гору.

— Как тебя найти? — спрашивает Салават.

— Меня больше не увидишь, а должен ты найти девицу, чтоб она жизни своей не пожалела, в гору с шашкой пошла. Там шашка опять свою силу получит, и снова ее вынесут из горы. Не знаю только, когда это будет и кому шашка достанется.

Выслушал Салават и говорит:

— Понял, бабай, твое слово. Постараюсь не ослабить силу шашки, а случится беда, выполню второй твой наказ. Одно скажи, можно ли с шашкой послать в гору свою жену?

— Это,— отвечает,— можно, лишь бы по доброй воле пошла.

Салават обнадежил:

— В том не сомневайся: любая из моих жен с радостью пойдет, коли надобность случится.

Вершник еще напомнил:

— Коли на себя потянешь, потеряет шашка силу, а если будешь заботиться о всем народе, без различья роду-племени, родных-знакомых, никто против тебя не устоит в бою.

На том и кончили разговор. Тут приезжий посмотрел на арканников, кои с его коня глаз не сводили, усмехнулся и говорит:

— Ну, что ж, играть так играть! За тем вон выступом еланка откроется, там и сделаем байгу. Кто заарканит моего Соловка, тот и владей им без помехи. Не удастся заарканить, тоже польза: в головах посветлеет.

Все, кто арканы наготовил, рады-радехоньки: почему счастья не попытать. Живо вперед вылетели. Отъехали немножко, там, верно, в горах широкая еланка открылась. Вершник подался шагов на десяток вперед, поставил коня поперек дороги, показал рукой на гору и говорит:

— Туда скакать буду, а уговор такой: рукой махну — ловите!

Кто со стороны на это глядел, те дивятся, почему мало забегу взял, зачем коня поперек дороги поставил, как нарочно подогнал, чтоб заарканить легче было. В арканниках-то один мастер этого дела считался. Мужичина здоровенный, и лошадка у него как придумана для такой штуки: на долгий гон терпелива и на крутую наддачу способная. Все и думают: непременно Фаглазам конька заарканит. Тут вершник сказал своему Соловку тихое слово, махнул рукой, и на глазах у всех как марево пролетело. Стали потом искать, куда вершник подевался. Доехали до того камня, на какой он указывал, и видят: на синем камне золотыми искриночками обозначено, будто тут вершник на коне проехал. На арканников накинулись, как они посмели затеять охоту на такого посланца. Самого Салавата окружили, давай спрашивать, о чем приезжий говорил. Салават рассказал без утайки, а ему наказывают:

— Гляди, батырь, чтоб такая шашка силу не потеряла. О себе не думай, о народе заботься. Родне поблажки не давай, в племенах различья не делай.

Салават уверил: так и будет. И верно, долгое время свое слово твердо держал, и гор подаренье служило Салавату так, что никакая сила против него устоять не могла. Ну, все-таки промахнулся. Родня с толку сбила. В роду-то у Салавата все-таки большие земли были, а заводчик Твердышев насильством тут завод поставил да еще две деревни населил пригнанными крестьянами, чтоб дрова рубили, уголь жгли и все такое для завода делали. Родня и стала подбивать Салавата: сгони завод и деревни с наших земель. Захватом, поди-ка, эта земля Твердышевым взята. Правильно сделаешь, коли его сгонишь. Салават сперва остерегался. Два раза побывал в заводе и деревнях и оба раза с какой-то девушкой разговор имел. Тут родня и поднялась. Ты, дескать, в неверную сторону пошел, от родных отмахнулся, а жены завыли: «Променял нас на русскую девку». Не устоял Салават, сделал набег со своей родней на завод и деревни.

— Убирайтесь,— кричит,— откуда пришли!

Люди ему объясняют,— не своей волей пришли, а родня и слушать такой разговор не дает. Кончилось тем, что завод и обе деревни сожгли, а народ разогнали. С той поры шашка у Салавата и перестала молнии пускать. В войске сразу об этом узнали. Да и как не узнать, коли Салават дважды раненным оказался, а раньше такого с ним не бывало. Тут и все дело Пугачева покачнулось и под гору пошло. Со всех сторон теснят его царицыны войска. Тогда Салават собрал остатки своих верных войсковых людей, захватил своих жен и прямо к Таганаю. Подошел к горе, снял с себя шашку, подал жене и говорит:

— Возьми, Фарида, эту шашку и ступай в гору, а я на вершину поднимусь. Когда шашка прежнюю силу получит, вынесешь ее из горы, и я к тебе спущусь.

Фарида давай отнекиваться: не привычна к потемкам, боюсь одна, тоскливо там. Салават рассердился, говорит другой жене:

— Иди ты, Нафиса!

Эта тоже отговорку нашла:

— Фарида у тебя любимая жена. Ее первую послал, пусть она и несет шашку.

У Салавата и руки опустились, потому — помнит — надо, чтоб своей волей пошла, а то гора не пустит. Как быть? Аксакалы войсковые да и все конники забеспокоились, принялись уговаривать женщин:

— Неуж вы такие бесчувственные? Всему народу беда грозит, а они перекоряются. Которая пойдет, добрую память о себе в народе оставит, а не пойдет — все равно и нам и вам не житье.

Бабенки, видно, вовсе набалованные. Одно понимали, как бы весело да богато пожить. Заголосили на всю округу, а перекоряться меж собой не забыли.

— Не на то меня замуж отдавали, чтобы в гору загонять. Пусть Нафиса идет. С хромой-то ногой ей сподручнее в горе сидеть.

Другая это же выпевает, а под конец кричит:

— Фаридке, с ее-то рожей, только в потемках и место. Самое ей подходящее в гору спрятаться!

Одним словом, слушать тошно, и конца не видно. Только вдруг объявилась девица из разоренной деревни. Та самая, с коей Салават два раза разговаривал. Посмотрела строго и говорит Салавату:

— Прогони бабенок! Разве это батырю жены! И родню твою тоже. Оставь одних верных людей, с коими по всей правде за народ воевал. Тогда поговорим.

Салават видит,— неспроста пришла. Велел сделать, как она сказала. Конники враз налетели, давай родню выгонять, а женёшки сами убежали, обрадовались, что в гору не идти. Как бабьего визгу-причету не стало, девица и говорит:

— Пришла я, батырь Салават, своей волей. Не жалею своей жизни, чтоб тебе пособить и народ из беды вызволить. О шашке, что у тебя в руке, мне многое ведомо. Веришь ли ты мне?

— Верю,— отвечает Салават.

— А веришь, так подавай подаренье старых гор.

Поглядел Салават на своих верных конников. Те головами знак подают: отдай шашку, не сомневайся. Поклонился Салават низким поклоном, поднял голову — и видит,— девица в другом наряде оказалась. До того была в худеньком платьишке, в обутках, в полинялом платчишке, а тут на ней богатый сарафан рудяного

цвету с серебряными травами да позументом, на ногах башкирские башмаки узорного сафьяну, на голове девичий козырек горит дорогими камнями, а монисто башкирское. Самое богатое, из одних золотых. Как прогрелось на груди. Так от него теплом да лаской и отдает.

«Вот она невеста. За своим малым даром пришла»,— подумал Салават. Подал шашку. Приняла девица обеими руками, держит перед собой, как на подносе, и улыбается:

— Оглядывался зачем?

Салават объясняет: хотел, дескать, узнать, верят ли тебе мои конники, а девица вздохнула:

— Эх, Салават, Салават! Кабы ты всегда на народ оглядывался! Не слушал бы родню да жен своих. Каких только и выбрал. Обнять тебя хотела на прощанье, да не могу теперь, как на них поглядела. Так уж, видно, разойдемся: я в гору, ты на гору. По времени и мне придется на вершине быть.

— Свидимся, значит,— обрадовался Салават.

— Нет, батырь Салават, больше не свидимся, и это старых гор подаренье тебе в руке не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народного.

— Когда же,— спрашивает Салават,— на горе покажешься?

— Это,— отвечает,— мне неведомо. Знаю только, что буду на вершине, когда от всех наших гор и от других тоже огненные стрелы в небо пойдут. Над самым большим нашим городом те стрелы сойдутся в круг, а в кругу будет огненными буквами написано имя того, кому старых гор подаренье навеки досталось.

Сказала так, повернулась и пошла к каменному выступу горы. Идет, не торопится, черной косой в алых лентах чуть покачивает, а шашку несет на вытянутых руках, будто на подносе. И тихо стало. Народу все-таки много, а все как замерли, даже уздечка не звякнет.

Подошла девица к камню, оглянулась через плечо и тихонько молвила: «Прощай, Салават! Прощай, мой батырь!» Потом выхватила шашку из ножен, будто давно к этому привычна, и рубанула перед камнем два раза на косой крест. По камню молнии заполыхали, смотреть людям не в силу, а как промигались, никого перед

камнем не оказалось. Подбежал Салават и другие к тому месту и видят — по синему камню золотыми искриночками обозначено, как женщина прошла.

Рассказал это Митрич и спрашивает:

— Поняли, детушки, на кого наши деды свое самое дорогое заветили?

— Поняли,— отвечаем,— дедушка Митрич, поняли.

— А коли поняли,— говорит,— так сами сиднями не сидите. Всяк старайся тому делу пособлять, чтобы дедовская думка поскорей явью стала.

— Он, видишь, Митрич-то наш, из таких был,— пояснил рассказчик,— в неспокойных считался, начальству не угоден. При последнем управляющем его вовсе из заводу вытолкнули. Не поглядели, что мастер высокой статьи. И то сказать, он штуку подстроил такую, что начальству пришлось в затылках скрести: как не доглядели. Ну, это в сторону пошло. Рассказывать долго.— Потом, помолчав немного, добавил:

— А насчет того, чтобы пособлять, это было. На моих памятях немало наших заводских в конники и войсковые люди того дела ушли, а потом, как свету прибавилось, и всем народом трудились. И вот дождались. Кто и сам не видел, а знает, когда над нашим самым большим городом огненные стрелы в круг сошлись. И всякий видит в этом круге имя того, кто показал народу его полную силу, всех врагов разбил и славу народную на самую высокую вершину вывел.

ИВАНКО КРЫЛАТКО

Про наших златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было,— кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набилось. Так и звались: Большая Немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой — и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит —нашим и без навозно́го немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки бы-

ли, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута,— немецкая то есть работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму или Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько.

— Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жилки, цепочки разобрать

можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похваляется:

— Это и есть немецкий рапота.

Начальство ему поддувает:

— О та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству,— так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:

— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.

Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонко — Иванко, той же фамилии — Бушуев. Смышленый по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допущу,— кричит,— чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:

— А все-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали,— старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел.

Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем,— кричит,— что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился.

— Коли,— говорит,— немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил,— живо побежал на завод. Поговорил с мастерами,— так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить,— Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий рапота.

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:

— Пора этот мальшик проба ставить,— а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет. Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил,— буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли.

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше фуйкина вышел.

Вспомнил это и говорит:

— Э, была не была! Может, так лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил,— сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.

Первым дедушко Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На кре-

пость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.

— Какой глюпость! Кто видел коня с крильом! Пошему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы,— кричит,— бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую,— и не препятствую.

Иванко повеселел маленько, да и обмолвился:

— Это она надоумила крылышки-то конькам приделать.— Дедушко удивился:

— Неуж такая смышленая девка?

Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще, гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскоре после иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из куту-

зовских. Немало он супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит,— у старика заслуг-то на груди небогато.

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют,— куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:

— Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет.

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю,— правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь,— пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год

тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо ростят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?

ВЕСЕЛУХИН ЛОЖОК

У нас за прудом одна логотинка с давних годов на славе. Веселое такое местечко. Ложок широконький. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудреватее растет и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо. И приставать с пруда к той логотинке сподручно: берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз — будто нароком улажено, а дно — песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Однем словом, все как придумано. Можно сказать, само это место к себе и тянет: вот де хорошо тут на бережке посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдаля поглядеть,— не лучше ли житьишко наше покажется?

К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Еще при Мосоловых мода завелась.

Они — эти братья Мосоловы, при коих наш завод строеньем зачинался, из плотницкого званья вышли. По-нонешнему сказать, вроде подрядчиков, видно, были, да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:

— Что-то ноне у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те подошли.

Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил — еле в двери протолкнуться. Ну, все-таки Мосоловы до полной барской статьи не дошли, попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:

— Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок, за прудом! Попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счет!

И верно, сказывают, в угощенье не скалдырничали. Вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколь нутро вытерпеть может.

Известно, подрядчичья повадка — год на работе мотают, день вином угощают да словами улещают:

— Уж мы вам, все едино как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь!

А чего, постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны!

От этих мосоловских гулянок привычка к веселому ложку и зародилась.

Хозяйское угощенье, понятно, не в частом быванье, а за свои, за родные хоть каждый летний праздник езди. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь,— чуть не все заводские лодчонки и ботишки к веселому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну, и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто — пирог с молитвой, а то и луковку побольше да погорчее. Однем словом, всяк по своей силе-возможности.

Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему, конечно: песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охтимне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить все-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку:

— Место там такое. Шибко драчливое.

К этому живо добавили:

— Веселуха там, сказывают, живет. Это она все и подстраивает. Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнет.

Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, по стакану из ее рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что заневолю поверишь, как он сказывать станет:

— Стоим это мы с Матвеичем на берегу, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное

житейское. И видим — идет не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней препестрый, цветощатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Однем словом, приметная. Мимо такая пройдет — на годы, небось, ее запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан граненого хрусталя, в другой — рифчатая бутылка зеленого стекла — цельный штоф. Ну, вот... Подходит эта молодуха к нам, наливает полнехонек стакан, подает Матвеичу и говорит:

— Тряхни-ко, дедушко, для веселья!

У Матвеича, конечно, нет той привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбовался, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:

— Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.

А бабенка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан и подает мне:

— Не отстанешь, поди, от старика-то?

— Зачем,— говорю,— отставать? Смешной это разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки — и то уберу.

Матвеич, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет: «Стар, да петух, а и молод, да протух». Ну, и другое, что в покор молодым говорится:

— Сопли, дескать, подтягивать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали.

Слово за слово — разодрались ведь мы. Да еще как разодрались! Вдолги уж на мировую полштофа распили и все дивовались — как это промеж нас такая оплошка случилась и куда та бабенка сгинула, коя нам по стакану наливала.

Только и другое говорили. В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну, и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделывают, дорогого стоит. Так вот эти рисовщики про Веселуху говорили, тоже будто въявь ее видели. Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает — вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:

— А вот это подойдет?

Оглянулся парень, а у него в головах, на пенечке Веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось — как новый хороший узор появится, так Веселуху и помянут:

— Это, беспременно, она показала. Без ее рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать!

Да вот еще какая заметка была. Самые что ни на есть заводские питухи дивовались:

— Ровно мы с кумом оба на вино крепкие. Это хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмысленыши какие, еле домой доползли. Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе Веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала.

На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли-копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают.

Заводские девчонки да бабенки тоже по-разному Веселуху поминали. Кто слезы лил да причитал:

— Обманула меня Веселуха! Обманула! На всю жизнь загубила!

Кто опять же хвалился:

— Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда Веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.

Так вот смешица в народе и пошла. Кто ругает Веселуху: она людей пьянит да мутит; кто хвалит: самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле — и разговору нет. Всяк про нее размазывает, будто сам ее много раз видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да и бабенки, кои помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали — Веселухин ложок.

Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно:

— Веселухино болото! Чтоб ему провалиться!

От Мосоловых наш завод Лугинину перешел. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ло-

жок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то свое заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил — сгорело, другой раз строянку развел — опять сгорело. Третий раз самую надежную свою стражу к строянке приставил, а до дела не довели. Построить-то, точно, построили, да только как последний гвоздь забили, ночью все и сгорело, и барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на Веселуху показывали. Да то еще старики говорили: Лугинин этот был какой-то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, это сдавна примечено, завсегда девчонкам да молодухам, которые попригожее, горе-горькое. Веселухе будто это и не полюбилось, она и не допустила, чтоб новый барин в ее ложке пакость разводил.

Потом, как завод за казну перешел да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавезти, опять с Веселухиным ложком поворот вышел.

Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно — брюхо набивать да пивом наливаться. Живо раздобрели на казенных харчах, от безделья да сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху. Заприметили — народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:

— Кто есть Виселук?

Им в шутку и говорят:

— Про то лучше всех знает Панкрат, веселухин брат.

Этот Панкрат мастером при заводе был, по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Не один узор да расцветка панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог. Недаром его веселухиным братом прозвали.

Вот немцы и спрашивают этого мастера:

— Твой есть сестра Виселук?

Панкрат своим обычаем и говорит:

— Сестра не сестра, а маленько родня, потому обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого — вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье и протчее такое рукоделье.

Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают,— какая Веселуха собой?

Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит:

— Бабенка приметная: рот на растопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдет — скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли еще хмельного хлебнет, тогда выше всех станет, только ногами жидка.

Немцы даже испугались.

— Какой ушасный женьшин! Такой песпоряток делаит. Турма такой ната! Турма!

— Найти,— отвечает Панкрат,— мудрено: зимой из-под снегу не выгребешь, летом — в траве не найдешь.

Немцы все-таки добиваются: скажи, в каком месте искать и чем она занимается. Панкрат и говорит:

— Живет, сказывают, в ложке за прудом, а под которым кустом, это каждому глядеть самому надо, да не просто так, а на веселый глаз... В ком веселости мало, можно из бутылки добавить.

Это немцам по нраву пришлось, заухмылялись:

— О, из бутилка можно! Это мы умеем.

— А ремесло,— говорит Панкрат,— у Веселухи такое. С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору. Только тех, у кого брюхо в подборе, дых легкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючочком да ухо с прихваткой.

Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому — каждый успел брюхо нарастить и задыхался, как запаленная лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопают себя по ляжкам, притоптывают:

— Это есть сильный нога. Как дуб. Крепко стоять могут.

Панкрат на это и говорит:

— Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что сорок верст пройдут, впри-

сядку плясать пойдут да еще мелкую дробь выколачивают.

Насчет глаза да уха немцы заспорили:

— Такой бывайть не может.

Панкрат все-таки на своем стоит:

— Может, в вашей стороне не бывает, а у нас случается.

Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз с крючочком и какое ухо с прихваткой.

— Глаз,— отвечает,— такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли: как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.

Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют, спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит, на порошинку не понимают, махнул рукой, да и говорит прямо:

— Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей Веселухи не повидать.

Немцы на это не согласны, свое твердят: все кусты, дескать, повыдергаем, все корни выворотим, а найдем. Без этого никак нельзя.

— Эту Виселук ошень фретный женьшин. Она пожар делаит.

Панкрат смекает,— вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и всамделе хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит:

— Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про Веселуху-то.

Ну, немцы не верят:

— Какой есть разговор, когда пожары были.

— Что ж,— отвечает Панкрат,— пожар всегда случиться может. Не доглядели за огнем — вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянехонька была.

Немцы прицепились к этому слову.

— Ты откуда это знаешь?

Панкрат объясняет: в народе так сказывали.

Немцы свое:

— Скажи, кто говорил.

Панкрат подумал — еще подведешь кого ненароком, и говорит:

— Не упомню.

Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят:

— Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женьшин Виселук.

Панкрат отвечает:

— Говорил, дескать, что это разговор только. Так сказывают,— молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан граненого хрусталя, в другой — бутылка.

Немцы вроде обрадовались, давай еще спрашивать: какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан, какая бутылка. Однем словом, все до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и загоготали.

— Ага! Попался! Теперь видим, что Виселук знаешь. Показывай ее квартир, а то плохо будет.

Панкрат, конечно, осерчал и говорит:

— Коли вы такие чурки с глазами, так не о чем мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, а от меня слов не ждите.

Время тогда еще крепостное было. У немцев в заводе сила большая, потому как все главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы да все с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху еще такое сказывают, будто она узоры да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули,— сам-де сказывал, что расцветку на ноже из Веселухина ложка принес. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью еще, что панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в котором месте синий цвет кончается, в котором голубой. Ну, все-таки спрашивают:

— Сколько платиль Виселук за такой глюпый расцветка?

Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло.

— Эх, вы,— говорит,— слепыши! Разве можно такое дело пятаком али рублем мерить? Столько и платил,

сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю.

Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белехонек, глаза вприщур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.

Ну, все-таки на том, видно, решили, что Веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к ложку бревна и другой матерьял. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов да деревьев широко очистили, траву тоже подрезали и, чтоб она больше тут не росла, речным песком эту росчисть засыпали. Рабочих понагнали довольно и живехонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстенных плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что не пообедавши с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, ежели Веселуха заявится.

В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая.

Ну, вот. Как все поспело, начальство-то оравой и поплыло на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то — в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке многонько. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, как им в обычае, хоровод завели. Однем словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет.

Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то свое слово кричать. По-нашему выходит похоже на «дритатай». Покричали-покричали это «дритатай», да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно,— потому сарай хоть с окошками, да они высоко. Видно, неохота было немцам свое веселье нашим показывать.

Наши все-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать, немцы-мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки кофием наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забо-

та, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно, зологруды, голоруки, а комар тоже свое дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнехонек сарай, и давай этот комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются, да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одежа наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдет, а тут на-ко приехали наполовину нагишом! Туго немцам пришлось, только они все-таки крепятся — желают, видно, доказать, что комар им — тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека — животину одолеет. Невтерпеж и немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился,— по всем лодкам напарьей дыр понавертел. Вот те и «дритатай».

Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог, да разве от весеннего гнуса ухранишься. А на дороге-то еще болотина приходится. Ну, молодяжник наш тоже маленько позабавился,— добавил иным немцам шишек на башках.

Долго с той поры немцы в сарае не показывались. Потом насмелились все-таки, на лошадях приехали, и телеги своей, немецкой работы. Тяжелые такие, в наших краях их долгушами прозвали.

Время как раз середка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади еще так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смиренные лошаденки, и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, повода рвут, себя калечат.

Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет,— понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому не привычны. В лес едут на целый день, а ни пут, ни боталов не захватили. Пришлось припутывать чем попало и пустить вглухую, без звону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют.

Остальные немцы опять покричали свое «дритатай» и убрались в сарай. Там все по порядку пошло. Напи-

лись да толкошиться стали, плясать то есть по-своему, а до лошадей да кучеров им и дела нет.

Лошади бьются, понятно. Путы поизорвали. Иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут еще опять добрый человек нашелся: по-медвежьи рявкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались — да по лесу. Поищи их вглухую-то, без боталов! Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из «Дритатая» по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли. Они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы — видно, про запас от комаров — много лишней одежи понабрали. Им и довелось либо эту одежу на себе тащить, либо в свои долгуши, заместо лошадей запрягаться. На своем, значит, хребте испытали, сколь эта долгуша немецкой выдумки легка на ходу. Ну, а как по лесу за лошадями бегали, наш молодяжник тоже этого случаю не пропустил. Не одному немцу по хорошему фонарю поставили: светлее, дескать, с ним будет.

Солоно немцам эта поездка досталась. Долго опять в своем сарае не показывались. В народе даже разговор прошел: не приедут больше. Ну, нет, не угомонились. В осенях приплыли опять на лодках. Сперва покричали на берегу свое «дритатай», потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае веселье по порядку пошло. Насосались пива да кофию и пошли толкошиться друг перед дружкой. Радехоньки, что комара нет и не жарко — толкутся и толкутся, а того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день на ложке был, давно поразъехался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибежали караульные, которые при лодках поставлены, кричат:

— Беда! Волки кругом!

Время, видишь, осеннее. Как раз в той поре, как волку стаями сбиваться. На человека в ту пору зверь еще наскакивать опасается, а к жилью по ночам вовсе близко подходит. Кому запоздниться в лесу али на пруду случится, тоже от тех не отходит. Сидит близко, глаз не спускает, подвывает да зубами ляскает: дескать, съел бы, да время не пришло.

Ну, вот, выскочили немцы из сарая. Глядят — вовсе темно в лесу стало. Народу нашего по ложочку никем-

никого. В одном месте костерок светленько так горит, а людей тоже не видать. А из лесу со всех сторон волчьи глаза.

Немцам, видно, не поглянулись фонари да шишки, какие им наш молодяжник добавлял в те разы. Вот немцы и оборужились; прихватили не то для острастки, не то для бою пистолетики. Испугались волков, да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять, а это уж испытанное дело: где один волк был, там пятерка обозначится. Набегают, что ли, на шум-то, а только это завсегда так.

Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут еще у костерка женщина появилась. К огню-то ее хорошо видно. Из себя пригожая, одета цветисто. В одной руке стакан граненого хрусталя, в другой штоф зеленого стекла.

Стоит эта бабенка, ухмыляется, потом кричит:

— Ну, дубоносые, подходи моего питья отведать. Погляжу, какое ваше нутро в полном хмелю бывает.

Немцы стоят, как окаменелые, а бабенка погрозилась:

— Коли смелости не хватает ко мне подойти, волками подгоню. Свистну вот!

Немцы тут в один голос заорали:

— То Виселук! Ой, то Виселук!

В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли крепко-накрепко да еще столами-скамейками для верности завалили, и целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали. Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился —все донья напарьей извертел, плыть никак невозможно.

Так немцы эти лодки тут и бросили и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай да лодки-дыроватки и остались. Да вот еще слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет и молвят:

— Это еще в ту пору, как немцы на Веселухином ложке свой «дритатай» устроить хотели, да Веселуха не допустила.

На Панкрата немцы, сказывают, еще наседали, будто он все это подстраивал. К главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло.

— Комаров,— говорит,— не наряжал, с оводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил —пусть сами битые показывают. Только работа не моя. От моей-то бы тукманки навряд ли кто встал, потому —рука тяжелая, боюсь ее в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел да медведем ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был. Свидетелей поставить могу.

Тем и отошел, а сарай долго еще место поганил. Ну, потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.

КОРЕННАЯ ТАЙНОСТЬ

На память людскую надеяться нельзя, только и дела тоже разной мерки бывают. Ино, как мокрый снег не по времени. Идет он — видишь, а прошел — и званья не осталось. А есть и такие дела, что крепко лежат, как камешок да еще с переливом. Износу такому нет и далеко видно. Сто годов пройдет, а о нем все разговор. Бывает и так, что через много лет оглядят такой камешок и подивятся:

— Вот оно как сделано было, а мы думали по-другому.

Такое вот самое и случилось с нашей златоустовской булатной сталью.

Больше сотни годов прошло с той поры, как в нашем заводе сварили такую булатную сталь, перед которой все тогдашние булаты в полном конфузе оказались. В те года на заводе в начальстве и мастерах еще много немцев сидело. Им, понятно, охота была такую штуку присвоить: мы, мол, придумали и русских рабочих обучили. Только инженер Аносов этого не допустил. Он в книжках напечатал, что сталь сварили без немцев. Те еще плели: по нашим составам. Аносов и на это отворот полный дал и к тому подвел, что златоустовская булатная сталь и рядом с немецкими не лежала. Да еще добавил: коли непременно надо родню искать златоустовскому булату, так она в тех старинных ножах и саблях, кои иной раз попадаются у башкир, казахов и прочих народов той стороны. И закалка такая же, нисколь она на немецкую не походит. Немцы видят,— сорвалась их выдумка, за другое принялись: подхватили разговор о старинном оружии и давай в ту сторону дудеть. Им, видишь, всего дороже было, чтоб и думки такой не заве-

лось, будто русские мастера сами могут что путное сделать. Вот немцы и старались. Да и у наших к той поре еще мода не прошла верить, будто все, что позанятнее, принесли к нам из какой-нибудь чужой стороны. Вот и пошел разговор, что Аносов много лет по разным кибиточным кузнецам ходил да ездил и у одного такого и научился булат варить. Которые пословоохотливее, те и вовсе огородов нагородили, будто Аносов у того кибиточного кузнеца сколько-то годов в подручных жил и не то собирался, не то женился на его дочери. Тем будто и взял мастера и тайность с булатом разведал.

Вот и вышла немецкого шитья безрукавка: Аносов не сам до дела дошел, а перенял чужую тайность, и то вроде как обманом. Про мастеров заводских и помину нет. Им привезли готовенькое,— они и стали делать.

Никакой тут ни выдумки, ни заботы. Да и что они могут, темные да слепые, если кто со стороны не покажет.

Только безрукавка — безрукавка и есть: руки видны. И диво, что и теперь есть, кто этому верит. До сих пор рассказывают да еще с поучением: вот какой Аносов человек был! Пять годов своей жизни не пожалел, по степям бродяжкой шатался, за молотобойца ворочал, а тайность с булатом разведал. Того в толк не возьмут, походит ли это на правду. Все-таки Аносов Горного корпуса инженер был. Таких в ту пору не сотнями, а десятками считали. При заводе он тоже не без дела состоял. Выехать такому на месяц, на два, и то надо было у главного начальства спроситься. А тут, на-ка, убрался в степи и на пять годов! Кто этому поверит? Да и кто бы отпустил к кибиточным кузнецам, коли тогда вовсе не по тем выкройкам шили. Если кого посылали учиться в чужие края, так не в ту сторону.

Ну, все-таки это разговор на два конца: кому досуг да охота, тот спорить может,— так ли, не так ли было. А вот есть другая зацепка, покрепче, понадежнее. С нее уж не сорвешься. Сколько ни крутись, ни упирайся, а на нашем берегу будешь, на златоустовском. Сам скажешь: верное дело. Тут она, эта булатная сталь, на этом заводе родилась, тут и захоронена.

Которые златоустовские старики это понимают, они вот как рассказывали.

Приехал инженер Аносов на завод в те года, когда еще немцев довольно сидело. Ну, а этот — свой, русский человек. Про немцев он на людях худого не говорил, а по всему видно, что не больно ему любы. Заметно, что и не боится их.

Рабочие, понятно, и обрадовались. Кто помоложе, те в большой надежде говорят:

— Этот покажет немцам! Покажет! Того и гляди, к выгонке и подведет. Молодой, а в чинах! Силу, значит, имеет.

Другие опять на то надеются:

— Покажет — не покажет, а заступа нашему брату будет, потому — свой человек и по заводскому делу вроде как понимает. Понатужиться надо, чтоб работа без изъяну шла.

Старики, конечно, сомневаются. Время тогда крепостное было, старики-то всякого натерпелись. Они и твердят свое:

— Постараться можно, а только сперва приглядеться надо. Помни присловье: с барином одной дорожкой иди, а того не забывай, что в концах разойдешься: он в палаты, а ты на полати, да и то не всякий раз.

Молодые оговаривают стариков:

— Что придумали! Да и не такой он человек, чтоб так-то сторожиться.

— Лучше бы не надо, кабы не такой,— отвечают старики,— а все опаска требуется. Кто по мастерству коренную тайность имеет, ту открывать не след. Погодить надо.

Молодые этого слушать не хотят, руками машут, кричат:

— Как вам, старики, не совестно!— а те уперлись:

— Больше, поди, вашего учены! Знаем, что барин тебя может под плети положить, под палки поставить, по зеленой улице провести, а ты его никогда.

На том все же сошлись, что надо стараться, чтобы лучше прежнего дело шло. Аносов, и верно, оказался человек обходительный. Не то что с мастерами, а и с простыми рабочими разговаривает, о том, о другом спрашивает, и по разговору видно: заводское дело понимает и ко многому любопытствует.

Сталь в ту пору по мелочам варили. И был в числе сталеваров дедушка Швецов. Он в те годы уж вовсе ут-

лый стал, еле ноги передвигал. Варил он с подручным парнем из своей же семьи Швецовых, как обычай такой держался, чтоб отец сыну, дед внуку свое мастерство передавал. Старик всегда варил хорошую сталь, только маленько разных статей. Вроде искал чего-то. Немецкие начальники это подметили и первым делом нашли придирку, чтоб убрать у старика его подручного. Загнали парня в дальний курень, а на его место поставили какого-то немецкого Вилю-Филю. Старик на это свою хитрость поимел: стал варить, лишь бы с рук сбыть. Было это до приезда Аносова. Вот этот Швецов и приглядывался к Аносову, потом и говорит:

— Коли твоей милости угодно, могу хорошую сталь сварить, только надо мне подручного, которому могу верить на полную силу, а этого немецкого Вилю-Филю мне никак не надо.

И рассказал, как было. Аносов выслушал и говорит:

— Ладно, дед, будь в надежде, охлопочу тебе внучонка, а этого немца пусть сами учат, чему умеют.

Вскорости шум поднял с немецким начальством. Почему у вас порядок вверх ногами? Вас сюда не на то привезли, чтоб у наших мастеров своих ребят учили. Немцы отбиваются, что у старика учиться нечему. Ну, все-таки уступили. Старик Швецов рад-радехонек, а молодой пуще того. Оба во всю силу стараются. Сталь пошла не в пример лучше. Аносов похваливает:

— Старайся, дедушка!

А старик в задор вошел:

— Дай срок, я тебе такую сварю, как в старинных башкирских ножах бывает. Видал?

С этого и началось. Аносову этот разговор в самую точку попал, потому как он ножами да саблями старинной работы давно занимался. Обрадовался он и объявил:

— Коли сваришь такую, рассчитывай, что тебя и внука твоего на волю охлопочу.

Что и говорить, как при таком обещании люди старались. Дедушка Швецов из заветного сундучка какие-то камешки достал, растолок их в ступке и стал подсыпать в каждую плавку. Норовит сделать все-таки без Аносова. Внучек спрашивает:

— Что это ты, дедушка, подсыпаешь?

А дед ему в ответ:

— Помалкивай до поры. Это тайность коренная, про нее сказать не могу.

Парень давай уговаривать старика, чтоб он не таился от Аносова, а старик объясняет:

— Верно, парень! Мне и самому вроде это стыдно, а не могу. Тятя покойный с меня заклятие взял, чтоб сохранить эту тайность до своего смертного часу. В смертный час велено другому надежному человеку передать из крепостных же, а больше никому. Хоть золотой будь!

Так они и работали, с потайкой от Аносова. Старик на верную дорожку вышел, да не дотянул. Сварил както и говорит внуку:

— Пойдем поскорее домой. Не выварил, видно, я своей воли, крепостным умирать привелось.

Пришли домой. Старик первым делом заклятие со внука взял. Такое же, как с него отец брал. Одно прибавил:

— Коли на волю выйдешь, тогда, как знаешь, действуй. Этого сказать не умею.

Потом старик открыл свой сундучок заветный, а там у него всякая руда. Объяснил, где какую искать, коли не хватит, и то рассказал, от какой руды крепость прибавляется, от какой — гибкость. Однем словом, все по порядку, а дальше и говорит:

— Теперь мне этими делами заниматься не годится, беги за попом!

Внук так и сделал, а старик не задержался,— в тот же вечер умер. Похоронили старика Швецова, а молодой на его место стал. Парень могутный, в полной силе, без подручного обходится, а сам по дедушкиной дорожке все вперед да вперед идет. Аносов тоже не без дела сидел. Он опять над тем бился, как лучше закалять поделку из швецовских плавок. Долго не выходило. Ну, попал-таки в точку. Заводский же кузнец надоумил. Вот тогда и вышел тот самый булат, коим наш завод на весь свет прославился. Аносов, может, и не заметил, что плавка-то уж после старика доведена. Все-таки слово свое не забыл, стал вольную хлопотать молодому мастеру Швецову. Не скоро дали, да еще Аносову пришлось сперва взять обещание, что ни на какой другой завод Швецов не пойдет. Тот, разумеется, такое обещание дал,

а сам думает: какая-то воля особая, без выходу. Тут еще спотычка случилась.

Он, этот молодой Швецов, частенько по делу бывал у Аносова в доме. Аносов в ту пору уже семейный был. Детишки у него бегали. И была у них в услужении девушка Луша. С собой ее Аносовы привезли. Вот эта девушка и приглянулась Швецову. Домашние, понятно, отговаривали парня:

— В уме ли ты? Она, поди-ка, крепостная Аносовых. С чего они ее отдадут? Да и на что тебе нездешняя? Мало ли своих заводских девок?

Разговаривать о таком — все равно, что воду неводом черпать. Сколько ни работай, толку не будет. Не родился, видно, еще мастер, который бы эту тайность понял, почему человека к этому тянет, а к другому нет. Не послушался Швецов своих семейных, сам свататься пошел. Аносов помялся и говорит:

— Это как барыня скажет, а я не могу.

Барыня поблизости случилась, услышала, зафыркала:

— Это еще что за выдумки! Чтоб я ему свою Лушу отдала? Да она у меня в приданое приведена. С девчонок мне служит, и дети к ней привыкли.— И на мужа накинулась: — Чему ты потворствуешь? Как он смеет к тебе с таким делом приходить?

Аносов объясняет: мастер, дескать, такой, он немалое дело сделал; только барыня свое:

— Что ж такое? Сталь сварил! Завтра другого поставишь, и он сварит. А Лушке я покажу, как парней приманивать!

Тут вот Швецов и понял, что и вольному коренную тайность для себя похранить надо. Он и хранил всю жизнь. А жизнь ему долгая досталась. Без малого не дотянул до пятого года. Много на его глазах прошло.

Аносов отстоял златоустовский булат от немецкой прихватки, будто они научили. В книжках до тонкости рассказал, как этому булату закалку вести. С той поры эта булатная сталь и прозванье получила — аносовская, а варил ее один мастер — Швецов.

Потом Аносовы уехали и Лушу с собой увезли. Говорили, что это немецкое начальство подстроило, но и Аносов себя не уронил: вскорости генеральский чин получил и томским губернатором сделался. А тут всем за-

водским немцам полная выгонка пришла, и Аносов будто в этом большую подмогу дал. Из старинных начальников про него больше всех заводские старики поминают, и всегда добрым словом.

— Каким он губернатором был,— это нам не ведомо, а по нашему заводу на редкость начальник был и много полезного сделал.

Аносов недолговеким оказался. При крепостной еще поре умер. Плетешок этот, что тайность с булатом он у кибиточного кузнеца выведал, при жизни Аносова начался. Тому, может, лестно показалось, как его расписывали, он и поддакнул: «Было дело, скупал старинное оружие и на те базары ездил, где его больше достать можно». На эти слова и намотали всякой небылицы, а пуще всего немцы старались. После выгонки-то с завода им это до краю понадобилось. Ну, как же! На том заводе сколько годов сидели, а самую знаменитую сталь сварить не умеют. Немцы в тех разговорах и нашли отговорку.

— Мы,— говорят,— старинным оружием не занимались, а коли надо, так и лучше сварим.

И верно, стали делать ножи да сабли вроде наших златоустовских, по отделке-то. Только в таком деле с фальшью недалеко уедешь, немцам и пришлось в большой конфуз попасть.

Была, сказывают, выставка в какой-то не нашей стороне. Все народы работу свою показывали и оружие в том числе. Наш златоустовский булат такого места не миновал. А немцы рядом с нашим свою поделку поставили, да и хвалятся: «наши лучше». Понятно, спор поднялся. Народу около того места со всей выставки набежало. Тогда наши выкатили станочек, на коем гибкость пробуют, поставили саблю вверх острием, захватили в зажим рукоятку и говорят:

— А ну, руби вашими по нашей. Поглядим, сколько ваших целыми останется!

Немцы увиливать стали, а нос кверху держат:

— Дикость какая! Тут, поди, не ярмарка, не базар, а выставка! Какая может быть проба? Повешено — гляди.

Тут, спасибо, другие народы ввязались, особливо из военного слою.

— При чем,— кричат,— ярмарка? Сталь не зеркало.

В нее не глядеться! Русские дело говорят. Давай испытывать!

Выбрали от всех народов, какие тут были, по человеку в судьи, а на рубку доброволец нашелся. Вышел какой-то военный человек вроде барина, с сединой уж. Ростом не велик, а кряжист.

Подали этому чужестранному человеку немецкую саблю. Хватил он с расчетом концы испытать. Глядь, а у немецкой сабли кончика и не осталось.

— Подавай,— кричит,— другую! Эта не годится.

Подали другую. На этот раз приноровился серединки испробовать, и опять с первого же разу у немецкой сабли половина напрочь.

— Подавай,— кричит,— новую!

Подали третью. Эту направил так, чтобы сабли близко рукояток сошлись, а конец такой же: от немецкой сабли у него в руке одна рукоятка и осталась.

Все хохочут, кричат:

— Вот так немецкий булат! Дальше и пробовать не надо. Без судей всякому видно.

Наши все-таки настояли, чтоб до конца довели. Укрепили немецкую саблю в станок, и тот же человек стал по ней нашей златоустовской саблей рубить. Рубнул раз — кончика не стало, два — половины нет, три — одна рукоятка в станке, а на нашей сабельке и знаков нет. Тут все шумят, в ладоши хлопают, на разных языках вроде как ура кричат, а этот рубака вытащил кинжал старинной работы, с золотой насечкой, укрепил в станке и спрашивает:

— А можно мне по такому ударить?

Наши отвечают:

— Сделай милость, коли кинжала не жалко.

Он и хватил со всего плеча. И что ты думаешь? На кинжале зазубрина до самого перехвата, а наша сабелька, какой была, такой и осталась. Тут еще натащили оружия, а толк один: либо напрочь наш булат то оружие рубит, либо около того. Тут рубака-то оглядел саблю, поцеловал ее, покрутил над головой и стал по-своему говорить что-то. Нашим перевели: он, дескать, в своей стороне самый знаменитый по оружию человек и накоплено у него множество всякого, а такого булату и видеть не приходилось. Нельзя ли эту саблю купить? Денег он не пожалеет. Наши, понятно, не поскупились.

— Прими,— говорят,— за труд памятку о нашем заводе. Хоть эту возьми, хоть другую выбери. У нас без обману. Один мастер варит, только в отделке различка есть.

Мастеру Швецову сказывали, как аносовский булат по всему свету гремит. Швецов посмеивался и работал, как смолоду, одиночкой. Тут, как у нас говорится, волю объявили: за усадьбы, за покос, за лесные делянки деньги потребовали. Швецову к той поре далеко за полсотни перевалило, а все еще в полной силе. Семью он, конечно, давно завел, да не задалось ему это. Видно, Маша не Луша, и ребята не те. Приглядывается мастер Швецов, как жизнь при новом положении пойдет, а хорошего не видит. Барская сила иструхла, зато деньги большую силу взяли и жадность на них появилась. Мастерством не дорожат, лишь бы денег побольше добыть. В своей семье раздор из-за этого пошел. Который-то из сыновей перешел из литейной в объездные, говорит: тут дороже платят и сорвать можно. Швецов из-за этого даже от семьи отделился, ушел в малуху жить. Тут немцы полезли. Они хоть про степных кузнецов много рассказывали, а, видать, понимали, в каком месте тайность с булатной сталью искать. Подсылать стали к Швецову когда немцев, когда русских, а повадка у всех одна. Набросают на стол горку денег и говорят: «Деньги твои, тайность наша». Швецов только посмеется:

— Кабы на эту горку петуха поставить, так он бы хоть закричал: караул! А мне что делать? Не красным же товаром торговать, коли я смолоду к мастерству прирос. Забирай-ка свое да убирайся с моего. Так и разделимся, чтоб другой раз не встретиться.

Прошло еще годов близко сорока, а все мастер Швецов булатную сталь варит. Остарел, понятно, подручные у него есть: да не может приглядеть надежного. Был один хороший паренек, да его в тюрьму загнали. Книжки, говорят, не те читал. Ходил старик по начальству, просил, чтоб похлопотали, так куда тебе, крик даже подняли:

— Вперед такого и говорить не смей!

Тут и самого старика изобидели: дедушкину еще росчисть отобрали. Тебе, говорят, другой покос отведем. Росчисть не больно завидная была, доброе лето на одну коровенку сена поставить, только привык к ней старик

с малых своих лет. Он и пошел опять по начальству хлопотать. Там и помянул: семь десятков лет на заводе работаю и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский булат, про который всему свету известно. Да еще добавил: и мои, поди, капельки в том булате есть.

Начальство эти слова насмех подняло:

— Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Все остальное в книжках написано, да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто хочешь, по ней эту сталь сварит.

Старика это вовсе задело. Прямо спросил:

— Неужели вы меня ни во что ставите?

— Во столько,— отвечают,— и ставим, сколько поденно получаешь.

— Коли так,— говорит Швецов,— варите по бумаге, а только аносовского булату вам больше не видать.

С тем и ушел. Начальство еще посмеялось:

— Вишь, разгорячился старикан. Тоже птица! Как о себе думает!

Потом хватились, конечно. Кого ни поставят на это место, а толку нет. Выходит, как говорится, дальняя родня, с которой век не видались, и прозванье другое.

Главный заводский начальник говорит:

— Послать за стариком!

А тот ответил:

— Неохота мне, да и ноги болят.

— Привезти на моей паре,— распорядился начальник, а сам посмеивается: — Пусть старик потешится.

У Швецова и на это свой ответ:

— Начальнику привычнее на лошадках кататься. Пусть сам ко мне приедет, тогда и поговорим.

Начальнику это низко показалось. Закричал, забегал:

— Чтоб я к нему на поклон поехал! Да кто он и кто я? Таких-то у меня по заводу тысячи, а я им буду кланяться! Никогда такого не дождется!

Начали опять пробовать. Бумаги снова перебрали. Сам начальник тут постоянно вертится, а все то же,— выходит сталь, да не на ту стать. А уж пошел разговор, что в Златоусте разучились булатную сталь варить. Начальник вовсе посмяк, стал подлаживаться к мастеру Швецову, пенсию ему хорошую назначил, сам пришел к старику, деньги большие сулит, а Швецов на это:

— Все-то у вас деньги да деньги! Да я этими деньгами мог бы весь угол завалить, кабы захотел. Только тайность моя коренная. Ее не продают, а добром отдают, только не всякому. Вот если выручишь из тюрьмы моего подручного, так будет он вам аносовский булат пошвецовски варить, а я вам не слуга.

Хлопотал ли начальник за этого парня, про то неизвестно, только Швецов так никому и не сказал свою тайность. Томился, сказывают, этим, а все-таки в заветном сундучке у него пусто оказалось, пыль даже выколотил, чтобы следов не осталось. Берег, значит, свою тайность от тех, кто его мастерство поденщиной мерил и работу его жизни ни во что ставил. Так и унес с собой тайну знаменитого булата, который аносовским назывался. Обидно, может быть, а как осудишь старика? Наверняка бы ведь продали по тому времени. Вздохнешь только: «Эх, не дожил старик до настоящих своих дней!»

Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало в войне наше государство, а того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся. Ему нет надобности свое самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт, либо не оценен в полную меру. Каждый и несет на пользу общую, кто что умеет и знает. Вот и вышла сила, какой еще не бывало в мире. И тайны уральского булата эта сила найдет.

АЛМАЗНАЯ СПИЧКА

Дело с пустяков началось — с пороховой спички. Она ведь не ахти как давно придумана. С малым сотня лет наберется ли? Поначалу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили. Которые и вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать, кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели разными огоньками: малиновым, зеленым, еще каким. С укупоркой тоже немало чудили. Пряменько сказать, на большой моде пороховая спичка была.

Одного нашего заводского мастера эта спичечная мода и задела. А он сталь варил. Власычем звали. По своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтоб сразу трут брала, если той сталью рядом по кремню черкнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки трут поджигала. Тут, поди-ко, и кремешок надо хорошо подобрать, и трут в исправности содержать, а главное — большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывают, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу. Прозвали ее алмазной. Токари заводские выточили Власычу под спички форменную коробушечку и по стали надпись вывели: «Алмазные спички».

Власыч эту штуку на заводе делал. Сторожился, конечно, чтоб на глаза начальству не попасть, а раз оплошал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обер-мастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтоб все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше то-

го не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские дивились, до чего кличка ловко подошла. Голенастый да головастый, и нос вроде спицы — зипуны вешать. Ни дать, ни взять — барочный шпиль, коим кокоры к бортам пришивают. И ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался.

Увидел Шпиль у Власыча стальную коробушечку и напустился:

— Какой тфой праф игральки делайть? С казенни материаль? Ф казенни фремя? По устаф перешь сто пальки.

Власыч хотел объяснить, да разве такой поймет. А время тогда еще крепостное было. Власыч и пожалел свою спину, смирился.

— Помилосердуй,— говорит,— Устав Уставыч, напредки того не будет.

Шпилю, конечно, любо, что самолучший мастер ему кланяется, и то, видно, в понятие взял, что власычевым мастерством сам держится. Задрал свою спицу дальше некуда и говорит с важностью:

— Снай, Флясич, какоф я есть добри нашальник. Фсегда меня слюшай. Перфая фина прощаль, фторой фина сто пальки.

Потом стал допытываться, кто коробушечку делал, да Власыч принял это на себя.

— Сам мастерил, в домашние часы. А надпись иконный мастер нанес. Я по готовому выскоблил, как это смолоду умею.

Смекнул тоже, на кого повернуть. Иконник-то из приезжих был да еще дворянского сословия. Такому заводское начальство, как пузыри в ложке: хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь.

Коробушечку немец отобрал и домой унес, а остатки спичек Власыч себе прибрал.

Пришел Шпиль домой, поставил коробушечку на стол и хвалится перед женой,— какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как, поди, у всех народов ведется, поддакивает да похваливает:

— Ты у меня что! Маслом мазанный, сахарной крошкой посыпанный. Недаром за тебя замуж вышла.

Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, а она давай его точить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет: мастер-де такой, им только и держусь, а она свое скрипит:

— Какой ни будь, а ты начальник! На то поставлен, чтоб тебя боялись. Без палки уважения не будет.

Скрипела-скрипела, до того мужа довела, что схватил он коробушечку со спичками и пошел в завод, да тут его к главному заводскому управителю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага: спрашивают про алмазную сталь,— кто ее сварил и почему о том не донесли?

Дело-то так вышло. Власычевы спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стекольщиком спички и пошли по большим дорогам да там и набежали на какого-то большого начальника. Не дурак, видно, был. Увидел,— небывалая сталь, стал дознаваться, откуда такая? Стекольщик объявил,— из Златоустовского, мол, завода. Там мастер один делает. Вот бумага и пришла.

Бумага не строгая, только с малым укором. Шпиль перевел все это в своей дурной башке: заставлю, дескать, Власыча сварить при себе эту сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был. Обрадовался. Ну, как же! Большая подпорка всем привозным мастерам. Похвалил Шпиля:

— Молодец! Покажем русским, что без нас им обойтись никак невозможно.

И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, дескать, стараньем обер-мастер Шпиль сварил алмазную сталь, а не доносили потому, что готовили форменную укупорку. Делал ее русский мастер, оттого и задержка. Велел управитель переписать письмо и с нарочным отправить в сам-Петербург. И власычева коробушечка со спичками туда же пошла.

Шпиль от управителя именинником пошел, чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно. Дивятся, как такому дураку удалась этакая штука, а все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода.

На другой день Шпиль как ни в чем не бывало пришел в завод и говорит Власычу:

— Фчера глядель тфой игральки. Ошень сапафни штук. Ошень сапафни. Сфари такой шталь польни тигель. Я расрешай. Сафтра.

А Власычу все ведомо. Копиист, который бумагу перебелял, себе копийку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подает, говорит немцу:

— То и горе, Устав Уставыч, не могу добиться такой стали.

У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал:

— Какой ти смель шутка нашальник кафарийть?

— Какие,— отвечает,— шутки. Рад бы всей душой, да не могу. Спички-то, поди, из той стали деланы, кою, помнишь, сам пособлял мне варить. Еще из бумажки чего-то подсыпал, как главное начальство из сам-Петербургу наезжало.

И верно, был такой случай. Приезжало начальство, и Шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали, а Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом: «Понимает, пес, кому подсыпать, знает, что у Власыча оплошки не случится». Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил тому разговору. Обрадовался сперва, потом образумился маленько: как быть? Помнит,— точно подсыпал какой-то аптечный порошок. Так, для видимости, а он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошочек узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал-мерекал, на том решил,— буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкошится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем, от колотья в грудях, от рвоты либо удушья, от почечуя там, от кашлю. Да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет: одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит, да и судит:

— Диво, порошочки будто одинаковые были, а в варке такая различка. Мудреный ты человек, Устав Уставыч!

Такими разговорами сбил Шпиля с последнего умишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает,— найду все-таки. Тем временем из Петербургу новая бумага пришла. Управителю одобрение, Шпилю — награждение, а заводу — заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Одним словом, разное. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтоб она стекло резала.

Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются, а русские посмеиваются, потому знают, как Шпиль свою дурость с порошками показывает.

Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ да еще с переделом большим считался. Поторапливаться приходилось. Передельщики и заговорили: подавай сталь поскорее. Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу, давно ему в нутро понадобились. Сам управитель рысью забегал. Этот, видать, посмышленее был: сразу понял, что тут Власыч водит, а что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь Шпилем придумана и сварена. Велел только управитель Шпилю одному варить, близко никого не подпускать. А что Шпиль один сделает, если по-настоящему у рук не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали:

— Заказ царский. За канитель в таком деле к ответу потянут. Подавай сталь, либо пиши бумагу, что все это зряшная хвастня была. Никакой алмазной стали Шпиль не варивал и сварить не может.

Управитель видит, круто поворачивается, нашел-таки лазейку. Велел Шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству: «Прошу отсрочки по заказу, потому обер-мастер, который сталь варит, крепко занедужил». А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже, да Власыч уперся.

— Не показал мне Устав Уставыч своей тайности. Не умею.

Тогда управитель другое придумал.

У Власыча, видишь, все ребята уж выросли, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он некудыка-парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья-сестры, известно, матери не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишко с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам. К картишкам пристрастился, винишко до поры похватывать стал. Колачивал его Власыч, да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный. Что называется, и броваст, и глазаст, и волосом кудряв. Власыч про него говаривал:

— На моего Микешку поглядеть — сокол соколом, а до работы коснись — хуже кривой вороны. Сам дела не видит, а натолкнешь, так его куда-то в сторону отбросит.

Ну, все-таки своя кровь, куда денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайности со сталью такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался: загубит чужой век, да и в доме содом пойдет.

Этого Микешку управитель и велел перевести в садовые работники при господском саду. Микешке поначалу это поглянулось: дела нет, а кормят вдосталь. Одно плохо — винишко добыть трудно, и сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Сторожится, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривают. Тут видит: шпилева девка — Мамальей ли Манильей ее звали — часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, а бойко лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит,— заигрывает немка, сам вид делает —все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой: сытая, да белобрысая, да в господской одеже. Манилье, видно, любо, что парень голову потерял, а он, знай, глазом играет да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает.

Шпилева девка умом-то в отца издалась, сразу выболтала, что ей надо. Микешка на себя важность накинул, да и говорит:

— Очень даже хорошо всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут, так по Таганаю можно

алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть да по рюмке на пуд подсыпать при варке, то беспременно алмазная сталь выйдет.

Манилья спрашивает: где такие палки искать?

— Места,— отвечает,— знаю. Для тебя могу постараться, только чтоб без постороннего глазу. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче. И закусить тоже было бы чем.

— Что же,— говорит,— это можно. Наливок-то у мамаши полон чулан, а простого добыть и того легче.

Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето путались, да, видно, не по тем местам. Шпилям тут что-то крепко невзлюбилось. Слышно, Манилью-то в две руки дубасили да наговаривали: — Мы тебе наказывали: себя не потеряй, а ты что? Хвалилась всю тайность выведать, а до чего себя допустила?

Управитель опять Микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его присудили и так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли.

Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было, так пошли с этим к иконнику. Тот хоть из бар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит:

— Вижу — дело сурьезное. Ног жалеть не буду, а только вы мне одолжите спичечек-то. Хоть с десяток.

Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился. С тем стекольщик и ушел, а вот оно и сказалось. В сам-то Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал, как нельзя лучше. Опробовал новый управитель сталь и сразу всех привозных мастеров к выгонке определил. Чтоб на другой же день и духу их не было.

Алмазная-то спичка им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали да поминали:

— Хорош рыбный пирожок, да подавиться им можно,— ноги протянешь.

А Микешка по времени в дяди Никифоры вышел. Ну, помаялся. Соседские ребятишки сперва-то его образумили. Как он прочухался после битья да стал по улицам ходить, они и принялись его дразнить. Вслед ему кричат: «Немкин мужик, немкин мужик», а то песенку запоют: «Немка по лесу ходила, да подвязки обронила», или еще что. Парень и думает про себя:

«Маленькие говорят,— от больших слышат. Хороводился с Мамальей из баловства да из-за хороших харчей, а оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают». Пожаловался старшим, а они отвечают:

— Так ведь это правильно. Ты вроде привозного немца за чужой спиной пожить хочешь. Смотри-ко, до густой бороды вырос, а на отцовых хлебах сидишь.

Парню эти укоры вовсе не переносны стали. Тут у него поворот жизни и вышел. Старые свои повадки забросил. За работу принялся,— знай держись. Случалось, когда и попирует, так не укорено: на свои, трудовые.

Жениться вот только долго не мог. К которой девушке ни подойдет, та и в сторону. Иная даже и пожалеет:

— Кабы ты, Микешка, не немкин был.

— Не прилипло, поди, ко мне немецкое,— урезонивает Микешка, а девушка на своем стоит: — Может, и не прилипло, да зазорно мне за «немкиного мужика» выходить.

Потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно с ней жили. Доброго сына да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал:

— Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а лодырей остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, а сам об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся. А того лучше, гони от себя куда подальше.

ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

Демидовы тагильские сильно косились. Ну как — первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут на-ко — по литью оплошка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали:

— Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит: выгоды мало.

С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кусье-Александровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год этак-то пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят — в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой, да и говорят, как Демидовы:

— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьезнее найдется.

Наши мастера меж собой пересмеиваются:

— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье, поди-ко, по всему свету на отличку идет. Однем словом, каслинское.

В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугун здешний особенный, только, на мой глаз, чугун —чугуном, а руки — руками. Про это ни в каком деле забывать не след.

В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и приобык.

Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.

Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.

Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплют, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.

Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей многонько.

А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарованье к этому делу имели.

Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли,— приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают ее в Касли с наказом:

— Отлейте по этому образцу, к такому-то сроку.

Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.

— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной еще его торгованом Меркушкой зовет.

— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытее, либо бык пу-

дов этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.

Ну вот. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.

Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талан к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.

За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится:

— Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать.

С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводский художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.

Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живет: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.

Поглядел дядя Вася на занятия, да и думает про себя:

«А ну-ко, попробую сам».

Только человек возрастной, свои ребята уж большенькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:

— Ты что, отец, полуночничаешь?

Он сперва отговаривался:

— Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их.

Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря, поди-ко, сказано: сперва подумай с подушкой, потом с женой. Ну, он и рассказал.

— Так и так... Придумал свой образец для отливки сготовить.

Жена посомневалась:

— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?

— Вот то-то,— отвечает,— и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видела?

— Как,— отвечает,— не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю.

А по соседству с ними Безкресновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдет к соседям будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея.

— Что ж,— говорит,— старушка стоющая. Век прожила, худого о ней никто не скажет. Работящая, характером уветливая, на разговор не скупая. Только примут ли на заводе?

— Это,— отвечает,— полбеды, потому — глина некупленная и руки свои.

Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью, со всем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот ласковое слово скажет.

Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет:

— Потуже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустихой ходить, да и не по-старушечьи этак-то платок носить.

— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.

Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берет.

Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло,— показывать ли? Еще насмех подымут!

Все-таки решился, пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришелся, неплохую память о себе в заводе оставил. По-

глядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:

— Подожди маленько — придется мне посоветоваться.

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги.

— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.

Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вожгается. Придумал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадью, все как на деле бывает.

На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девушку с корзинкой груздей, кто свою собачонку Шарика лепит-старается. Однем словом, пошло-поехало, живым потянуло.

Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают.

— Это она всем нам дорожку показала.

Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:

— Вот что, Торокин... Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.

А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали,— тех всех до одного с завода прогнал.

Люди, понятно, как очумелые стали, за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:

— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?

Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:

— Ты, Торокин, лишних слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи оставляю.

— Коли так,— отвечает дядя Вася,— могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.

Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.

— Не могу,— говорит,— этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в то дело втравил. Подожди, может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай.

Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал.

Которые поближе к нему стояли, те сказывали,— за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался:

— Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил.

Он — управляющий этот — с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас:

— Живите, не тужите, обо мне не скучайте! Я по вам и подавно тосковать не стану, потому владельцев много, а настояще знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше.

Скажет так и вскорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже.

Все, понятно, знали — человек неспокойный, не любит, чтоб его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят.

Владельцев заводских это и приманивало.

Перед Каслями-то этот управляющий на Омутинских заводах служил, у купцов Пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал — в Каслях попроще с этим будет, а вон что вышло: управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется?

Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал.

Дяде Васе как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят —не тут началось, не

тут и кончится. Стали доискиваться, да и разузнали все до тонкости.

Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К Расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да еще Закомельский. Чуешь,— какой коршун? После пятого году на всё государство прославился палачом да вешателем.

В ту пору этот Меллер-Закомельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал.

Их ведь — наследников-то расторгуевских — не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил,— вот и вышел в главного.

У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.

И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:

— Подобрано на немецкой тетки глаз — нашему брату не понять.

Ну, так вот... Уехала эта тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходко по рукам пошли.

Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена дела вышла.

Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко в том смысле: скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!

Меллер, видно, умишком небогат был, забеспокоился:

— Простите-извините, любезная тетушка,— не доглядел. Сейчас дело поправим.

И пишет выговор управляющему со строгим предписаньем — всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.

Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.

Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:

— Ваших заводов литье?

— Наших,— отвечает.

— Хорошая,— говорит,— вещица. Живым от нее пахнет.

Пришлось Каролинке поддакивать:

— О, та! Ошень превосходный рапот.

Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть:

— По недогляду, дескать, та отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.

Каролинке на то вежливенько и говорят:

— Видать, вы, мадама, без понятий в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.

Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:

— Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут.

И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.

— Либо,— говорит,— в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.

Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.

Меллер-Закомельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случаю пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Каролинка, с той поры прямо тряслась от злости, как случится где увидеть торокинскую работу.

Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.

Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начнет расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает:

— Ну-ко, ты, перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить.

Каролинка в угол забьется, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет.

От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись, да и говорит:

— Ангел яичко снес, да и думает: то ли садиться, то ли подождать?

После революции в ту же чертову дыру замели каролинкину родню —всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.

Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокин, а работа его и теперь живет.

В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе — вот-вот ласковое слово скажет:

— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно,

дескать, жизнь прожила, и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине.

Так-то, милачок! Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛАК

Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли.

Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Семей, поди, с десяток по Тагилу да столько же, может, по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо, сказать, кормились.

Дело по видимости простое. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще— вырежут с печатного картинку какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та рисовка либо картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить либо вино сплеснуть —вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть — дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не могут.

Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла.

Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали.

Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того — хрустальным.

Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел и до чужих краев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах вроде, сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему все устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу.

Стал этот проезжающий будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да еще та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил.

В мастерских покупал немец поделку, всяко ее нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят.

Мастера, как на подбор, из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому — он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мяконько отойти: со всяким обхождением плели немцу околесицу. И так надо понимать,— спозаранку сговорились, потому — в одно слово у них выходило.

Дескать, так и так, варим на постном масле шеллак да сандарак. На ведро берем одного столько-то, другого — столько да еще голландской сажи с пригоршни подкидываем. Можно и побольше — это делу не помеха. А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читай от этого пузыря молитву исусову три раза да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запозднишься либо заторопишься — станет сажа-сажей.

Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя: были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно.

С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только вскорости объявился в Тагиле опять приезжий. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапошить. Смолоду, видно, на нашей земле топчется, потому — говорит четко. Из себя пухлявый, а ходу легкого: как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозванье ему самое простое — Федор Федорыч. Только глаза у этого Двоефеди беле-

сые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да еще приметливые люди углядели: на правой руке рванинка. Накосо через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту, да скользом пришлось. Однем словом, из таких бывальцев, с коими один на один спать остерегайся.

Вот живет этот короткопалый Двоефедя в заводе неделю, другую. Живет месяц. Со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомство свел. Попить-погулять в кабаке не чурается и денег, видать, не жалеет: не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово, простягу из себя строит. Только и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит: про подносных мастеров расспрашивает, кто чем дышит, у кого какая семейственность, да какой норов. Ну, все до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого, в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут.

Расспрашивает этак-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет, меж собой пересмеиваются.

— Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает.

Любопытствуют, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет.

Дело, конечно, не из легоньких. Староверы, известно, народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадешь. На чужое угощенье не больно зарны. Когда, случается, винишком забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются, за грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним!

За деньги тоже никого купить невозможно, потому, видать, за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут.

Ну, все-таки немец нашел подход.

В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачнулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики давай его усовещать: негоже дело, потому она из церковных, а он уперся: хочу с этой девахой в закон всту-

нить. Тут, понятно, всего было. Только Артюха на своем устоял и от старой веры отшатился. А как мужик задорный, он еще придумал сережку себе в ухо пристроить. Нате-ко, мол, поглядите! За это Артюху и прозвали Сергачом.

К той поре Артюха уж в пожилых ходил. Вовсе густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет и придумает что-нибудь новенькое либо какую негодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого артюхина поделка на большой славе была.

Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал.

Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкий Двоефедя подъезжать с разговорами, а тот, можно сказать, сам навстречу идет. Не хуже немца на пустом месте разводы разводит.

Кто настояще понимал Артюху, те переговариваются:

— Мужик с выдумкой — покажет он короткопалому коку с сокой.

А мастера, кои тайность с лаком знали, забеспокоились, грозятся:

— Гляди, Артемий! Выболтаешь — худо будет.

Сергач на это и говорит по-хорошему:

— Что вы, старики. Неуж у меня совесть подымется свое родное немцу продать. Другой, поди-ко, интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтоб в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться.

Мастера все-таки свое твердят:

— Дело твое, а в случае —не пощадим!

— Какая,— отвечает,— может быть пощада за такие дела! Только будьте в надежде — не прошибусь. И о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш тагильский да невьянский.

Мастера недолюбливали Артюху за старое, а все ж таки знали,— в словах он не верткий: что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли, а Сергач после этого разговору в открытую по кабакам с немцем пошел да еще сам стал о хрустальном лаке заговаривать.

Немец, понятно, рад-радехонек, словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились.

— Хошь — продам?

И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом.

Немец сперва хитрил: дескать, раденья к такому делу не имею. Мало погодя рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч, только немец уговаривается:

— За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне все покажи: как варят, как им железо кроют. Когда все своими глазами увижу да своей рукой опробую, тогда получай сполна.

Артюха на это смеется.

— Наша,— говорит,— земля таких дураков не рожает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчет выхаживать. Тут,— говорит,— заведено наоборот: сперва деньги на кон, потом показ будет.

Немец, понятно, жмется,— боится деньги просадить.

— Не согласен,— говорит,— на это.

Тогда Артюха вроде как на уступку пошел.

— Коли,— говорит,— ты такой боязливый, вот мое последнее слово. Тысячу рублей задаток отдаешь сейчас, остальные деньги надежному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно— получай эти деньги обратно, ежели у тебя понятия либо духу не хватит — мои деньги.

Этот разговор о заручнике пришелся по нраву немцу, он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно бы либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И все, понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал прямиком:

— Не труди-ко язык! Таких мне и близко не надо. Заручником ставлю дедушку Мирона Саватеича из литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хочешь спроси. Самая подлая душа не насмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь. А коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю.

Немцу делать нечего,— согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он по началу заартачился. Строго так стал доспрашивать Артюху:

— Какое твое право тайность продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся?

Артюха на это говорит:

— Наши мастера не без глаз ходят, и я свою голову не в рубле ставлю. Одна сережка, поди-ко, дороже стоит, потому — золотая да еще с камнем. А только, знаешь, в игре на каждую сторону заводило полагается.

Немец, понятно, не уразумел этого разговору, а дедушко Мирон понял,— мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идет, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач.

Дедушко еще подумал маленько. Перевел, видно, в голове, почему Артюху заводилом ставят. И то прикинул: мужик с причудой, а надежный,— говорит твердо:

— Ладно. Приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет?

Артюха и спрашивает:

— Знаешь наше ремесло?

— Как,— отвечает,— не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают да рисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого составу тот лак — это ведомо только мастерам.

— Ну так вот,— говорит Артюха,— берусь я на глазах этого приезжего сварить лак, и может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне, коли что не выйдет — деньги обратно ему.

Немец свое выговаривает: сварить лаку не меньше четвертной бутыли, до дела лак хранить за печатью, а остаток может немец взять с собой.

Артюха на это согласен, одно оговорил:

— Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтоб отстой вовремя углядеть.

Столковались на этом. Дедушко Мирон тогда и говорит немецкому Двоефеде:

— Тащи деньги. Зови своих свидетелей. Надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло.

Сбегал немец за деньгами, привел двух своих знакомцев. Артюха вдругорядь сказал уговор, а немец свое выставляет да еще то выряжает, чтоб дюжину

подносов, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно.

Артюха усмехнулся и промолвил:

— Тринадцатый на придачу получишь!

Немец после этого поежился, похинькал, что денег много закладывать надо, да дедушко Мирон заворчал:

— Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь. Не от безделья мне с тобой балясничать! Либо отдавай деньги, либо ступай домой!..

Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит:

— С утра приходи,— лак варить буду.

На другой день немец прибежал с весами да какими-то трубочками и четвертную бутыль приволок.

Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кои проезжему немецкому барину сказывалось. Коротконалый Двоефедя, видать, сомневается, а сперва молчал. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился:

— Черный лак из этого выйдет!

Артюха прицепился к этому слову:

— Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал?

Немец отговаривается: по книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха свое твердит:

— А я вижу — сам варил!

Немец тут строгость на себя напустил:

— Что, дескать, за шутки такие! Собрались по делу, а не для пустых разговоров!

Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок, а как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить, да Артюха не допустил.

— Припечатывать,— говорит,— припечатывай, а место лаку в моей малухе должно быть.

Немец тут давай улещать Артюху. То да се насказывает, а в конце концов говорит:

— По какой причине мне не веришь?

— А по той,— отвечает,— причине, коя у тебя на ладошке обозначена.

Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь книзу и говорит:

— Это делу не касательно.

Только Артюха не сдает.

— Человечья рука,— говорит,— ко всякому касательна. По руке о делах дознаться можно.

Коротконалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутыль своей немецкой печатью и погрозил:

— Перед делом при свидетелях печать огляжу!

— Это,— отвечает Артюха,— как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови.

С тем и разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался,— не пора ли? Только Артюха одно говорил: рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутыли отстой обозначаться стал, объявил: можно лакировать.

На другой день немец свидетелей привел, и дедушко Мирон тоже пришел. Оглядел печать, подносы немец выбрал, в бане тоже все досмотрели, нет ли какой фальши.

Дедушко Мирон для верности спросил немца, дескать, все ли в порядке? Немец сперва зафинтил,— может, что не доглядели, а дедушко ему навстречу:

— А ты догляди! Не торопим.

Немец потоптался-потоптался, признал:

— Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко. При работе надо двери отворить.

Артюха на это замялся и говорит:

— Жар еще весь впереди, как на каменку поддавать буду.

Дедушко Мирон и те, другие-то, свидетели, даром что из торгашей, это же сказали:

— Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару,— как только может человек выдюжить.

На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушко Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким Двоефедей и говорит:

— Давай разболокаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надежнее, что ничего с собой не пронесу.

А сам посмеивается да бороду поглаживает.

Баня, и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случаю Артюха не пожалел, на натурность свою понадеялся. Немец еще в предбаннике раскис, в

баню зашел — вовсе туго стало, а как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лег и слова вымолвить не может, только кряхтит да керкает.

Артюха кричит:

— Полезай на полок! Там, поди-ко, у нас все наготовлено.

А куда немец полезет, коли к полу еле жив прижался, головы поднять не может. Артюха на что привычен, и то чует — перехватил малость. Усилился все-таки, забрался на полок и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает:

— Вот гляди! Лаком плесну, кисточкой размахну — и готов поднос. Понял?

Немец ползет поближе к дверям да бормочет:

— Ох, понял.

Артюха, конечно, живо перебрал подносы, соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня, известно, не вовсе раздольное место: брызги на немца летят. Поросенком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал, баню на замок запер и говорит:

— Шесть часов для просушки.

Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюха поделку сдавать. Все, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержано самая малость. Дедушко Мирон тогда и говорит:

— Ну, дело кончено. Получай, Артемий, деньги.

И подает ему пачку. Свидетели тоже помалкивают, а немец еще придирку строит.

— Тринадцатый,— говорит,— поднос где?

Артюха отвечает:

— За этим дело не станет. В уговоре не было, чтоб на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сразу узнаешь, что для тебя готовлено.

И вот, понимаешь, приносит поднос, а на нем короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху четкими буковками надписано:

«Испить кваску после баньки».

Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо.

Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил да так ни с чем и отъехал.

А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и невьянских тоже. Дедушко Мирон к этому случаю подошел. Артюха тогда и рассказал все по порядку,— как он с немцем хороводился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою тысячу, какую в задаток от Двоефеди выморщил, туда же прибавил да и говорит:

— Вот разделите без обиды.

Мастерам стыдно ни за что ни про что деньги брать, отговариваются,— мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтоб Артюхе двойную долю выделить, только он наотрез отказался.

— С меня,— говорит,— и того хватит, что позабавился над этим немецким Двоефедей.

Пузырек с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.

ТАРАКАНЬЕ МЫЛО

В наших-то правителях дураков все-таки многонько было. Иной удумает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а этих — никак. Свое твердят:

— О! Я ошень понималь!

Одному такому — не то он в министрах служил, не то еще выше — и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. По немецкому положению, первым делом ученого немца в здешние места привез. Он, дескать, новые места покажет, где какой камень искать, да еще такие камни отыщет, про которые никто и не слыхивал.

Вот приехал этот немец. Из себя худощавый, а видный. Ходит форсисто, говорит с растяжкой. В очках.

Стал этот приезжий по нашим горочкам расхаживать. По старым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподручнее показалось.

Подберет какой камешок, оглядит, подымет руку вверх и скажет с важностью:

— Это есть железный рута!

— Это есть метный рута!

Или еще там что.

Скажет так-то и на всех свысока поглядывает: вот, дескать, я какой понимающий. Когда с полчаса долдонит, а сам головой мотает, руками размахивает. Прямо сказать, до поту старался. Известно, деньги плачены — он, значит, видимость и оказывал.

Горное начальство, может, половину того пустоговорья не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от вышнего начальства присланный, не прекосло-

вить же ему. Начальство, значит, слушает немца, спины гнет да приговаривает:

— Так точно, ваше немецкое благородие. Истинную правду изволите говорить. Такой камешок тут и добывался.

Старым горщикам это немцево похождение за обиду пришлось.

— Как так? Все горы-ложки исходили, исползали, всякий следок-поводок к камню понимать можем, а тут на-ко — привезли незнамого человека, и будто он больше нашего в наших местах понимает. Зря деньги бросили.

Ну, нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул. Известно, начальству угодить желают. Разговор повели: он-де шибко ученый, в генеральских чинах да еще из самой середки немецкой земли, а там, сказывают, народ вовсе дошлый: с тараканов сало сымают да мыло варят.

За спор у стариков дело пошло, а тут на это время случился Афоня Хрусталек. Мужичонка еще не старый, а на славе. Он из гранильщиков был. Места, где дорогой камешок родится, до пятнышка знал. И Хрустальком его недаром прозвали. Он, видишь, из горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камешки выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий не сразу в этой афониной поделке разберется. Вот за это и прозвали его Хрустальком.

Ну, Афоня на то не обижался.

— Что ж,— говорит,— хрусталек не простая галька: рядом с дорогим камнем растет, а когда солнышко ловко придется, так и вовсе заиграет, не хуже настоящего.

Послушал это Афоня насчет тараканьего мыла да и говорит:

— Пущай немец сам тем мылом моется. У нас лучше того придумано.

— Как так? — спрашивают.

— Очень,— отвечает,— просто: выпарился в бане докрасна, да окатился полной шайкой, и ходи всю неделю, как новенький.

Старики, которые на немца обнадеживались, слышат, к чему Афоня клонит, говорят ему:

— Ты, Афоня, немецкую науку не опровергай.

— Я,— отвечает,— и не опровергаю, а про то говорю, что и мы не без науки живем и еще никто не смерил, чья наука выше. В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты попробуй новое место показать либо в огранке разобраться, тогда видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ко твой немец ко мне зайдет. Погляжу я, как он в камнях разбирается.

Про этот афонин разговор потом вспомнили, как немец захотел на память про здешние места топазову печатку заказать. Кто-то возьми и надоумь:

— Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных камней не найдешь.

Старики, которые на немецку руку, стали отговаривать:

— Не было бы тут подделки!

А немец хвалится:

— О, мой это карошо знайт! Натураль-камень лютше всех объяснять могу.

Раз так выхваляется, что сделаешь — свели к Афоне, а тот и показал немцу камешки своей чистой работы. Не разобрал ведь немец! Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увез да там и показывает: вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. А Хрусталек все-таки написал ему письмецо.

— Так и так, ваше немецкое благородие. Надо бы тебе сперва очки тараканьим мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то из жареного стекла тобой куплены.

Горный начальник, как прослышал про это письмецо, накинулся на Афоню:

— Как ты смел, такой-сякой, ученого немца конфузить!

Ну, Хрусталек не из пужливых был. На эти слова и говорит:

— Он сам себя, поди-ко, сконфузил. Взялся здешним горщикам камни показывать, а у самого толку нет, чтобы натурный камень от бутылочного стекла отличить.

Загнали все-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, а немец-то так и не откликнулся. Тоже, видно, стыд поимел. А наши прозвали этого немца — Тараканье Мыло.

ШЕЛКОВАЯ ГОРКА

Наше семейство из коренных невьянских будет. На этом самом заводе начало получило.

Теперь, конечно, людей нашей фамилии по разным местам можно встретить, только вот эта усадьба, на которой мы с тобой разговариваем, наша початочная. До большого невьянского пожару тут, помню, избушечка стояла. Она покойному родителю от дедушки досталась, а тот не сам ее строил,— тоже по наследству получил. Небольшая избушка. Ну, рублена из кондового лесу. Такого по нынешним временам близко жилья не найдешь. Дивиться надо, как старики такие бревна ворочали. Что ни венец, то и аршин. На сотни годов ставили.

Вот и посчитай, сколько времени наше семейство на этом месте проживает, коли большой невьянский пожар пришелся на голодный 91-й год. С той поры близко шести десятков прошло, а от начала-то сколько?

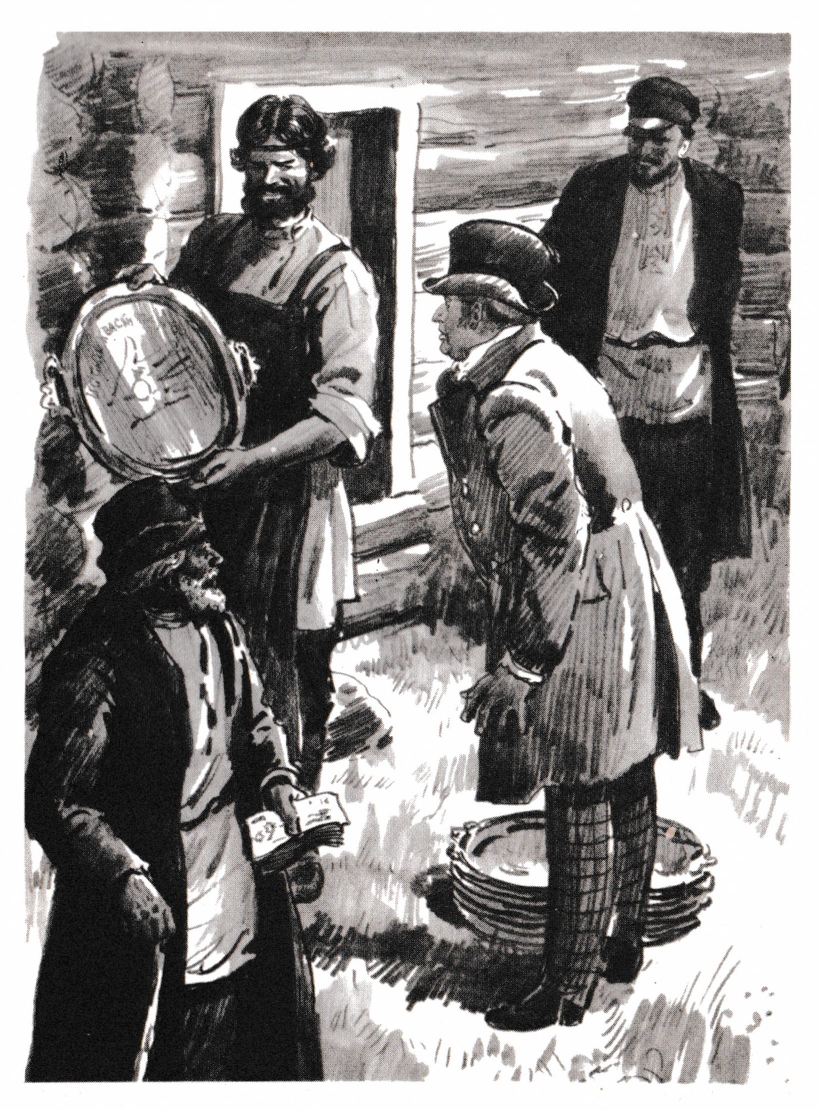
Тоже, поди, за эти годы наши семейные что-нибудь видели. И глухонемых в роду не бывало. Одни, значит, рассказывали, другие слушали, а потом сами рассказывали. Если такое собрать, много занятного окажется.

Это я вот к чему.

Наш Невьянский завод считается самым старым в здешнем краю. К двумстам пятидесяти подвигается, как тут выпущен был первый чугун, а мастера Семен Тумаков да Аверкий Петров проковали первое железо и за своими мастерскими клеймами отправили на воеводский двор в Верхотурье. Строитель завода Семен Куприяныч Вакулин — спасибо ему — не забыл об этом записать, а то мы бы и не знали, кто починал наше железко, коим весь край живет столько годов.



«ИВАНКО КРЫЛАТКО»



«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛАК»

Понятно, что всякий, кому понадобится о заводской старине рассказать, непременно с нашего завода начинает. Случалось мне, читывал. Не одна книжка про это составлена. Одно плохо,— все больше про хозяев заводских Демидовых пишут. Сперва побасенку расскажут, как Никита Демидов царю Петру пистолет починил и за это будто бы в подарок получил только что отстроенный первый завод, а потом примутся расписывать про демидовскую жизнь. Кому охота, может по этим книжкам и то узнать, где какой Демидов женился, каких родов жену взял и какое приданое за ней получил, в котором месте умер и какой ему памятник поставили: то ли из итальянского мрамора, то ли из здешнего чугуна. Известно, хозяева старались высоко себя поставить.

Не стану хаять первых Демидовых: Никиту да Акинфия. Конечно, трудно от них народу приходилось, и большие деньги они себе заграбастали, только и дело большое поставили и умели не то что в большом, а и в самом маленьком полезную выдумку поймать и в ход пустить. И за то этих двух Демидовых похвалить можно, что за иноземцев не хватались, на свой народ надеялись. Ну, все-таки не сами Демидовы руду искали, не сами плавили да до дела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось. Немало и смекалки и выдумки приложено, чтоб демидовское железо наславу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали. Думал,— в этих годах про них по архивам раскопают, да не дождался пока. В книжках, какие в недавних годах вышли, перебирают старое на новый лад, а толк один: всё Демидовы да Демидовы, будто и не было тех людей, кои самих Демидовых столь высоко подняли, что их стало видно на сотни годов.

Старину, конечно, зря ворошить не к чему, а бывает, что она вроде и понадобится. Недавно вот такой случай вышел.

Моей старшей дочери с вешней Авдотьи, с Плющихи-то, пятидесятый пошел. Сама давно бабушкой стала. Так вот ее-то внучонок, мой, стало быть, правнучек, прибежал ко мне. Полакомиться, видно, медком захотелось, потому как я всегда к пчелкам приверженность имел. Раньше, как на заводе работал, улей-два держал,

а теперь на старости лет одно у меня занятие — за пчелками ходить. Прибежал Алексейко и говорит:

— Дедушко, я пособлять тебе пришел,— мед выкачивать.

Лето нынешнее не больно удалось для пчелиного сбору. Ну, для такого пособника как не найти кусочка. Вырезал ему сотового медку.

— Ешь на здоровье! А качать будем, когда время придет.

Поедает Алексейко медок, а сам старается рассказать все свои ребячьи новости. Шустрый он у нас мальчонка, разговорчивый и книжку почитать любит. В этом разговоре вдруг и спрашивает меня:

— Дедушко, ты слыхал про камень-асбест?

— Как,— отвечаю,— не слыхал, коли в наших местах его сперва раскопали и в дело произвели.

Алексейко и говорит:

— Неправильно ты, дедушко, судишь. В Итальянской земле это дело началось. Там одна женщина Елена, по фамилии Перпенти, самая первая научилась из асбеста нитки прясть, и Наполеону, когда он был в Итальянской земле, поднесла, говорят, неопалимый воротник. За эту выдумку, что она научилась с асбестом обходиться, эту женщину наградили, медаль особенную выбили для почету. А было это в тысяча восемьсот шестом году. В книжке так напечатано, а ты говоришь,— в нашем заводе!

Ребенок, конечно. Чужие слова говорит, а все-таки обидно слушать. Печатают, а того не сообразят, что Акинфий Демидов чуть не сотней годов раньше Наполеона жил, а про этого Акинфия рассказывают, что поделками из каменной кудели он весь дворец царский удивлял. Значит, тогда уж в нашем заводе научились из асбеста прясть и ткать, плести-вязать. А как это случилось, мне не раз доводилось слыхать в своем родстве. Вот и говорю Алексейку:

— Ты про итальянскую Елену вычитал, а теперь послушай про нашу невьянскую Марфушу. Она, ежели разобраться, тебе и в родстве придется. Этакая же, сказывают, курносенькая да рябенькая была и посмеяться любила. По этой примете ей кличку дали — Марфуша Зубомойка.

Жила эта Марфуша Зубомойка в давних годах. Тогда еще не то что Наполеона, а и бабушки его на свете не было. Заводскими делами управлял тогда в наших местах Акинфий Демидов. Он, конечно, сам рудниками да заводами занимался, только и мелкое хозяйство на примете держал. В числе прочего была при барском доме обширная рукодельня. Пряли да ткали там, шитье тоже, вязанье да плетенье и разное такое рукоделье. В эту рукодельню брали больше сироток, а когда и девчонок из многодетных домов. Держали их в рукодельне до выданья замуж, а кои посмышленее окажутся, тех и вовсе не отпускали. Девчонки знали про это и старались раденья не оказывать. Ну, их строгостью донимали. Управляла рукодельней какая-то демидовская сродственница Фетинья Давыдовна. Вовсе еще не старая, а до того выкомура да придира, что и в старухах редко такую найдешь. Одно слово, мучительница.

Меж рукодельниц были и такие, кои себя с малых лет показали. Этих Фетинья больше всех допекала. Как хорошо ни сделают, она найдет изъян, уроку надбавит да еще и наколотит. На это у нее больно проста рука была. Ясное дело, от такого-то житья добрым мастерицам хоть в воду. Случалось, и в бега пускались, да удачи не выходило: поймают, на конюшне выпорют да той же Фетинье сдадут, а хозяин еще накажет:

— Ты гляди за девками-то! Не разевай рот. В случае и самой плетей отпущу. Не жалко мне.

После такого хозяйского наказу Фетинья того пуще лютует. Прямо всем житья не стало, а Марфуше Зубомойке на особицу.

Эта девушка, говорят, из себя не больно казиста была, а характеру легкого, веселая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем. Будто играючи его делала. Ну, а давно примечено, что люди вроде Фетиньи сильно веселых не любят: все им охота прижать до слезы, а Марфуша не поддавалась да еще своим мастерством маленько загораживалась. Хозяйка и сам хозяин знали ее за самолучшую мастерицу и, чуть что похитрее понадобится, говорили Фетинье:

— Пошли Марфутку. Заказ ей будет. Да, гляди, не путай девку. Сама пусть нитку сготовит и узор на свой глаз выберет.

Фетинье эти хозяйские заказы, как окалина в глаз: все время покою не дает и со слезой не выкатывается, потому — с зазубринками. Тут еще добавок получился. В демидовской дворне появился новый пришлый. Как его по-настоящему звали, никто не знал. Он, видишь, из беглых с казенных заводов был, в руде да каменьях толк понимал. Демидов такого с охотой принял, велел его кормить в одном застолье с самыми близкими своими слугами, а насчет старого сказал:

— Как тебя раньше звали, про то забудь. По моим бумагам будешь называться Юрко Шмель из Рязанской земли, а годов себе считай с Егорьева дня тридцать пять.

Тут еще вычитал по бумаге, что куплен у помещика такого-то, из такой-то деревни и шуткой добавил:

— А какой он, этот помещик,— старый ли молодой, лысый ли кудрявый, большой ли маленький,— это уж как тебе приснится. Ни я, ни ты его не видывали, а на случай, если спрашивать станут, придумай и этого держись.

В ту пору этакое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием,— если поймают, на завод навсегда забрать. На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживется, несуразно выходило: считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет.

Так вот... Этот Юрко Шмель приглянулся Фетинье, а он давай на Марфушу заглядываться. Фетинья это приметила и только о том и думала, как бы девку со свету сжить. Ну, тут случай подошел, что Марфуше удалось из-под фетиньиной руки выскользнуть. В семье, из которой она в рукодельню попала, беда приключилась: большие все на одном году померли, остались одни малолетки. Старшему восьмой годок, младшему — два. Демидов и велел приказчику:

— Переведи Марфутку домой. Пускай за ребятами ходит, пока для заводского дела не подрастут.

Фетинье это столь не любо показалось, что сунулась к Демидову с разговором, а тот сразу брови свел.

— Что за речи? Какое твое в этом деле разуменье?

Там, поди-ка, пятеро парнишек остались. Вырастут — железо ковать станут, не твои дырки из ниток выплетать. И того не забывай, с хозяином разговаривают, когда он спрашивает, а не то и Митроху крикнуть можно. Вон он, и кнут при нем!

А приказчику наказал:

— Ты им месячину выдавай, как полагается, и вели девке, чтоб обиходила избу да за ребятами ходила как следует. Своих-то работников ро́стить все-таки дешевле обойдется, чем покупать на стороне.

Фетинья, понятно, язык прикусила, а сама думает: не я буду, коли эту девку не изведу. И верно, по прошествии малого времени добилась через хозяйку, чтоб опять Марфуше тонкую работу давать. Что, дескать, ей вечерами делать, как ребятишки улягутся спать. Чем песни петь да лясы с соседками точить, пусть-ка на господ маленько поработает. Про себя, конечно, другое думала. В маленькой избушке да при пятерке малолетков непременно она работу испортит, тогда и потешусь над ней: подведу под митрохин кнут да суну этому псу полтину, так он эту девку до смерти забьет, будто ненароком.

Хозяйка все-таки спросила у мужа, а тот ухмыльнулся:

— Это тебя Фетинья за̀ уши водит,— на своем поставить хочет. Сказал ведь,— работники мне нужнее всякого вашего тонкого рукоделья.

Потом, мало погодя, говорит:

— Коли надобность есть, попытай, только сама заказы давай, сама и принимай.

Вышло не так, как Фетинья хотела, а все-таки она надежды не потеряла, по-своему думала: испортит Марфуша припас, так по-другому хозяин заговорит, потому привык за каждый грош зубами держаться. Только Марфуша, видно, удачливая была, все у нее гладко проходило. Правду сказать, эти хозяйские заказы ей к руке пришлись. Сколь ни тяжело доводилось в новом житье, а по привычной работе Марфуша маленько тосковала, а тут она, как говорится, сама пришла. Намотается за день с ребятами, а вечером, глядишь, и посидит часок-другой. Вместо отдыха ей, а при ее-то руках столько сделает, что другая и за день не одолеет. Хозяйка ей даже поблажку дала.

— При лучине-то,— говорит,— одной неспособно, так ты лампадку зажигай. Масла велю давать безотказно.

Да еще и пособник у Марфуши оказался. Юрко Шмель нет-нет и зайдет навестить, как сиротская семья живет. Вечерами, конечно, Марфуша его не пускала, чтоб зряшного разговору не вышло, а днем — милости просим. Он прибежит и всю мужичью работу, какая накопилась, живо справит. Ну, и разговоры всякие меж ними бывали, а про работу в первую очередь. Известно, чем человек живет, о том и думает. Раз как-то Марфуша и спросила:

— На Шелковой горке это какой камень сзелена и мягкий? Если его поколотить чем тяжелым, так он распушится, как куделя.

— Не знаю,— говорит,— не случалось видать такой камень и про Шелковую горку не слыхал.

Марфуша и объяснила:

— За прудом. Вовсе недалеко. Летом по ягоды туда ходят. Небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шелковые платки разбросаны. А все это тот камень действует: на солнышке-то блестит и зеленым отливает.

Юрко говорит:

— Надо поглядеть. По рассказу на слюду похоже, только зеленое тут ни к чему. Завтра же сбегаю на твою Шелковую горку, благо день воскресный.

Марфуша рассказала, как Шелковую горку найти, и на другой день Юрко приволок целый мешок камней.

— Видать,— говорит,— камень любопытный. Хозяину про него сперва не скажу, сам испытывать буду и у других поспрошаю, не знают ли насчет этого.

Стал тут перебирать камешки, а Марфуша подошла. Занятно показалось. Поколотишь с уголка, а он и распушится — куделя куделей. Марфуша, как она с малых лет привыкла с нитками обходиться, попробовала прясть, да не скручиваются эти волоконца. Ребятишки, кои побольше, тоже потянулись из камешков куделю делать. Насорили, понятно, по полу, по лавкам, по всей середе. Потом, как Юрко ушел, Марфуша подмела пол и сор в печку бросила, а сама еще подумала:

«Нет худа без добра: сору много, зато растопки завтра не надо».

Утром, как водится, затопила печку. Протопилась она, а сор как был, так и остался. Марфуша сказала Юрку:

— Не горит ведь эта каменная куделя!

— И по моему испытанию это же выходит,— отвечает Юрко.— На огонь пробовал, на кислоту пробовал, одно понял,— какой-то вовсе не знакомый камень. Буду дальше его испытывать.

У Марфуши свое на уме: научиться бы прясть эту каменную куделю. Вот бы диво, кабы из таких ниток что-нибудь связать, либо кружева сплести.

Что ни делает, а эта думка покою не дает. Истолкла в ступке сколько-то камешков, мелочь отобрала, пыль отсеяла,— стала у нее куделя вроде настоящей, а не скручивается в нитку. Так и сяк перепробовала: с хлебным клеем, овчинным, с рыбьей кишкой, с кровью — нет, не выходит. С простой куделей идет, да нитка толста и не то выходит, что надо. Ну, все-таки дошла, что с деревянным маслом прясть можно. Не больно крепкая нитка, а для вязанья да плетенья годится. Сказала Юрку. Тот рад-радехонек.

— Свяжи,— говорит,— хозяину кошелек да хозяйке сколько-нибудь кружев сплети, тогда, может, нам жениться дозволят.

Юрко об этом уж спрашивал у Демидова, да не в час попал, буркнул только в ответ:

— Выбирай какую из спелых девок, эта у меня к другому делу поставлена. Ты туда и дорожку забудь.

Юрко, понятно, дорогу не забыл, а все-таки таиться пришлось, заходить с оглядкой, чтоб кто из барских наушников не увидел. Фетинья, конечно, это разнюхала и побежала сказать хозяину, да тоже, видно, не в час попала. Строго поглядел:

— Без тебя знаю. Срок придет, сделаю, что надо, а ты за рукодельней своей доглядывай.

Демидов, видишь, и то знал через своих доглядчиков, что Юрко Шмель испытывает какой-то новый камень. Мешать этому не велел, а только приказал:

— Глядите, чтоб оба в бега не кинулись. Прозеваете, худо будет.

Фетинья из хозяйского разговору поняла, что Юрку кнута не миновать. Обрадовалась этому, потом забеспокоилась, как бы Марфуша от расправы не ускользнула.

До того себя этим растравила, что решила подвод сделать. Выждала время, когда Марфуше надо было за месячиной в господские амбары идти, и прибежала к ней в избушку. На то рассчитывала, чтоб хозяйский заказ испортить либо унести. А у Марфуши такой порядок велся: когда случалось ребятишек одних оставлять, она хозяйский заказ в сундучок запирала, а свою работу из негорючей-то нитки поднимала на полатный брус, чтоб ребята не достали. Фетинья огляделась, видит,— на брусу коклюшечная подушка, и кружев на ней готовых много наколото. Того не смекнула, что из какой-то небывалой пряжи плетенье. Думала,— хозяйский заказ. Сорвала готовое, сунула под шаль и убежала. Прибежала в рукодельню — а зимой дело было, и печи топились — и сразу к печке, будто погреться, да незаметно и бросила что-то в огонь из-под шали. Девчонки, которые поближе сидели, заметили, конечно, только виду не показали, а Фетинья отошла от печки и говорит:

— Теперь пусть-ка вывернется, удачливая.

Пришла Марфуша домой. Старшие ребятишки ей рассказали, что была тетенька из рукодельни и с брусу подушку брала. Марфуше обидно: столько билась над пряжей, а ее нет. Побежала хозяйке жаловаться, да против самой рукодельни и набежала на хозяина. Тот в молотовую шел, и палач Митроха, как привычно, поблизости от хозяина. Марфуша насмелилась, да и говорит:

— Батюшка Акинфий Никитич, заступись за сироту.

Демидов остановился:

— Ну, что у тебя?

Марфуша стала рассказывать. Демидов, как услышал, что разговор о кружевах, зверем заревел:

— Что? Ты ополоумела, девка? Стану я ваши бабьи дела разбирать. Митроха!

Палач по своей собачьей должности тут как тут:

— Что прикажете?

— Волоки эту девку в рукодельню. Дай ей плетью половину начальной бабьей меры, чтоб запомнила, как с хозяином о пустяках говорить, и прочим для острастки!

С Митрохой какой разговор? За шиворот взял да пробурчал:

— Пойдем, девка!

Пришла в рукодельню. Фетинья радуется, что так скоро по ее желанию сбылось. Велела скамейку на средину вытащить. Марфуша, как увидела Фетинью, закричала:

— А все-таки мы с Юрком негорючую пряжу придумали. Тебе и сейчас не дознаться, как она сделана.

Марфуша, видишь, подумала, что Фетинья хочет чужую выдумку за свою выдать. Демидов опять, как про Юрка она помянула, другое подумал: не про тот ли камень разговор, что Юрко тайком от хозяина испытывает? Махнул рукой Митрохе: — погоди! — и спрашивает:

— Какая негорючая пряжа? О чем бормочешь? Юрко тут с которой стороны пристегнулся?

Марфуша и рассказала все по порядку, только того не сказала, как прясть каменную куделю. Демидов тогда и спрашивает Фетинью:

— Была у нее?

Фетинья зачастила:

— Была, батюшка Акинфий Никитич, была. Узнать хотела, скоро ли заказ сготовит... Да разве ее застанешь. Шатается где-то, а ребята одни-одинехоньки. Не мыты, не прибраны. Глядеть тошно, плюнула да скорей из избы.

— Кто посылал?

Фетинья тут замялась. Тогда Демидов и говорит:

— Подавай кружева!

Фетинья заклялась-забожилась,— не ведаю, а Демидов еще строже:

— Подавай, говорю!

Та опять клянется-божится, а Демидов мотнул головой Митрохе:

— Полысай кнутом с полной руки, пока не признается.

Фетинья видит,— не миновать беды, озлилась и завизжала:

— Ее-то негорючие кружева вон в той печке сгорели.

Девчонка, которая видела, как Фетинья что-то в печку бросила, живо отпахнула заслонку и говорит:

— Тут они. Сверху лежат.

Демидов велел вытащить. Оказалось, целехоньки кружева. Демидов тогда и вовсе залюбопытствовал.

— Пойдем, Марфутка. Кажи, из какого камня и как делала. Юрка Шмеля туда же позвать. Без промедления!

Митрохе велел:

— Ты доведи Фетинью до полного разума, чтоб навек забыла совать свой нос в большое дело!

Митроха и порадел хозяйской родне: так употчевал, что едва жива осталась. Потом Демидов ворчал на Митроху:

— Вовсе без разума хлещешь. Баба при деле была, а теперь куда ее.

Митроха своим обычаем отговаривался:

— Разум — дело хозяйское. Сколь он укажет, столько и отпущу.

А дело — и верно — с каменной куделей большое оказалось.

Демидов, как разузнал все до тонкости, свою рукодельню повернул на поделку из каменной кудели и накрепко заказал, чтоб на сторону это не выносить.

В рукодельне и пряли, и ткали, плели, и вязали из каменной кудели, а как случится Демидову в столицу ехать, он всю эту поделку с собой увозил. Мужик, конечно, хитрый был: знал, кому и зачем подарить диковину, коя в огне не горит. Большую, сказывают, выгоду себе от этих подарков получил.

Марфуше только то и досталось, что свою долю с Юрком Шмелем они получили. Дозволил им Демидов пожениться, усадьбу отвел да сказал:

— Старая изба за ребятами останется, а на этом месте можете строиться.

По времени они и поставили тут избушку. От этого вот Юрка Шмеля да Марфуши Зубомойки и пошла наша фамилия Шмелевых.

Демидовское подаренье, видишь, не больно дорого ему обошлось. Только и разорился, что велел жене:

— Выдай Марфутке полушалок с узорными концами. Пускай все видят барскую награду за старанье.

Нынешнюю награду с демидовской, небось, не сравнишь, потому как только теперь старинная работа в полную силу оценена. Всяк разумеет, что с маленькой

Шелковой горки большую видать, и эта самая Марфуша по-другому кажется.

Заводские владельцы да царские чиновники, видишь, любили себя выхвалять, про мастеров да мастериц им и заботушки не было. Про иноземцев и говорить не остается. Эти по самохвальству первые мастера. Их послушать, так всегда они вперед других все придумали, а стань раскапывать, и выйдет — придумала итальянская Елена то, что твоя дальняя прабабка крепостная Марфуша умела делать на восемьдесят годов раньше.

Ты эту Шелковую горку и попомни, как случится про старину читать, особенно про нашу заводскую. Она, наша-то заводская старина, черным демидовским тулупом прикрыта да сверх того еще перевязана иноземными шнурками. Кто проходом идет, тот одно увидит,— лежит демидовское наследство в иноземной обвязке. А развяжи да раскрой — и выйдет наша Марфуша. Такая же, как ты, курносенькая да рябенькая, с белыми зубами да веселыми глазами. До того живая, что вот-вот придет на завод, по-старинному низенько поклонится и скажет:

— Здоровенько живете, мои дорогие. Вижу,— на высокую гору поднялись. Желаю еще выше взобраться. При случае и нас с малых горок вспоминайте. Демидовской крепостной девкой звалась, а ведь не так это. Демидов, правда, от моей выдумки поживился, так от того я свое имя-прозванье не потеряла. Хоть Демидов и не подумал в мое имя медаль выбивать, и в запись я не попала, а по сей день мои-то пра-правнуки поминают Марфушу Зубомойку да ее муженька Юрка Шмеля. Выходит, не демидовские мы, а ваши. По всем статьям: по крови, по работе, по выдумке.

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.

На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились,— как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо паш-

ня. Одним словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха,— то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась,— придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровни стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает.

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе неймется.

— На всякое,— кричит,— дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: — Вершинка, дескать, мера не надежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят,— не понимает парень. Отступились: — Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремёсла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.

Сколько ни причитала тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго, поди-ка, замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про тимохино чудачество слыхал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушко Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор.

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном,— отвечает,— топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать.

Дедушко Нефед все объясняет по совести, да и то видит — правда в нефедовых словах есть да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна —один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи —продухи такие, пожиже — другие, жердовому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже.

Дедушко Нефед все это объясняет по совести,— да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться, да и говорит: «С этого боку жарче горит».

— Как,— спрашиваю,— узнала?

— А вот обойди,— говорит,— кругом — сам почуешь.

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел,— либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон-звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушко Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил.

Старик посмеивался:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому,— объясняет дедушко Нефед,— что ты книзу глядел,— на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремёсла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак,— говорит,— не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушко Нефед умер, так малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут... Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарóстить выше облака.

ВАСИНА ГОРА

Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.

Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка налегке идет, и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.

По самому гребню этой горы проходила грань: кончался наш заводский выгон, и начиналась казенная лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.

Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется,— не найдешь ее, а скаты горы не зря звались Волчьими падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.

Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служилых был, Василием звали, а как по отчеству

да по прозванью,— не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяшке.

Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь по кроснам налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели,— бьется мужик. Тогда общественники и говорят:

— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.

— Почему,— отвечает,— миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.

Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлебку либо кашу сварить, нары для спанья, да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:

— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.

Дед на это одно говорил:

— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.

Проезжающие начинают допрашиваться, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:

— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.

Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще приметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить, и не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.

Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.

Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.

Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка, да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приблудного, сам увязался за хлебушком, видно,— отогнать не можем. А отдашь, и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.

Ну, все-таки сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивает у старика:

— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один будто и силы небольшой, и на возрасте, пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой — случается, по виду могутный — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?

Дед Василий и говорит:

— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.

Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь-честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:

— Ну, как не поглядеть. Этакую гору одолел, дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.

Другие опять стонут:

— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо.

Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.

Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:

— Вот видишь,— гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и слабого человека гора

в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится.

Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:

— Дедо, я на эту гору ежедень бегом подыматься стану. Вот погляди.

Старик посмеивается:

— Ну, что ж, худого в этом нет. Может, и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.

Так вот и учил дедушко Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, ну, и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоет.

Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.

И посейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:

— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла. Коли такое сделал, так и много больше того сделать можешь.

ДАЛЕВОЕ ГЛЯДЕЛЬЦЕ

Знаменитых горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему ученые люди, академики их профессорами величали и не в шутку дивились, как они тонко горы узнали, даром что неграмотные.

Дело, понятно, не простое,— не ягодку с куста сорвать. Не зря одного такого прозвали Тяжелой Котомкой. Немало он всякого камня на своей спине перетаскал. А сколько было похожено, сколь породы перекайлено да переворочено,— это и сосчитать нельзя.

Только и то сказать, этот горщик — Тяжелая-то Котомка,— не из первых был. Сам у кого-то учился, кто-то его натолкнул и на дорогу поставил. В Мурзинке будто эта зацепка случилась.

По нынешним временам про Мурзинку мало слышно, а раньше не так было. Слободой она считалась. От нее и другие селенья пошли, а сама она, сказывают, в Ермакову пору обосновалась,— вроде крепости по тем временам. Не раз ее сжигали да разоряли. Да ведь русский корень! Разве его кто вырвать может, коли он за землю ухватился. Мало того, что отстроится слобода, а еще во все стороны деревни выдвинет, вроде, сказать, заслонов.

Другая отличка Мурзинской слободы в том, что около нее нашли первое в нашем государстве цветное каменье. Нашел-то камни Тумашев, в государеву казну представил и награду получил. Так по письменности значится, а на деле, может, кто из слободских Тумашеву место показал. Ну, это дело давнее, никому толком не ведомо, одно ясно, что с Мурзинки у нас и началась

охота за веселыми галечками,— каменное горе али каменная радость. Это уж кому как любо называй.

Ремесло-то это поисковое совсем особое. Конечно, каждый норовит на камешках кусок хлеба заработать. Только есть меж поисковиков и такие, что ни за какие деньги не отдадут камешок, который им полюбится. Вроде и ни к чему им, а до смерти хранят.

— С ним,— говорят,— жить веселее.

Ну, а корысти тут и вовсе без числа. Потому около камешков в одночасье человек разбогатеть может. Таких скоробогатиков и набралось порядком в самой Мурзинке и по деревням, близ коих добыча велась. На перекупке больше наживались. Главное тут было угадать в сыром камне его настоящую цену.

Горщик, которого потом Тяжелой Котомкой прозвали, в те годы парнишкой был. Родом он то ли из Колташей, то ли из Черемисской, неподалеку от Мурзинки. Рос в сиротстве со своей бабушкой. Старушка старательная, без дела не сидела, только ведь старушечьим ремеслом — пряжей да вязаньем — не больно прокормишься. Парнишке и пришлось с малых лет кусок добывать. По сиротскому положению, ясное дело, не приходится работу выбирать: что случится, то и делал. Подпаском бывал, у богатых мужиков в работниках жил, на поденные работы хаживал. И звали его в ту пору Трошей Легоньким.

Раз Троша попал на каменные работы в горе, и оказалось, что парнишка на редкость приметливый на породу. Увидит где пласты и говорит: «А я этакое же видал в том-то месте». Проверят — правильно. И в сыром камне живо наловчился разбираться. Через малое число годов старые старатели стали спрашивать:

— Погляди, Троша, камешок. Сколько, по-твоему, он стоит?

Так этот Троша Легонький и прижился в артели по каменному делу, только в Мурзинке ему ни разу бывать не приходилось. А там тоже приметили Трошу. Приметил самоглавный тамошний богатей. Он, видишь, больше всех на перекупке раздулся, а остарел, плохо видеть стал — оплошка в покупке пошла. Он и придумал:

— Возьму-ка я этого Легонького к себе в дом да для верности женю на Аниске, а то вовсе изболталась девка, сладу с ней нет.

Дочь-то у него, и верно, полудурье была, да и не вовсе в порядке себя держала. Ни один добрый парень из своих мурзинских никогда бы на такой не женился. Вот и стали подманивать со стороны.

У богатых, известно, пособников всегда много. Эти поддужные и давай напевать Троше про невесту:

— Краля писаная! С одного боку тепло, с другого того лучше. Характеру веселого, и одна-разъединая дочь... По времени полным хозяином станешь. А ведь дом-то какой! По всей округе на славе!

Бабушке трошиной, видно, надоело всю жизнь в бедности колотиться, она и поддакнула:

— Коли люди с добром, почему нам отворачиваться?

У Троши по этой части настоящей думки не было, он и говорит:

— Раз пришла пора жениться, надо невест глядеть.

Поддужные радехоньки, что парень этак легонько на приманку пошел, поторапливают:

— Тогда и тянуть с этим нечего. В воскресенье приезжай с бабушкой. Смотрины устроим, как полагается. Об одежде да справе не беспокой себя. Там знают, что из сиротского положения ты. Взыску не будет.

Уговорились так-то. Сказали Троше, в котором доме ему сперва остановиться надо, и уехали. Как пришло воскресенье, Троша оделся почище да утречком пораньше и пошел в Мурзинку, а бабушка отказалась:

— Еще испугаются меня, старухи, и тебе доли не будет! В самоцветах разбирать научился, неуж невесту не разглядишь?

Трошу в те годы не зря Легоньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки. Нашел там дом, в котором ему остановиться велели. Там, конечно, приветили, чайком попоили и говорят:

— Отдохни покамест, потому смотрины вечером будут.

Парень про то не подумал, что тут какая уловка есть, а только отдыхать ему не захотелось. «Пойду,— думает,— погляжу Мурзинку».

Камешки тогда по многим деревням добывали. В Южаковой там, в Сизиковой, по всей речке Амбарке, а все-таки Мурзинка заглавное место была. Тут и са-

мые большие каменные богатеи жили и старателей много считалось.

В числе прочих старателей был Яша Кочеток. Груздок, как говорится, из маленьких, а ядреный, глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался. Прямо сказать, этим боком хоть и не поворачивай, не тем будь помянут покойна головушка. В одном у него строгая мера была: ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую: все камешки, какие добудет, на три доли делил: едовую, гулевую и душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала, зато камень редкостный. Деньги, которые за едовую долю получал, все до копейки жене отдавал и больше в них не вязался: «Хозяйствуй, как умеешь!» Гулевые деньги себе забирал, а душевную долю никому не продавал и показывать не любил.

— Душа — не рубаха, что ее выворачивать! Под худой глаз попадет, так еще пятно останется, а мне охота ее в чистоте держать. Да и по делу это требуется.

Начнут спрашивать, какое такое дело, а он в отворот:

— Душевное дело — каменному родня. Тоже в крепком занорыше сидит. К нему подобраться не столь просто, как табаку на трубочку попросить.

Одним словом, чудаковатый мужичок.

Про него Троша дома слыхал, и про то ему было ведомо, что в Мурзинке чуть не через дом старатели жили. Троша и залюбопытствовал: не удастся ли с кем поговорить, как у них тут с камешками, не нашли ли чего новенького. Троша и пошел разгуляться, людей поглядеть, себя показать. Видит, в одном месте на бревнах народу многонько сидит, о чем-то разговаривают. Он и подошел послушать.

Как раз оказались старатели и разговаривали о своем деле. Жаловались больше, что время скупое подошло: на Ватихе давно доброго занорыша не находили, на Тальяне да и по другим ямам тоже большой удачи не было. Разговор не бойко шел. Все к тому клонился — выпить бы по случаю праздника, да денег нет.

Тут видит Троша: подходит еще какой-то новый человек. Один из старателей и говорит:

— Вон Яша Кочеток идет. Поднести, поди, не поднесет, а всех расшевелит да еще спор заведет.

— Без того не обойдется,— поддакнул другой, а сам навстречу Якову давай наговаривать: — Как, Яков Кирьяныч, живешь-поживаешь со вчерашнего дня? Что по хозяйству? Не окривел ли петушок, здорова ли кошечка? Как сам спал-почивал, какой легкий сон видел?

— Да ничего,— отвечает,— все по-хорошему. Петух заказывал тебе по-суседски поклончик, а кошка жалуется: больно много сосед мышей развел — справиться сил нет. А сон, и точно, занятный видел. Будто в Сизиковой бог по дворам с казной ходил, всех уговаривал: «Берите, мужики, кому сколько надо. Без отдачи! Лучше, поди-ка, это, чем полтинничные аметистишки по одному из горы выковыривать».

— Ну и что? — засмеялись старатели.

— Отказались мужики. «Что ты,— говорят,— боже, куда это гоже, чтоб незаробленное брать! Непривычны мы к этому». Так и не сошлось у них.

— Ты скажешь!

— Сказать просто, коли язык не присох.

Тут который сперва-то с Кочетком заговорил,— он, видно, маленько в обиде за петуший поклон оказался,— он и ввернул словцо в задор:

— И понять не хитро, что у тебя всегда одно пустобайство.

Кочеток к этому и привязался:

— По себе, видно, судишь! Неуж все на даровщину польстятся? За кого ты людей считаешь? К барышникам приравнял! Совесть-то, поди, не у всякого застыла.

Другие старатели ввязались, и пошло-поехало, спор поднялся, потому — дело близкое. Бог хоть ни к кому с казной не придет, а богатый камешок под руку попасть может. Стали перебирать богатеев, кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех не без фальши богатство пришло: кто от артели утаил, кто чужое захватил, а больше того на перекупке нажился. Купит за пятерку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти каменные барышники тошней всего приходились старателям. И про то посудачили, есть ли кому позавидовать из богатеев. Тоже вышло — некому. У одного сын дурак-дураком вырос, у другого бабенка на стороне поигрывает, того и гляди усоборует своего мужика и сама

каторги не минует, потому дело явное и давно на примете. Этот опять с перепою опух, на человека не походит. Про невесту хваленую Троша такого наслушался, что хоть уши затыкай. Потом, как за ним прибежали: пора, дескать, на смотрины идти,— он отмахнулся:

— Не пойду! Пускай свой самоцвет кому другому сбывает, а мне с любой придачей не надо!

Поспорили этак старатели, посудачили, к тому пришли: нет копейки надежнее той, коя пóтом полита. Кабы только этих копеек побольше да без барышников! Известно, трудовики по трудовому и вывели. Меж тем темненько уж стало. Спор давно на мирную беседу повернул. Один Кочеток не унимается.

— Это,— кричит,— разговор один! А помани кого боговой казной либо камешком в тысчонку-две ростом, всяк руки протянет!

— Ты откажешься? Сам, небось, заветное хранишь, продешевить боишься!

Кочеток от этого слова весь задор потерял и говорит совсем по-другому:

— Насчет моего заветного ты напрасное слово молвил. Берегу не для корысти, а для душевной радости. Поглядишь на эту красоту — и ровно весной запахнет. А что правда, то правда: подвернись случай с богатым камешком— не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо, ребятишки разуты-раздеты. Да мало ли забот!

Другой старатель подхватил:

— А я бы лошадку завел. Гнеденькую! Как у Самохина. Пускай не задается!

— Мне баню поставить — первое дело,— отозвался еще один.

За ним остальные про свое сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасена.

Кочеток на это и говорит:

— Вот видите: у каждого своя корысть есть. Это и мешает нам найти дорогу к далевому глядельцу.

Старатели на это руками замахали и один по одному расходиться стали, а сами ворчат:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Далось ему это далевое глядельце!

— Слыхали мы эту стариковскую побаску, да ни к чему она!

— Что ее, гору-то, насквозь проглядывать! Тамошнего богатства все едино себе не заберешь. Только себя растравишь!

— Куда нам на даля глядеть! Хоть бы под ногами видеть, чтоб нос не разбить.

Разошлись все. Пошел и Кочеток домой, а Троша с ним рядом. Дорогой Яша спрашивает у парня: чей да откуда, каким случаем в Мурзинку попал, какие камешки находить случалось, по каким местам да приметам. Троша все отвечает толково и без утайки, потом и сам спрашивает:

— Дядя Яков, о каком ты далевом глядельце поминал и почему это старателям не любо показалось?

Яков видит: парень молодой, к камешкам приверженность имеет и спрашивает не для пустого разговору, доверился ему и рассказал:

— Сказывали наши старики, что в здешних горах глядельце есть. Там все пласты горы сходятся. А далевым оно потому зовется, что каждый пласт, будь то железная руда али золото, уголь али медь, дикарь-камень али дорогой самоцвет, насквозь видно. Все спуски, подъемы, все выходы и веточки заприметить можно на многие версты. Глядельце это не снаружи, а в самой горе. Добраться до него человеку нельзя, а видеть можно.

— Как так?

— А через терпеливый камешок.

— Это еще какой? — спрашивает Троша.

— Тут, видишь, штука какая,— объясняет Кочеток,— глядельце открывается только тому, кто себе выгоды не ждет, а хочет посмотреть красоту горы и народу сказать, что где полезное лежит. А как узнаешь, что человек о своем не думает? Вот и положено испытание: найдешь камешок, который тебе больше других приглянется, и храни его. Не продавай, не меняй и даже в мыслях не прикидывай, сколько за него получить можно. Через такой камешок и увидишь далевое глядельце. Как к глазу тебе его поднесут. Не сразу, понятно, такой камешок тебе в руки придет. Не один, может, десяток накопить придется. Терпенье тут требуется. Потому камень и зовется терпеливым. А какой он, этот камешок, цветом голубой ли зеленый, малиновый ли крас-

ный — это неведомо. Одно помнить надо, чтоб его какой своей корыстью не замутить.

Почему старателям не любо слышать разговор об этом? По моему понятию, тут вот что выходит: трудовому человеку, ежели он не хитник, не барышник, охота, поди, поглядеть на красоту горы, а всяк лезет в яму с какой-нибудь своей думкой. Слышал вон разговор: кому лошадь нужна, кому баня, кого другая нужда одолевает. Ну, и досадуют, что им даже думка о далевом глядельце заказана.

Тут Кочеток вовсе доверился парню и рассказал:

— У меня вон есть терпеливые камешки, да не действуют. Замутил, видно, их своими заботами о том, о другом. Ты парень молодой и камешкам приверженный, вот и запомни этот разговор. Может, тебе и посчастливит — увидишь далевое глядельце.

— Ладно,— отвечает,— не забуду твои слова.

В этих разговорах они подошли к кочетковой избушке. Троша тогда и попросил:

— Нельзя ли, дядя Яков, у тебе переночевать? Больно мне неохота к этим богатеевым хвостам ворочаться, а идти домой в потемках несподручно.

— Что ж,— говорит Яков,— время летнее, в сенцах места хватит, а помягче хочешь, ступай на сеновал. Сена хоть и нелишка, а все-таки есть.

Так и остался Троша у Кочетка ночевать. Забрался он на сеновал, а уснуть не может. День-то у него неспокойный выдался. Растревожило парня, что чуть оплошку не сделал с хваленой-то невестой. Ну, и этот разговор с Кочетком сильно задел. Так и проворочался до свету. Хотел уж домой пойти, да подумал: «Нехорошо выйдет, надо подождать, как хозяева проснутся». Стал поджидать, да и уснул крепко-накрепко. Пробудился близко к полудню. Спустился с сеновала, а во двор заходит девчонка с ведрами. Ростом невеличка, а ладная. Ведра полнехоньки, а несет не сплеснет. Привычна, видать, и силу имеет. Троше тут поворот судьбы и обозначился. Это ведь и самый добрый лекарь не скажет, отчего такое бывает: поглядит парень на девушку, она на него взглянет, и оба покой потеряют. Только о том и думают, как бы еще ненароком встретиться, друг на дружку поглядеть, словом перемолвиться, и оба краснеют, так что всякому видно, кто о ком думает.

Это вот самое тут и случилось: приглянулась Троше Легонькому кочеткова дочь Доня, а он ей ясным соколом на сердце пал.

Такое дело, конечно, не сразу делается. Троша и придумал заделье, стал спрашивать у девчонки, в каком месте отец старается. Та обсказала все честь-честью. Троша и пошел будто поглядеть. Нашел по приметам яму, где Кочеток старался, и объяснил, зачем он пришел, и сам за каелку взялся. Потом как зашабашили, спрашивает у артельщиков, нельзя ли ему тут остаться на работах. Артельщики сразу приметили, что парень старательный и сноровку по каменной работе имеет, говорят:

— Милости просим, коли уговор наш тебе подойдет,— и рассказали, с каким уговором они принимают в артель.

Парень, понятно, согласился и стал работать в этой артели, а по субботам уходил в Мурзинку вместе с Кочетком. У него как постой имел. Сколько там прошло, не знаю, а кончилось свадьбой. Гладенько у них это сладилось. Как свататься Троша стал, Кочеток с женой в одно слово сказали, что лучше такого жениха для своей Донюшки не ждали. И вся артель попировала на свадьбе. К тому времени как раз яма их позабавила: нашли хороший занорыш, и у всех на гулевые маленько осталось.

Трошина бабушка уж в обиде была, что внучек с богатой женой забыл старуху. Хотела сама в Мурзинку идти, а Троша и объявился с молодой женой, только не с той, за которой пошел. Рассказал бабушке про свою оплошку с богатой невестой, а старуха посмеивается.

— Вижу,— говорит,— что и эта не бесприданница. Жемчугов полон рот, шелку до пояса и глазок веселый, а это всего дороже. В семейном положении главная хитрость в том, чтобы головы не вешать, коли тебя стукнет.

С той поры много годов прошло. Стал Троша Легонький знаменитым горщиком, и звали его уж по-другому — Тяжелой Котомкой. Немало он новых мест открыл. Работал честно, не хитничал, не барышничал. Терпеливых камешков целый мешок накопил, а далевого глядельца так увидеть ему и не пришлось.

Бывало, жаловался на свою неудачу Донюшке, а та не привыкла унывать, говорит:

— Ну, ты не увидел,— может, внуки наши увидят.

Теперь Трофим Тяжелая Котомка — глубокий старик. Давно по своему делу не работает, глазами ослабел, а как услышит, что новое в наших горах открыли, всегда дивится:

— Сколь ходко ныне горное дело пошло!

Его внук, горный инженер, объясняет:

— Наука теперь, дедушка, не та, и, главное, ищем по-другому. Раньше каждый искал, что ему надо, а ныне смотрят, что где лежит и на что понадобиться может. Видишь, вон на карте раскраска разная. Это глина для кирпичного завода, тут — руда для домны, здесь — место для золотого запаса, тут — уголек хороший для паровозных топок, а это твоя жила, которую на Адуе открыл, вынырнула. Дорогое место!

Старик смотрит на карту и кивает головой: так, так. Потом, хитренько улыбнувшись, спрашивает шепотом:

— Скажи по совести: далевое глядельце нашли? В котором месте?

Внук тоже улыбается:

— Эх, дед, не понимаешь ты этого. Тридцатый уж год пошел, как твое далевое глядельце открыто всякому, кто смотрит не через свои очки. Зоркому глазу через это глядельце не то что горы, а будущие годы видно.

— Вот-вот,— соглашается старик.— Правильно мне покойный тестюшка Яков Кирьяныч сказывал: в далевом глядельце главная сила.



«ВАСИНА ГОРА»



«ШЕЛКОВАЯ ГОРКА»

РУДЯНОЙ ПЕРЕВАЛ

Будто и недавно было, а стань считать, набежит близко шести десятков, как привелось мне в первый раз услышать про этот рудяной перевал. Разговор вроде и маловажный, а запомнился накрепко. А теперь вот, как подольше на земле потоптался, вижу: не вовсе зря говорилось. Пожалуй, и нынешним молодым послушать это не в забаву.

Родитель мой из забойщиков был. На казенном руднике с молодых лет руду долбил. Неподалеку от нашего завода тот рудник. Не больше семи верст по старой мере считалось. Тятя на неделе не по одному разу домой ночевать прибегал, а в субботу вечером и весь воскресный день непременно дома.

Жили мы в ту пору, не похвалюсь, что вовсе хорошо, а все-таки лучше многих соседей. Так подошлось, что в нашей семье работники с едоками чуть не выравнялись. Отец еще не старый, мать в его же годах. Тоже в полной силе. А старший брат уж женился и в листобойном работу имел. Братова жена — не любил я ее за ехидство, не тем будь помянута покойница — без дела сидеть не умела. Работница — не похаешь. Не в полных годах мы с сестренкой были. Ей четырнадцать стукнуло. Самая та пора, чтоб с малыми ребятами водиться. Ее в семье так нянькой и звали. Мне двенадцатый шел. Таких парнишек в нашей бытности величали малой подмогой. Невелика, понятно, подмога, а все-таки не один рот, сколько-то и руки значили: то, другое сделать могли, а ноги на посылках лучше, чем у больших. Голых-то едоков у нас было только двое братовых ребятишек. Один грудной, а другой уж ходить стал.

При таком-то положении, ясное дело, семья отдышку получила, да не больно надолго. Мамоньке нашей нежданная боль прикинулась. Кто говорил, ногу она наколола, кто опять сказывал, будто какой-то конский волос впился, как она на пруду рубахи полоскала, а только нога сразу посинела, и мамоньку в жар бросило прямо до беспамятства. Фельдшер заводский говорил, отнять надо ногу, а то смерть неминучая. По-теперешнему, может, так бы и сделали, а тогда ведь в потемках жили. Соседские старушонки в один голос твердили:

— Не слушай-ка, Парфеновна, фельдшера. Им ведь за то и деньги платят, чтоб резать. Рады человека изувечить. А ты подумай, как без ноги жить. Пошли лучше за Бабанихой. Она тебе в пять либо десять бань всякую боль выгонит. С большим понятием старуха.

Герасим с Авдотьей — это большак-то с женой — хоть молодые, а к этому старушечьему разговору склонились. Нас с сестренкой никто и спрашивать не подумал, да и что бы мы сказали, когда оба не в полных годах были.

Ну, а пришла эта Бабаниха, занялась лечить, а через сутки мамонька умерла. И так это вкруте обернулось, что отец прибежал с рудника, как она уж часовать стала. В большой обиде на нас родитель остался, что за ним раньше не прибежали.

Похоронили мы мамоньку, и вся наша жизнь вразвал пошла. Тятя, не в пример прочим рудничным, на вино воздержанный был и тут себе ослабы не дал, только домой стал ходить редко. В субботу когда прибежит, а в воскресенье, как еще все спят, утянется на рудник. Раз вот так пришел, попарился в бане и говорит брату:

— Вот что, Герасим! Тоскливо мне в своей избе стало. В рудничной казарме будто повеселее маленько, потому — там на людях. Правьтесь уж вы с Авдотьей, как умеете, а мне домой ходить — только себя расстраивать. Из своих получек буду вам помогать, а вы здесь моих ребят не обижайте.

Тут надо сказать, что Авдотья после мамонькиной смерти частенько на меня взъедаться стала: то ей неладно, другим не угодил. Да еще на меня же и жалуется, а тятя меня строжит.

Мне такое слушать надоело. Я, как этот разговор при мне был, и говорю:

— Возьми меня, тятя, с собой на рудник!

Родитель оглядел меня, будто давно не видывал, подумал маленько и говорит:

— Ладное слово сказал. Так-то, может, и лучше. Парнишка уж не маленький. Чем по улице собак гонять да с Авдотьей ссориться, там хоть к рудничному делу приобыкнешь.

Так я по двенадцатому году и попал на рудник, да и приобык к этому делу, надо думать, до могилы. Седьмой десяток вот доходит, а я, сам видишь, хоть на стариковской работе, а при руднике. Смолоду сходил только в военную, отсчитал восемь годочков на персидской границе, погрелся на тамошнем солнышке и опять под землю прохлаждаться пошел. В гражданскую тоже года два под ружьем был, пока колчаковцев из наших мест не вытурили, а остальные годы все на рудниках. В разных, понятно, местах, а ремесло тятино — забойщик. По-старому умею и по-новому знаю. Как перфораторные молотки пошли, так мне первому директор эту машину доверил:

— Получай, Иваныч! Покажи, что старые забойщики от нового не чураются.

И что ты думаешь? Доказал! В газете про меня печатали. Да я теперь, хоть по старости от забоя отстранен, все новенькое, не беспокойся, понимаю: как, скажем, с врубовкой обходиться, как кровлю обрушить по-новому, чтобы сразу руду вагонами добывать. Да и как без этого, коли тут мое коренное ремесло, по наследству от родителя досталось. Одна у нас с тятей забота была: как бы побольше из горы добыть — себе заработать и людям полезное дать. А насчет того, что наши горы оскудеть могут, у меня и думки не бывало. С первых годов, как в рудничную казарму попал, понял это. По-ребячьи будто, а подумаешь, так тут и от правды немалая часть найдется.

Чтобы это понятнее было, сперва о старых порядках маленько расскажу.

Про нынешних шахтеров вон говорят, что чище их никто не ходит, потому — каждый день, как из шахты, так и в баню. А раньше не так велось. На три казармы была одна банешка, но топили ее только по субботам

да накануне больших праздников. В будни, дескать, и без этого проживут. Да и банешка была вроде тех, какие при каждом хозяйстве по огородам ставили. Чуть разве побольше. Человек тридцать, от силы пятьдесят, в вечер перемыться могут. Поневоле людям приходилось на стороне где-то баню искать.

Об еде для рудничных у начальства тоже заботушки не было. Кормитесь сами, как кому причтется. Не то что столовой, а и провиянтского амбара сами не держали и торгашей не допускали. Даже кабатчикам дороги не было. Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам.

В рудничной казарме тоже сладкого немного было. С нынешними общежитиями, небось, не сравнишь. Кроватей либо там тумбочек да цветочков никто тебе не наготовил, плакатов да портретов тоже не развешали и об уборке не заботились. Казарменный дедко на этот счет так говорил:

— Мое дело печи зимами топить, баню по субботам готовить да присматривать, чтоб кто вашим чем не покорыстовался, а чистоту самосильно наводите.

Ну, самосильно и наводили: свой сор соседям отгребали, а те наоборот. Как вовсе невтерпеж станет, примутся все казарму подметать. Чистоты от этого мало прибавлялось, а пыли густо. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки и пол деревянный, потому — места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в два ряда и три больших печи с очагами. Над очагами веревки, чтоб онучи сушить. Как все-то развешают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь, и то мутит. Ну, зимами тепло было. Дедка казарменный не ленился печи топить, а в случае и сами подбрасывали. На дрова рудничное начальство не скупилось. Всегда запас дров был. Теплом-то, может, они людей и держали. По моей примете, немалое это дело — тепло-то. Придут вечером с работы — смотреть тошно. Что измазаны да промокли до нитки — это еще полгоря. Хуже, что за день всякий измотался на крепкой породе до краю. Того и гляди, свалится. А разуются, разболокутся, сполоснут руки у рукомойника — сразу повеселеют, а похлебают горяченького либо хоть всухомятку пожуются — и вовсе отойдут. Без шуток-прибауток да разговоров разных спать не лягут. Конечно, и пустяко-

вины всякой нагородят, что малолеткам и слушать не годится. Только и занятного много бывало. Если бы все это записать, так не одна бы, я думаю, книга вышла. А любопытнее всего приходилось вечерами по субботам да по воскресеньям с утра, пока из завода не прибегут с кабацким зельем.

Тут, видишь, в чем разница была. В каждой казарме жило человек по сту, а то и больше. Добрая половина из них заводские. Эти не то что на праздники да воскресные дни, а и по будням, случалось, домой бегали. Пришлые, которые из дальних мест, тоже не привязаны сидели. Каждому надо было себе провиянту на неделю запасти, кому, может, надобность была золотишко смотнуть да испировать, дружков навестить. В субботу, глядишь, как подымутся из шахты, все и разбегутся. В казарме останется человек десяток-полтора. Эти в баню сходят, попарятся и займутся всяк своим делом. Накопится за неделю-то. Кому надо рубахи в корыте перебрать, кому подметку подбить, латку поставить, пуговку пришить. Да мало ли найдется! Вот и сидят в казарме либо, когда погода дозволяет, кучатся у крылечка. Без разговору в таком разе не обходилось. Судили, о чем придется: про рудничные дела, про свое житейское. Иной раскошелится, так всю свою жизнь расскажет, а кто и сказку разведет. Вечерами, как из завода винишка притащат, шумовато бывало. Порой и до драки доходило, а до того все трезвые и разговор спокойный. Малолетков оберегали: за зряшные слова оговаривали.

Один вот такой разговор мне и запомнился.

В нашей казарме в числе прочих был рудобой Оноха. Работник из самых средственных. Как говорится, ни похвалить, ни похаять. Одна у него отличка была, заботился, чем внуки-правнуки жить будут, как тут леса повырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и все богатство из земли добудут. Сам еще вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. Его, понятно, уговаривали, а ему все неймется. По такой дурнинке ему кличку дали Оноха Пустоглазко. Он из наших заводских был и на праздники всегда домой бегал, а тут каким-то случаем остался. Ногу, должно, зашиб. Без того Оноха не мог, чтоб про свое не поговорить. Он и принялся скулить: старики, дескать, комьями золото

собирали, нам крупинки оставили, а что будет, как мы это остатнее выберем.

При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его прозванье. Не то Квасков, не то Бражкин. От питейного как-то. Оно ему и подходило, потому как слабость имел. Из-за этого и в рудничную казарму попал. Раньше-то, сказывали, штегарем был, сам другим указывал, да сплоховал в чем-то перед хозяевами, его и перевели в простые рудобои. При крепостной поре это было — не откажешься, что велели, то и делай. Только и потом, как крепость отпала, он в том же званье остался. Видно, что мое же дело — привык к одному. Куда от него уйдешь? Рудничное начальство не больно старика жаловало, а все-таки от работы не отказывало, видело: практикованный человек, полезный. А рудничные рабочие уважали, первым человеком по жильному золоту считали и в случае какой заминки — нежданный пласт, скажем, подойдет, либо жила завихляет — всегда советовались со стариком.

Этот дедушко Квасков долго слушал онохино плетенье, потом и говорит:

— Эх, Оноха, Оноха, пустое твое око! Правильное тебе прозванье дали. Видишь, как дерево валят, а того не замечаешь, что на его месте десяток молоденьких подымается. Из них ведь и шест, и жердь, и бревно будет. Про рыбу и говорить не надо. Кабы ее не ловить, так она от тесноты задыхаться бы в наших прудах стала. А дикого зверя выбьют, кому от того горе? Больше скота сохранится.

Оноха, понятно, не сдает.

— Ты,— спрашивает,— лучше скажи: откуда земельное богатство возьмется, когда мы это все выберем? Тоже вырастет?

— На это,— отвечает,— скажу, что понятие твое о земельном богатстве хуже, чем у малого ребенка. Да еще выдумываешь, чего сроду не бывало.

Оноха в задор пошел:

— А ты докажи, что я выдумал! Ну-ка, докажи!

— Что,— отвечает,— тут доказывать, коли просто рассказать могу и свидетелей поставить. Говоришь вот, что старики комьями золото добывали, а я на сорок годов раньше твоего к этому делу пришел, так сам видел эту добычу. Комышки в верховых пластах, верно,

бывали, а на месяц все-таки сдача фунтами считалась, а мы теперь пудами сдаем. Про нынешнюю сдачу все вы сами знаете, а про старую спросите у любого старика, который к этому делу касался. Всяк скажет, что и я: фунтами сдачу считали. Редкость, когда за пуд выбежит.

Онохе податься некуда, а все за свое держится:

— Нет, ты скажи, что добывать будут, как мы эти твои пуды выберем.

— Сотнями, может, пудов месячную добычу считать станут.

— В котором это месте?

— Может, в этом самом. Видал, главная жила вглубь пошла? Мы за ней спуститься боимся: с водой и теперь не пособились. Ну, а придумают водоотлив половчей, тогда и подойдут вглубь, как по большой дороге.

— Когда еще такое будет!..— посомневался Оноха.

— Это,— отвечает,— сказать не берусь, а только на моих памятях в рудничном деле большая перемена случилась. Вспомнишь, так себе не веришь. Застал еще то время, как породу черемухой долбили. Лом такой был. Пудов на пятнадцать весом. Чтоб не одному браться, у него в ручке развилки были. Вот этакой штукой и долбили. Потом порохом рвать стали, а теперь, сам знаешь, динамитом расшибаем. Несравнимо с черемухой-то. Велика ли штука насос-подергуша, а и тот не везде был. На малых работах бадьей воду откачивали. Вот и сообрази, сколь податно у стариков работа шла. Только тем и выкрывались, что когда комышек найдут. Не столь работой, сколь удачей брали. Да и много ли они мест знали!

Тут дед Квасков стал рассказывать, сколько на его памятях открыли новых приисков и рудников, потом и говорит:

— И то помнить надо, что земельное богатство поразному считается: что человеку больше надобно, то и дороже. Давно ли платину ни за что считали, а ныне за нее в первую голову ловятся. Такое же может и с другим случиться. Если дедовские отвалы перебрать, так много полезного найдем, а внуки станут наши перебирать и подивятся, что мы самое дорогое в отброс пускали.

— Сказал тоже! — ворчит Оноха.

— Сказал, да не зря. Про платину я уж тебе говорил, а про порошок, какой знающие при варке стали подсыпают, как думаешь? На мое понятие, он много дороже золота и платины, потому — для большого дела идет, и редко кто знает, где его искать, а он, может, вот в этом голубеньком камешке. Вот и выходит, что земельное богатство не от горы, а от человека считать надо: до чего люди дойдут, то и в горе найдут. И не в одном каком месте, а в разных да в каждом с особинкой, потому — рудяной перевал не одной силы бывает и по-разному закручивает.

Оноха и привязался к этому слову:

— Какой-такой рудяной перевал? Не малые дети мы, чтоб твои сказки слушать. Выдумываешь вовсе несуразное!

— Нет,— отвечает,— не выдумка, а могу на деле тебе показать. Возьмем, скажем, наши отвалы. Думаешь, так они навек голым камнем и останутся? Как бы не так! Забрось-ка их на много лет, так и места не признаешь. В ту вон субботу зашел я к сестре — за покойным Афоней Макаровым была, по Новой улице у них избушка. Сидим, разговариваем с сестрой... В это время прибежали из лесу две ее внучки, девчонки-подлетки, и хвалятся:

— Гляди, бабушка, полнехонька корзинка княженики!

Потом у меня спрашивают:

— Что это за место такое? В густом лесу набежали мы на горушку. Тоже вся лесом заросла, только лес помоложе. И до того эта горушка крутая, что подняться трудно. Стали обходить и видим: в одном месте как проход сделан и там полянка круглая. Горушкой она, как кольцом, опоясана и вся усеяна княженикой.

По приметам я хоть понял, в котором это месте, а все-таки на другой день сходил, не поленился поглядеть эту горушку. Так и оказалось, как думал,— Климовский это рудник. Когда я еще парнишкой был, там тоже жильное золото добывали, шахта глубокая считалась, а отвалы — чистая галька. А тут, гляжу, откуда-то на отвалах земля взялась, и лес вырос. Ровнячок сосна. Жердник уж перешла, до полного бревна не дотянулась, а на мелкую постройку рубить можно. Шахта,

конечно, сверху забросана была жердняком да чащей, чтобы какая скотина не завалилась, а никакого завала не видно. Все накрепко задернело, только в том месте, где шахта, бугорок маленький. Кто не знал про старый рудник, тот не подумает, что под полянкой шахта глубиной сажен на тридцать. И на всей этой полянке княженика, а кругом нигде этой ягоды не найдешь. Вот и отгадай загадку, кто ее тут посеял и почему она на этом месте привилась? А по-моему, земля тут оказалась не такая, как за горушкой. Ну, а стань копаться в этих отвалах, наверняка найдешь такое, чего раньше в помине не бывало. Известно, в одном месте водой вымыло, ветром выдуло, в другом опять комом намыло да нанесло, где песок в камень сжало, где, наоборот, камень в песок раздавило. Выходит, было одно, стало другое, а которое дороже, об этом те рассудят, кому после нас это место перебирать доведется.

Только это верховой перевал. Его всякому, кто поохотится, можно поглядеть. А есть низовой перевал...

Тут Оноха руками замахал: «Что еще скажешь! Слушать неохота!» — и убежал.

Все, которые тут сидели, посмеялись:

— Беги-ка, беги, раз в угол тебя дедко загнал! А ты, дедушка, рассказывай. Любопытно.

— Да тут,— говорит,— и рассказывать-то мало осталось. Слыхали, небось, про сады хозяйки горы, как там деревья меняются. Было синее, стало красное; было желтое, стало зеленое. Это хоть сказка, да не зря сложена. Пустоглазко, может, этого не разберет, а кто правильно глядит, тот и сам заметит, если ему случилось в горе немало годов поворочать. Скажем, на нашем руднике жила идет большим ручьем, а вдруг на ней пересечка. Откуда она взялась? И почему в пересечках разное находят? По этим пересечкам и видно, что земля не вовсе угомонилась. В ней передвижка бывает. Рудяной перевал называется. После такого перевала, сказывают, в горе такое окажется, чего раньше не добывали. На старом вон руднике про такой случай старики рассказывали. Обвалилась штольня, а в конце-то люди были по забоям. Три человека. При крепостном положении, известно, не больно о человеке тужили. Воля, дескать, божья, и откапывать не стали, а эти люди на дру-

гой день сами вышли и вовсе не там, где рудничные работы велись. Так вот эти люди рассказывали, что видели этот рудяной перевал.

Сперва, как обвал случился, кинулись откапываться. Им ведь неизвестно было, что вся штольня завалилась. Ну, намахались и чуют, дыханье спирать стало. Тут они поняли, что дело вовсе плохо, конец пришел. Пригорюнились, конечно: всякому ведь умирать неохота. Сидят, руки опустили, а дыханье вовсе спирать стало. Вдруг видят, в одной стороне запосверкивало, и огоньки разные: желтый, зеленый, красный, синий. Потом все они смешались, как радуга стала, только не дугой, а вроде прямой просеки в гору. С час они на эту подземную работу глядели, а как стемнело, сразу почуяли, что дыханье облегчило. Рудобои привычные были, смекнули, что щель на волю открылась. Дай, думают, попытаем, нельзя ли и самим выбраться. Пошли. Щель вовсе широкая оказалась и много выше человеческого роста. Дорожка, конечно, не больно гладкая, а все-таки вышли по ней в лес, почитай, в версте от рудника.

Рудничное начальство, как узнало об этом, первым делом занялось посмотреть, нет ли чего нового в этой щели. Оказалось, в тех же породах много сурьмяной руды, а ее до той поры на рудниках никогда не добывали. Вот и смекай, к чему подземная радуга привела.

На этом разговор и кончился.

Из завода трое выпивших пришли, вина с собой притащили, угощать старика стали:

— Дедко, уважь! Выкушай от меня стаканчик!

Старик на это слабость имел, и речи другие пошли. Оноха и после этого разговора вздыхать не перестал. В ненастье, видно, родился,— не проняло его.

Только теперь, как начнет своим обычаем приставывать, ему кто-нибудь непременно напомнит:

— Ты лучше скажи, как от дедушки Кваскова бегом убежал.

Оноха сердился, кричал:

— Нашли кого слушать! Самые пустые его речи!

Ну, а мне и другим этот разговор дедушки Кваскова в наученье пошел. Теперь, как погляжу да послушаю, что у нас добывать стали, вспоминаю об этом разговоре. Насчет подземной радуги сомневаюсь. Может, она померещилась людям, как они задыхаться стали.

А насчет остального правильно старик говорил. Сам вижу, что внукам и то понадобилось, на что мы вовсе не глядели. Недавно вон мой дружок-горщик хвалился кварцевой галькой со слабым просветом. Пьезо-кварц называется. Дорогой, говорит, камешок, для радио требуется. А я помню, тачками такую гальку на отвалы возил, потому — в огранку не шла и никому не требовалась.

А того правильнее — наши горы все дадут, что человеку понадобится. Смотри-ка ты, что вышло! За войну у нас как молодильные годы по рудникам прошли — столько нового открыли, что и не сосчитаешь. И не крошки какие, а запасы на большие годы. Как видно, рудяной перевал прошел.

Не столь, может, в горе, сколько в людях: светлее жить стали, многое узнали, о чем нам, старикам, и не снилось. Ну, и орудия другая — не обушок с лопатой, а много способнее.

В этом, надо полагать, и есть главный перевал, после коего жизнь по-новому пошла.

ЗОЛОТОЦВЕТЕНЬ ГОРЫ

По нашим заводам исстари такой порядок велся, чтоб дети родительским ремеслом кормились. Так и в нашей семье было. Все мои старшие братья по отцовской дороге пошли, один я на отшибе оказался, стал свою долю в горе́ искать, да и задержался на этом деле до старости.

Не больно гладко она началась, да и потом косогором с ухабами шла. Теперь вот подшучиваю над своею старухой. Каждый месяц, как деньги ей передаю, непременно скажу:

— Получите, Анисья Петровна, на домашние расходы пенсию, какая по заслугам мужа назначена.

Она, понятно, берет. Ни разу не отказалась и тоже с полным обхождением отвечает:

— Покорно благодарю, Сидор Васильич. Премного довольны.

А когда еще ласковенько этак спросит:

— Табачку-то тебе купить или еще тот не искурил?

— Это,— отвечаю,— какое участие ваше.

Ну, старуха у меня не привычна долго-то с обхождением поступать, заершится:

— А такое участие, чтоб того проклятого табачищу вовсе не было. Всю избу прокоптил. До старости дожил, а ума не нажил!

Только мне эта воркотня вроде забавы, для домашнего развлечения. А ведь раньше не то было. Не одно, поди, ведро слез моя женушка пролила, а попреков да покоров в самый большой углевозный короб не вобьешь. Не раз грозилась вовсе уйти от меня. Все, видишь, образумить да усовестить меня хотела, чтоб полюдски жил, работал бы на фабрике либо при каком другом заводском деле находился.

А сколь мы сладко с ней жили, по тому суди, что ни один из моих сыновей и зятьев на мое ремесло не позарился.

Ну, все-таки старуха от меня не ушла, а теперь и грозиться этим перестала. Пятерых ребят мы с ней вырастили и к делу приставили. Пенсию вот получаю. В двух местах по моему показу рудники есть. Один Талышмановский, а другой по моей фамилии произвели. Чуешь? Не зря, выходит, я с малых лет да женатым столько муки от семейных своих принял.

И тем могу похвалиться, что двое моих внучат по моей части пошли. Один еще учится в институте, а другой уж три года как все курсы окончил. Инженер! Со всяким прибором обходиться умеет. Теперь за Благодатью разведки ведет. Недавно приезжал домой, так сказывал, много чего они там нашли.

Известно, грамотные, с приборами идут и целой партией. В день узнают больше, чем мы за годы высмотрим в одиночку-то. И шли мы, почитай, вслепую. Одна надежда на глазок, на слушок да приметы разные. Стариковские сказы тоже не отвергали. От иного и польза бывала. Да вот лучше я сначала расскажу про все это.

В малолетстве я пристрастился рыбешку ловить. Рыболовной снасти в нашем доме не было, а удочку всяк смастерит. Я и занялся с удочкой в те годы, как в школу учиться бегал. Тятя этому не препятствовал: все-таки парнишка не баклуши бьет, а за школу одобрял: «Учись». Потом, как я три класса кончил и похвальный лист принес, тятя этот лист на стенку повесил и другим показывал:

— Сидша наш, гляди-ко, отличился. Бумагу с золотыми каемками ему выдали!

Как прошло с той поры еще года два, родитель стал поварчивать на мое рыболовство:

— Пора к делу приучаться, а ты все со своей удочкой балуешься!

Ну, мамонька меня заслонила:

— Что ты, отец, зря парня беспокоишь? Не сидим без рыбы-то. Вас вон трое на заводе, а получка какая? Кабы Сидша рыбу не носил, сплошь бы всухомятку хлеб жевали. А то приварок есть. Пускай еще сколько порыбачит. На завод успеется.

Так и застояла меня себе на голову. Потом сколько ее отец корил: «Лентяка вырастила». А мне тогда отсрочка вышла, с год еще без покору рыболовил. Большенький стал. Кое-что понял. Жерлицы завел, морды плести и ставить научился. Зимой тоже ловить навык. Рыба у нас всегда была. Случалось, какую рыбку побогаче мать и продавала.

Раз летом забрался я по Полдневской дороге к Чусовой. Река там мелкая, с перекатами, а мне это и надо было, потому на таких перекатах хариус ловится. Постоял долгонько, а толку мало. Вижу, идет какой-то пожилой человек. Одет попросту, походка легкая. Высокий такой и на лицо приметный. Усы реденькие, подбородок тоже чуть волосками прострочен, а под подбородком густой клин седых волос. Брови тоже седые и как-то вразмет пошли. Ровно вот две маленькие птички сидят и крылышки подняли. Одним словом, приметные. Раз увидишь, никогда не забудешь.

Идет этот человек и говорит:

— Ты, парень, не ладно примостился. Тень-то твоя на воду падает, а хариус — рыбка сторожкая. Увидит — отойдет. Ты лучше на ту вон излучину ступай. Там тебе солнышко чуть не в лоб придется, тень на кусты, да и кусты там поближе к берегу, а перекат такой же.

Сказал — и прошел. Мне, по ребячьему делу, дивом показалось: ни о чем не спросил, а посоветовал, будто наперед все узнал. Все-таки послушался этого совета, перешел к перекату, про который он говорил, и живехонько наловил хариусов полную корзинку. Еле до дому донес: тяжело оказалось. Мамонька обрадовалась: «Самая-то господская рыбка. Уважают такую. Побегу-ка, не купят ли».

И, верно, целковый ей за корзину дали. Перед отцом мамонька даже похвалилась моей удачей. Показала полученный рубль и говорит:

— Тебе за это два дня у печки жариться, а Сидша в один день столько получил.

— Моя полтина надежная, она на всяк день есть, а эти рубли, которые с водой плывут,— одна заманка для дураков.

После этой удачи повадился я ходить по Полдневской дороге на Чусовую. Хариус всегда на том месте

ловился, только все меньше и меньше. Раз опять подошел ко мне этот человек. При ружье, в руке лопата, за поясом каелка. Легонькая, для верхового бою. Подошел, сел покурить. Я ему спасибо за хорошее место сказал, а он советует:

— Не надо на одном перекате ловить. Приметливая эта рыбка. Учует свою убыль, вовсе тут держаться не станет. Ты переходи с переката на перекат, не жалей ног-то. Одно помни — к солнышку применяться надо, чтоб тень на воду не падала.

— Ты, видно, рыболов? — спрашиваю.

— Рыбачу, когда на ушку понадобится. Больше-то мне не к чему. Одиночкой живу, а летом редко и в избу захожу. В лесу больше.

— Охотничаешь?

— Какая охота с кайлой да лопатой. Ружье это так, для провиянту. По нехоженым дорогам топчусь. Птица там спокойная. Когда и подстрелю на еду. Другое мое дело.

— Старатель, значит? — догадался я.

— Тоже не угадал. Старатель, он к своей дудке пришитый, а я, видишь, брожу да в землю гляжу.

— Что ищешь?

Он усмехнулся и говорит:

— Подожди. Не все сразу. Чей хоть ты, любопытный такой?

Я сказался. Он опять спрашивает:

— Грамотный?

— Школу,— отвечаю,— с похвальным листом окончил.

Он поглядел этак раздумчиво и тоже сказался:

— Мало я ваших фабричных знаю. Старатели да охотники мне знакомее. Эти про Кирила Талышманова знают, только, поди, позаоч-то мало доброго говорят.

Сказал это — у меня, как говорится, глаза на лоб полезли. Он это видит и говорит с усмешкой:

— Слыхал, видно, про полдневского чертозная? Он самый и есть. Не испугался?

— Зачем,— говорю,— пугаться. Не маленький, поди-ка.

— Ладно, коли так, а теперь беги-ка на тот перекат да понадергай хариусков. Господская рыбка, уважительная... Мать похвалит.

Я тут прямо спросил:

— Ты, дяденька, как узнал... насчет господской рыбки и что мать похвалила?

Он ласково так на меня уставился и говорит:

— Глазенки-то у тебя худым еще не замутились,— все через них видно.

И вот, понимаешь, как пришил меня к себе этими словами. Так бы никуда бы от него не ушел, а Кирило Федотыч, наоборот, подгоняет:

— Беги-ка, беги скорея. А то мало рыбы носить станешь, на другую работу тебя пошлют. Большенький ведь... Не увидимся тогда.

С той поры и началась перемена моей жизни. В то лето много раз видел я Кирила Федотыча. Показал он мне свои поисковые ямы. В избе тоже у него побывал. Там у него во всех углах груды руды да камней. Иные камешки в запертом сундуке хранились. Их тоже показал. Мне все это любопытно показалось, а особенно ямы. Одна большая была. Тут у Кирила Федотыча под навислым камнем инструмент всякий был.

— Это,— объяснил Кирило Федотыч,— у меня яма едовая. Камешки на продажу из нее выбираю. Хоть одиночкой живу, а на одежду да обувь надо, на дрова тоже. Зима-то ведь у нас, сам знаешь, долгая. Вот и сбываю из этой ямы камешки, а те у меня поисковые,— узнать только, нет ли там чего полезного человеку. У меня их много нарыто. Которые уж и сам не помню. По записи искать надо. Сказываю о своих находках заводскому начальству, да плохо оно слушает. Когда на золотишко набежишь, за это хватаются. Пустой народ. Об одном у них забота, как бы одночасьем разбогатеть.

— Кому,— спрашиваю,— камешки сдаешь?

— На них,— отвечает,— в городе охотников много. Только я одному сдаю. Старичок один есть. Первейший мастер по огранке и с понятием. Он, видишь, всякие камни берет и после огранки продает, а эти камешки у себя оставляет. Огранит — и в сохранное место. Они,— говорит,— золотоцветню горы родня, их нельзя на пустяковые подвески держать. Хризолитовая особь для большого дела пригодиться может.

— А какой золотоцветень горы?

— Когда-нибудь расскажу и об этом,— пообещал Кирило Федотыч.

Так вот рассказами да показом и приклеил он меня к своему поисковому делу, а когда я сказал дома, что хочу поступить в ученики к Кирилу Федотычу, тятя на меня закричал:

— Из головы выбрось эту дурость! Ты коренного фабричного роду и никуда в другое место не пойдешь. Твой-то Кирило, сказывают, умом повихнулся, а ты к нему в ученики захотел! Чтоб я этого больше не слышал! Завтра же сведу на завод.

А я уперся: «Не пойду!» Тятя меня с крутого плеча и давай ремнем потчевать. Я как-то вырвался и убежал из дому. Мамонька, понятно, растревожилась. Свара в доме пошла. Кончилось тем, что Кирило Федотыч сам пришел и уговорил как-то отца. Тятя только этак сердито поглядел на меня и укорил мамоньку:

— Любуйся, какого самовольного балука вырастила.

А мне сказал:

— Смотри, Сидко, на меня потом не пеняй, что вовремя не образумил.

С таким родительским наказом я и стал выучеником по поисковому делу.

Кирило Федотыч маленько грамотный был. Книжки у него были. Особо он дорожил одной.

— Это,— говорит,— старинного академика Севергина сочинение. Тут все о камнях и земле, о горючих и металлических существах по правде сказано.

За этой книгой он частенько подолгу сидел, только иной раз жаловался: непонятное есть, и нерусскими буквами иные слова напечатаны. По этой же книге он вел испытание руды и земель.

Учил меня Кирило Федотыч не по книге, а на деле. Собирается где поиски делать, сейчас же расскажет, по каким признакам и приметам он это место выбрал, что думает тут увидеть в первом пласте, во втором, откуда он разглядел эти пласты, пока ямы нет. Когда работу ведем, тоже по порядку рассказывает. За таким, дескать, камешком должны встретиться другие, а за этими — третьи. Первые — следок, вторые — поводок, а третьи — те самые, которые искать задумали.

Летом мы с Кирилом Федотычем по всей заводской даче бродили. Раз как-то сидим на самой вершине горы. Кругом на многие версты видно. Кирило Федотыч тут и рассказал мне о золотоцветне горы:

— В иных местах горы под облака ушли, снег на верхушке и летом не тает. Сразу видишь, где вершина, где скат, где подошва. А в нашем краю, видишь, горы мелконькие и все лесом заросли. Те, что покрупнее, хоть имена имеют. Азов вон, Волчиха, в той вон стороне Таганай, а там Благодать, дальше Качканар и другие. Иные опять по выработкам: Хрустальная, Карандашный увал, Тальков камень. Остальные, если путем разобрать, без имен ходят. Чтоб не путаться в дорожках, и эти горки, понятно, называют, только вовсе простенько. Растет сосна — горка Сосновая, по березе — Березовая, по осине — Осиновая, Липовая там, Ельничная, Пихтари, Кедровая, Лиственичная. По подъему тоже различают: Пологая, Крутая, Остренькая. Перейди в другую заводскую дачу, там тоже Сосновые да Ельничные, Пологие да Остренькие. Одна путанка, а не имена. Когда надо запись о находке сделать, примечаю по речке либо, того лучше, по номерному знаку лесного участка. А все эти горки скопом зовут одним словом — гора.

Оно и правильно, потому как по нашим местам гора может оказаться там, где ее вовсе не ждут. Поселились, к примеру, на ровном будто месте, жили не один десяток годов, а копнул кто-то поглубже в своем огороде, оказалась руда. Первый сорт, мартит! Чуть не цельное железо. Стали добывать и видят: жила не в ту сторону идет, где ближний железный рудник. От другой, значит, горы эта жила. Не по один год из этих огородов по двум улицам мартитовую руду добывали да в завод сдавали, а так и не разобрались, откуда жила пришла. Да что говорить! На что низкое место — болото, а и под ним гора может оказаться. Сколько раз по таким местам мне самому приходилось дорогие камешки добывать! Не от болотной же няши они зародились.

Это я к тому разговоры веду, что вот все эти вершинки, которые видишь, они вроде вешек, а гора сплошной грядой прошла. Недаром ее раньше Поясом земли звали. Пояс и есть. Вишь какой! В длину тысячами верст считают, а сколь он широк и насколько в землю врезался, этого никто толком не знает. В поясах по старине, известно, казну держали. Оттого, может, и нашей горе прозванье досталось. Только, понятно, в таком поясе богатства не счесть.

По этому Поясу земли, говорят, широкая лента украшенья прошла из дорогих камней. Всякие есть, а больше сзелена да ссиня. Изумруды, александриты, аквамарины, аметистики. А по самой середке этой хребтины двойной ряд хризолитов. Видал этот камешек? Помнишь? Он и зеленый и золотистый. Веселый камешек. В сырце, и то любо подержать такой на руке. Так весной да солнышком от него и отдает. Мы эти камешки золотоцветняками зовем.

Только эти камешки мелконькие, а есть большой. Этот зовут золотоцветнем горы. Такого еще мир не видывал. Перед ним все камни, какие из земли добыты, не дороже песку, а то и золы.

Сила этого камня не в том, что за него много денег дадут. Ни у кого и денег не хватит, чтоб его купить. Перед тем человеком, который усмотрит этот камень, Пояс земли раскроется.

Такой камень, понятно, гора крепко держит. Не одну, поди, сотню лет которые понимающие этот камень подсматривали,— а ничего. Даже следочков к нему не нашли. И то сказать — в одиночку бьются. Много ли один в такой горе за всю жизнь увидит. Заводское начальство со счету сбрось. Эти слепороды дальше своего носа не видят. О том, чтобы раскрыть Пояс земли, у них и думушки не бывало. Иноземные больше про наше богатство пронюхали, подсылают своих, а то и здешних нанимают, у кого стыда нет. Вот хоть северский управитель. На заводской будто службе, а сам каким-то американцам поиск ведет.

Ну, этим, ясное дело, золотоцветень горы не дастся, потому орудуют воровски и жадностью пропитаны насквозь. Чуть что попадется, сейчас же рвать начнут, не до поисков им. Нет, друг, тут другой глаз требуется. Мало того, что он должен быть зоркий, надо еще, чтоб он никакой корыстью не замутился, не для себя выискивал, а для всего народа.

Рассказал это Кирило Федотыч и добавил:

— Может, и тебе не удастся увидеть, либо хоть дожить до той поры, когда золотоцветень горы увидят, в одном не сомневайся — горы эти еще послужат народу, да и как послужат!

Этот сказ своего учителя по поисковому делу я запомнил на всю жизнь. Сперва, по молодому умишку,

сам поглядывал, не откроется ли мне золотоцветень горы. Потом, как в лета вошел, уразумел, что не про таких сложено. Поиски, видишь, вел не безрасчетно, чтоб заработать для себя и для семьи, а когда и вовсе не добывал в ямах старательскую долю. И все-таки этот сказ мне надежду подавал, что не всегда так будет. Тогда, видишь, сильно заговорили, что скудеет наша гора, что скоро тут и добывать нечего будет.

Может, это нарочно плели, чтоб цену на заводы сбить. Тогда, годов так за десять до революции, многие здешние заводы от старых владельцев стали переходить к каким-то обществам, а правители, как на подбор, оказались чужестранные. Видишь это, и неспокойно станет, а вспомнишь сказ, повеселеешь.

В этакую веселую минуту ко мне как-то и подъехал северский управитель.

— Покажи, Климин, места, какие у тебя на примете, я тебе хорошо заплачу.

Я ему, конечно:

— В другую контору заявки даю.

— Это,— говорит,— все едино.

— Кому,— отвечаю,— как, а я на сторону продавать не согласен.

Про мошенство этого управителя я слыхал, и так мне неохота стало заявку сдавать, что не пошел в контору. Так мои разведки впусте и лежали не по один год. Тут война подошла. Пришлось мне там три года пробыть, потом столько же на гражданской, а как пришел домой, там вовсе другая контора. Чермету о своих находках и заявил. Утешно мне это, только все-таки это дело маленькое, а главное в другом. Дождался-таки я, что старый поисковый сказ сбылся.

Зоркий, заботливый глаз усмотрел среди наших лесов, увалов да старых разработок золотоцветень горы и указал за него взяться.

И Великий Пояс земли раскрылся и показал свои бессчетные богатства на радость трудовому народу, на зависть его врагам.

Всем видно, что наша старая гора теперь живет новой жизнью. Бессчетными огнями новых рудников, шахт и заводов горит и переливается золотоцветень нового советского Урала.

КРУГОВОЙ ФОНАРЬ

Цену человеку с маху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: «Человека узнать — пуд соли с ним съесть».

Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь,— такому поверишь, чего и не было.

Нет, соляная мерка не вовсе к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали:

— Обойди,— говорят,— человека не один раз да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по суседству, каков по хозяйству да по семейности. Одним словом, огляди кругом, без пропуску.

Да еще наказывали:

— Гляди в полный глаз, не смигивай: это, дескать, соринка, то — пушинка, это — просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай: соринку в примету, пушинку — на память, так — за пазуху и пустяк в карман. Помни: не велика зверина комар, а и от него оберучь не отмашешься.

И про то старики забывать не велели, чтоб со всякой стороны человека на полный вершок мерять. Бывает ведь,— иной, как говорится, и поет и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях, а то и вовсе в дураках ходит, а с одного боку светит, будто блёндочка в рудничных потемках. Навеска ведь не малая. Против

лампешки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает, такая блёнда дорогого стоит. Ну, а та же блёндочка — мизюкалка мизюкалкой против шахтного фонаря.

Про нонешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во сне не виделось, и все-таки у них на больших подземных работах у главного подъемного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше блёнды, светильная у него потолще и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках да лесенке и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно и большой круг захватывает.

Силу фонаря разгадать просто оказалось, а вот почему люди по-разному светятся — это еще понять и понять надо. Стеклышек, поди-ко, никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги, и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит-старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому делу сроден, а в остальном бревно-бревном. Есть и такие, что будто играючи живут и во всем им удача. Лошадь купят — она и воз везет и в бегу от рысака не отстает. Женится — ребята пойдут мост-мостом, как груздочки после дождя, один другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку!

Старики про такой приметный случай рассказывали.

Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозваньем Гриньша Рыбка. Парень не то чтоб сильно могутный. Ну, все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится, пошевеливаться надо. Гриньша и пошевеливался веселенько. Со стороны смотреть любо. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей. Были иные и рослее и могутнее Гриньши, а выстоять против него никому не удавалось. Податнее всех у него работа шла, и браку никакого.

При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься, а тут еще и поводок был. Чуть ли

не в одной смене с Гриньшей стоял Михалко Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не похаешь. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки да и молодые бабенки заглядываются: на мою бы долю такой пришелся.

Против этого Михалка Гвоздя у Гриньши неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще неженатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то чтоб богатая невеста, а из того девьего слою, про который говорят: не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью али крутым плечом.

Михалко Гвоздь сперва вроде опередил Гриньшу. Посватался, рукобитье сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гриньша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке:

— Неуж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь?

Аганюшка слушала-слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу: убегом за Гриньшу выскочила. Ее родня, понятно, шум подняла. Как так, по какому праву? Этак станут, так и на свадьбе не погуляешь. Гриньше грозили:

— Мы, дескать, этого вьюна-рыбу на поганой сковородке изжарим да собакам выбросим.

Гриньше это передавали, а он, знай, посмеивается.

— Вьюна,— говорит,— изжарить просто, да поймать не легко.

По времени утихомирились, конечно. Видят,— согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. В работе друг от дружки не отстают и веселья не чураются. Чего еще надо? А Гриньша тут и подвернул:

— Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали? Мы с женой непрочь от этого, потому — без свадебной гулянки чего-то не хватает.

Аганина родня и растаяла от таких слов. Уж не вьюном Гриньшу зовут, а Рыбкой навеличивают да нахваливают:

— Рыбка — рыбка и есть. Поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить! С таким мужем Аганя не затоскует.

Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь-честью, сколько достатку хватило. Даже

и те, кто еще сомневался в Гриньше, после свадебной гулянки в одно слово заговорили.

— Такого мужика поискать!

Ну, а Гвоздь все-таки не забыл своей обиды, он, конечно, тоже женился. Хорошую девушку взял, а против Гриньши злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел, да Гриньша тоже поглядывал и всякий подвох слету узнавал.

С первых годов, случалось, Михалко Гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный. Со стороны поглядеть — расшибет, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит да Гвоздю гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. Гриньша ничем-ничего, веселехонек, а у Михалка кругом синяки да шишки понасажены.

С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял и глаз помутнел, а Гриньша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел нисколько. И жена у него — Аганюшка-то — ребенка принесет, ровно цвету себе добавит.

Михалка завидки берут: почему такое? Вот он и придумал:

«Неспроста это, беспременно тут какая-нибудь тайность есть! Жив не буду, а разузнаю все до тонкости».

Ну, мужик въедливый. Недаром Гвоздем прозвали. Не только сам этим занялся, многих других подбил,— подглядывать да разузнавать стали.

Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриньшу принимала, не дала ходу этим разговорам.

— Никаких,—говорит,— тайных родинок на теле не было и счастливой рубашки не бывало.

Потом сплели, будто Гриньша каждое лето, в Иванову ночь, ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гриньша, а он себе спит-похрапывает на холодке, под навесом.

Тут еще что-то придумали, только видят,— пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей

силе-возможности. Тогда и решили: спросим самого. Выбрали часок, собрались, да и говорят:

— Скажи, Григорий Зотеич, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорина, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том деле тайности?

А Егорша Задор еще полюбопытствовал:

— Дело, конечно, прошлое, а только дирался ты не один раз с Михайлом Гвоздем. Всем нам ведомо, что Гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит, а почему всегда ты долбил Гвоздя, а ему ни разу не довелось тебя поколотить?

Гриньша и объяснил по совести.

— Никакой,— говорит,— тайности в том деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить али бревна возить — все выучка требуется и не как-нибудь, а по-настоящему. Если какое дело не знаю, за то не возьмусь, а придется, так сперва поищу, у кого поучиться, чтоб по-хорошему вышло. Простое, скажем, дело литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит — из сотни один, вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и мохров не оставляет, у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь,— и ладно выходит. Ну, кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует.

Рассказал этак-то и говорит:

— Вот и вся моя тайность: ни одно дело пустяком не считаю и кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михайлом то же самое. К дракам у меня охоты не было, ну, знал,— без этого на веку не проживешь, вот и примечал с малолетства, в какую косточку стукнуть больнее. Этим Михайлу и брал. Сила у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает,— драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось, а где она — там и выучка.

Рассказал Гриньша по-честному, как сам понимал, а многие все-таки ему не поверили, при своем оста-

лись, счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул:

— Слушайте вы его! Он наскажет! Мало ли приметливых людей, да не у всяких такая удача! Беспременно тут тайность есть, да найти ее не можем.

Только и Михайлу слушать не стали: ребячий, дескать, разговор. Так настояще и не решили, а ведь Гриньша правду говорил.

По теперешним временам это виднее стало. Недавно вон одного вальцовщика в книгу почета записывали. Так и сяк поворачивали, а на одно вышло. По своей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, по-другому его похвалили:

— С которой стороны ни поверни — все коммунист.

ШИРОКОЕ ПЛЕЧО

Раньше по нашему заводу обычай держался,— праздничным делом стенка на стенку ходили. По всем концам этим тешились, и так подгоняли, чтоб остальным поглядеть было можно. Сегодня, скажем, в одном конце бьются, завтра — в другом, послезавтра — в третьем.

Иные теперь это за старую дурость считают,— от малого, дескать, понятия да со скуки колотили друг дружку. Может, оно и так, да ведь не осудишь человека, что он неграмотным родился и никто ему грамоты не показал. Забавлялись, как умели. И то сказать, это не драка была, а бой по правилам. К нему спозаранок подготовку делали. На том месте, где бойцам сходиться, боевую черту проводили, а от нее шагов так на двадцать, а когда и больше, прогоняли по ту и другую сторону потылье — тоже черты, до которых считалось поле. За победу признавали, когда одна сторона вытеснит другую за потылье, чтоб ни одного человека на ногах в поле не осталось. Со счетом тоже строго велось. Правило было:

— Выбирай из своего околодка бойцов, каких тебе любо, а за счет не выскакивай! Сотня на сотню, полсотни на полсотню.

Насчет закладок, то есть в руке какую тяжесть зажать, говорить не приходится. Убьют, коли такой случай окажется, и башлыка, который за начальника стенки ходил, не пощадят. Недаром перед началом боя каждый башлык говорит:

— А ну, молодцы, перекрестись, что в кулаке обману нет!

Бились концами, кто где живет, а не то что подбирались по работе либо еще как. Ну, подмена допускалась. Приедет, к примеру сказать, к кому брат либо какой сродственник из другого места, и можно этого приезжего вместо себя поставить. Таких, бывало, братцев да сродничков понавезут, что диву даешься, откуда этаких молодцов откопали.

Все, понятно, знали, что это подстава. Порой и то сказывали, за сколько бойца купили, а все-таки будто этого не замечали. На то своя причина была. Своих бойцов не то что в каждом конце, а и по всему заводу знали,— кто чего в бою стоит. Если одни-то сойдутся, так наперед угадать можно, чем бой кончится, а с этими приезжими дело втемную выходило, потому — никто не знал их силы и повадки. Недолюбливали этих купленных бойцов, норовили покрепче памятку оставить, а отвергать не отвергали и к тому не вязались, кто они: точно ли в родстве, али вовсе со стороны. За одним следили, чтоб подмены было не больше одного на десяток, а в остальном без препятствий. Те, кто приходил поглядеть, заклады меж собой ставили на этих приезжих бойцов, а когда и на всю артель. Заклады, может, в копейках считались, зато азарту на рубли было. Такие закладчики — будь спокоен — не хуже доброго судьи за порядком следили, чтоб никакой фальши либо неустойки не случилось.

Так и велось по заводу. Ни про один бой нельзя вперед угадать, чем он кончится. Только в одном месте уж сколько годов по-одинаковому шло. Многие из заводских на этот конец рукой махнули.

— Глядеть тошно! Всякий год ямщина да прасолы мастеровщину сразу с копыльев сшибают.

Тут, видишь, что получилось.

Недалеко от механической фабрики, за рекой, жило много слесарей да токарей, известно, всяк старается поближе к работе поселиться. Так и называлось это место — слесарский конец.

Против него, на другом берегу, приходился ямской. Там две больших гоньбы содержалось от разных подрядчиков. Там же хлебные лавки стояли да сколько-то постоялых дворов. В ямщики народ дюжий подбирался, а в молодцы при хлебных лавках и того крепче, чтоб с пятипудовыми мешками играючи обходились. Дворни-

чать на постоялых дворах тоже слабых не брали. Мало ли какой случай выйдет, так чтоб мог дворник неспокойного постояльца и за ворота выставить. Да и купцы тамошние и подрядчики из таких были, что непрочь самолично в ряду с бойцами выйти. Про подмену и говорить нечего. При надобности тут половина на половину ставь, скажи только, что это новые ямщики либо приказчики.

Ну, а в слесарях, как говорится, святых не бывало, и богатырей не ищи. Ежели он с малолетства в копоть фабричную попал, так румянцу-то у него разыграться не от чего. У которого щеки покраснели, так не от солнышка либо морозу, а от мелкой железной сечки. Впилась она,— не выскребешь. Конечно, этот народ сноровку имеет и к удару привычен, только против ямского конца все-таки никак выстоять не может. Разойтись не успеют, как их за потылье выбросят.

Нашим заводским обидно было, что ямщина да лабазники этак с мастеровыми обходятся. Подсобить хотели. Не раз подставу слесарям давали, а конец тот же: живехонько стенку собьют и за потылье выжмут да еще стоят, похваляются:

— Видим ваши хитрости! Только нам это нипочем. Хоть всех самолучших бойцов с завода поставьте, а быть вам битыми!

До того дошло, что хоть от бою отказывайся. Опять же перед народом зазорно, а молодым пуще того неохота неустойку перед женским полом показать. Побитый, дескать, худо, а который струсил, тот вовсе никуда. Они, эти девки-бабы, хоть на бойцов заклады не ставили, а большую силу в этом деле имели. Иной, может, потому только и выходил в стенке, чтоб перед девками себя не уронить.

В слесарском конце в числе других был Федя Ножовый Обух. Его в солдаты не приняли. Ростом не вышел. На ножовый обух не дотянул до самой низкой мерки. По этой причине ему и кличка такая была. А силой против других не обижен. На покосах его с литовкой в голове пускали. Начнет помахивать, так знай, держись да пошевеливайся, чтоб не больно далеко отстать. С малых годов Федя в механической работал, да в рекрутчину-то согрубил тамошнему надзирателю,— Федю потом и не приняли да еще посмеялись:

— Раз в солдаты не вышел, так нам такого тоже держать не с руки.

С той поры Федя и перебивался, как придется. Ведра да замки починял, кровельной работой не брезговал, когда старателям насос направит. Одним словом, что под руку попадет. Хорошо еще, что одиночкой жил. Кормился все-таки с грехом пополам и в одежде себя соблюдал. Щеголевато даже ходил,— не желал механическому начальству скудость свою показать. Без вас, дескать, проживу, плакаться не стану.

К концовским боям этот Ножовый Обух с молодых годов азарт имел. Сперва-то его башлыки отстраняли.

— Не путался бы ты, Федя, под ногами! Раз ростом не вышел, так тебе это дело несподручно. Там вон какие мужики выходят. Тебе, поди, скоком не дотянуться, чтоб по-доброму стукнуть!

Федя все-таки правдами-неправдами добьется своего — попадет в бойцовскую ватагу. По времени увидели, что боец он не хуже других, а порой его последним с поля выпирают. Да еще одна особина. Другие, как из боя выйдут,— сразу это заметишь, а этот будто и не бывал: не растрепался, не завздыхался, без синяков и шишек. Каким пошел, таким и вышел, даже поясок поправлять не надо. Одна заметка,— ворчит:

— Все из-за наших богатырей-то! Они себе тешатся, кровь из носу добывают да синяками на месяц запасаются, а на стенку не оглянутся. Какое это дело! Говорю, широким плечом надо!

В ямском конце тоже давно Федюху приметили и всяко измывались над ним. Как выйдут на поле, первым делом начинают про него выкрикивать:

— Эй, чернотропы, вы бы Федьку башлыком поставили! Ему ловко. При малом-то росте на кулак не попадет. Вроде мухи. С таким наверняка поле бы взяли. Попытайте!

Федюне эти разговоры про малый рост не больно сладко слушать. С малых лет это надоело, а тут еще, как на грех, в ямском конце у него зазноба завелась. Феней звали. Девка, видать, не его судьбы: от парня нос воротила, а сама на тамошнего самолучшего бойца глаза пялила. В ту пору у ямщиков на славе был Кирша Глушило. Мужик писаный, а вместо кулаков у него пу-

довые гири. Попадешь под такую руку — не встанешь. Счастье еще, что Кирша не больно развертной был.

С этим вот Глушилом Ножовый Обух как-то и сошлись. Сперва они в разных местах были. Кирша в самой середке своего ряда, а Федюня ближе к правому краю. Потом, как стенка разбилась, он и подскочил к Глушилу. Тот по своему бычьему норову только промычал:

— Поминай родителей!

Махнул своим пудовым кулаком, а Федюня увернулся да раз-раз и насыпал Глушилу поперек ходовой жилы на правой руке, как гвозди забил. Кирша и руки поднять не может, как плеть повисла. Тут он разозлился, взял да и пнул ногой. Федюня опять увернулся. Кирша и плюхнулся во всю спину, а Федюня тут как тут, хлоп тыльником руки по носу, а сам приговаривает:

— Лежачего не бьют, а который пинается, тому памятку дают!

Все, кто пришел поглядеть, в один голос закричали:

— Правильно! Так ему и надо! Вперед не лягайся, коли на кулачный бой пришел.

Ямщина слышит, о чем кричат, а помалкивает, потому — неустойка на виду. Не закроешь ее: боец ногой обороняться стал. А Федя той порой на лабазника насел. Тоже задавалко был не последний: все я да я. Федюня и сделал ему оборот: сперва по руке, потом под чушку,— лежи, пока не опамятуешься!

Ямщина в тот раз все-таки поле унесла, только с конфузом: самолучший их боец пришел домой, как кровью умытый, а купчину того по его нежности пришлось на носилках выносить. С той поры он и думать забыл, чтоб в бойцовском ряду покрасоваться. Понятно,— человек при капитале,— испужался: вдруг ненароком вовсе оглушат. Злобу на Федю затаил. Нашел какого-то нового бойца, пострашней Кирши, и наказал ему:

— За одним гляди,— где Федька. Ты мне эту мокреть разотри, чтоб глаза мои больше ее на поле не видели.

Купленный — он купленный и есть.

— Не беспокойся,— говорит,— ваше степенство. Видел я этого мужичонка. Будь благонадежен, долбану

кулаком,— больше на поле не сунется. Как бы до смерти не захлестнуть, а то отвечать придется.

— Бей,— кричит,— в мою голову. Руку не сдерживай, а то он живучий. В случае отстою, никаких денег не пожалею.

По заводскому положению всякое дело не больно прикрыто. Феде эти купецкие речи передали, а он только посмеялся:

— Не поглянулось, видно, ему. Пусть вперед знает, что в бою ему кланяться не станут. Не пуд муки пришли в долг просить.

У слесарей опять свой разговор вышел. Потолковали, потолковали меж собой, да и объявили:

— Вот что, Федор. Придумали мы выбрать тебя башлыком на предбудущее время. Боец ты надежный. Может, и вожак из тебя дельный выйдет. А что малорослый, так в том беды нет. Не ростом города берут.

Федюня отнекиваться да канителиться не стал.

— Почему,— говорит,— не попытать. Хуже того, что у нас есть, быть не может, а лучше пойдет — всем радость. Только, чур, уговор на берегу. Раз выбрали,— слушаться меня в бою, как на войне либо в заводе. Что велено, то и делай, а про то забудь, чтоб перед другими покрасоваться, себя показать. Наше дело мастеровое. Нам не тройки на скаку останавливать. Наша сила в том, чтоб в одну точку бить, широким плечом поворачивать.

После этого случая, как Федя Киршу да купца сбил, по народу разговор пошел:

— Самый раз зареченским слесарям подсобить. Дать им подставу покрепче, так они, может, ямщину и купчишек пересилят.

Сказали об этом новому башлыку, а он наотрез:

— Чужим,— говорит,— хлебом век не проживешь, за чужую спину не спрячешься. Пусть купцы себе бойцов покупают, а нам это не подходит.

Его, понятно, уговаривают:

— Чудак ты! Разве такое сравнить можно. Мы, поди-ко, не за деньги да и не чужие, а свой брат мастеровой.

— Понимаю,— отвечает.— Случись мастеровым против кого другого стоять, сам бы пошел и тут спорить

бы не стал, а при концовских боях этого нельзя. Кто где живет, за то место и стоять должен!

На прощанье еще пообещал:

— Да вы не беспокойтесь. Мы этих быков одолеем. Не на этот раз, так на следующий. Нам главное силу свою понять да рабочую сноровку в ход пустить. Без фальши одолеем.

Те, кто приходил, все-таки это за обиду приняли.

— Задаваться Ножовый Обух стал. Свалил Киршу да купца и думает,— сильней его нет. Поглядим вот, как весной башлычить будет. Долго ли своих на поле удержит.

От всех этих разговоров большое любопытство родилось, как в самом деле этот концовский бой пройдет. Со всего заводу народ сбежался поглядеть. Зимами у них боевая черта была по самой середине реки, а по вешнему времени бились на Покатом логу. Место обширное, а на этот раз и тут тесно стало. Пришлось оцепить поле, чтоб помехи не случилось.

Вот вышли бойцы. Полсотня на полсотню.

С ямской стороны народ на подбор: рослые да здоровенные. Башлык у них из лабазников. В пожилых годах, а боец хоть куда, смолоду от этого не отставал. Неподалеку от него, справа и слева, два саженных дяди: Кирша Глушило да этот новокупленный-то. Забыл его прозванье. Оба Федюню глазами зорят,— где он? Глушило, конечно, желает за прошлый раз рассчитаться, а новокупленному надо хозяйские рубли оправдать. И одеты на ямской стороне по-богатому. Этот купец, которого Федюня сшиб, раскошелился: всякому бойцу велел сшить новую рубаху, плисовые шаровары да пояс выдать пофасонистее. Рубахи, понятно, разные: кому зеленая, кому красная, кому жаркого цвету. Пестренько вышло. Поглядеть любо.

Слесарская стенка куда жиже. Там, конечно, тоже кто повыше, кто пониже, только все народ худощавый, тощой и с лица как задымленный. Одежонка хоть праздничная, а без видимости. Рубахи больше немаркого цвету, поясья кожаные. И башлычок у них — Ножовый Обух — за малым ростом в солдаты не приняли. Ямщина да прасолы над этим башлыком зубы скалят, всякие обидные слова придумывают, он, знай, свое ведет. Расставил бойцов, как ему лучше показалось, и на-

казывает, особенно тем, кои раньше в корню ходили и за самых надежных слыли.

— Гляди, без баловства у меня. Нам без надобности, коли ты с каким Гришкой-Мишкой на потеху девкам да закладчикам станешь силой меряться. Нам надо, чтоб всем заодно, широким плечом. Действуй, как сказано. Голову оберегай, руку посвободнее держи, чтоб маленько пружинила, а сам бей с плеча напересек ходовой жилы в правую руку. Который обезручеет, хлещи с локтя ребром под самую чушку. Свалишь — не свалишь, а больше об этом подбитом не беспокойся. Он как очумелый станет и ежели еще руками машет, так силы в них, как в собачьем хвосте. Ты на него и не гляди, а пособляй соседу справа. Кто приучился левой бить не хуже правой, тот этим пользуйся. При случае ловко выходит. Особо, когда надо чушку рубить. А главное помни,— не одиночный бой, не борьба, а стенка. Не о себе думай, о широком плече!

Сделал этак наказ напоследок и встал крайним с левой стороны. С ямского конца закричали:

— Куда вы свою муху прячете? Почему башлык не в середке?

Федя отвечает:

— Нет такого правила, чтоб башлыку место указывать.

В народе тоже закричали:

— О чем разговор? Где захотел, там и встал. На то он и башлык. При бое волен и с места на место перебегать. Законно дело. Чем о пустом спорить, давай зачин. Не до обеда вас ждать.

Ямскому концу это не по губе, потому как они подстроили, чтоб Федя оказался против самых что ни есть крепких бойцов и никуда выскользнуть не мог. Все-таки при народе, видно, постыдились местами меняться. Ну, вышли обе стороны на свои потылья, покрестились, каждый руку поднял, показал: нет никакой закладки,— стали сходиться. Федюня, конечно, не без хитрости себе место выбрал. Против него пришелся прасол один. Мужик могутный, только грузный и неувертливый. Пока он замахивался, Федя его левой рукой под чушку и срубил, да так, что он глаза закатил и дыханье потерял. Федя между тем у следующего руку пересек, а его сосед тем же манером это дальше передал. Гля-

дишь, трех бойцов и не стало: один на земле лежит, очухаться не может, два хоть на ногах, да обезручены. Тут Федя видит,— стенка прогнулась, двоих уж там оглушили, кинулся туда, с налету сбил тамошнего башлыка, да и сам под кулак приезжему-то попал. Ну, не больно крепко, потому этому идолу до того успели насадить на руке зарубок, сила-то и была на исходе. Вскоре его и вовсе повалили. Кирше на этот раз вовсе не посчастливило. То ли оступился, то ли промахнулся, только его сразу начисто укомплектовали: не боец стал, а туша под ногами.

Так поворот и вышел. Выбили тогда ямщину да прасолов с поля. Человек с пяток пришлось им лежачими подобрать. Купчишко, который обряжал бойцов, чуть со злости не уморился.

— Не допущу,— кричит,— чтоб такое еще когда случилось!

А на деле наоборот вышло. Всякий раз слесаря стали ямщину выбивать. Чего только те не делали. Подставу без стыда до половины довели, башлыков сколько раз меняли, повадку эту, чтоб по руке-то бить, переняли, а все не действует. И то сказать, повадку перехватить недолго, да привычку нескоро добудешь, а он, слесарь, по всяк день молотком играет. Хоть с локтя, хоть с плеча без промаху бьет. На то и слесарь. К Федюне тоже подсыл делали:

— Переезжай в наш конец. Избу тебе поставим за мое почтенье. Живи барином, а у нас в боях башлыком будешь.

Федя на это и говорит:

— Ежели бы мне такую подлость сделать, перевертышем стать, так все едино толку бы не вышло. По другим концам не угадаешь, кто кого одолеет, а у нас дело открытое. Раньше вы наших били, потому мы вашим же обычаем шли, а теперь пошли по-своему,— широким плечом, и быть вам завсегда битыми. Никакой башлык не поможет.

— Что,— спрашивают,— за плечо такое? Чем расхвастался?

— А это,— отвечает,— по вашему разумению и не втолкуешь. Народ вы одиночный: кто на козлах, кто при своей лавке либо постоялом сидит, а широкое пле-

чо тому вразумительно, кто с другими сообща в работе идет.

Фенька тоже крючочки закидывать стала. Дескать, Федя да Феня как нарошно придумано, чтоб в одной избе жить, в одной упряжке ходить. Только Федя к той поре одумался.

— Нет,— говорит,— девушка, не сойдется дело, потому — в разные стороны глядим. Ищи себе кочета с богатым пером, а я свою долю в другом месте поищу.

И верно, вскорости женился, да и другая перемена у него в житье случилась. Старатели, коим он иной раз насос направлял, смекнули: подходящий мужик, ежели его вожаком пустить. Стали зазывать:

— Переходи к нам в долю.

Феде этак-то лучше показалось, чем по мелочам перебиваться, он и перешел. И что ты думаешь? Загремела ведь артель. Сроду у нас по заводу такой не бывало. Башлычить в боях Федя с годами перестал.

— Седых-то,— говорит,— башлыков дураками зовут. Пускай молодые тешатся, а мы полюбуемся, как мастеровой народ широким плечом орудует. Ни силой, ни казной его не удержишь, все сшибет!

Из артели Федя до конца жизни не ушел. В почете его там держали. Когда, к разговору случится, похвалят артель, старик говаривал:

— Живем, не жалуемся, а все потому, что хоть малой артелью, да одним плечом на дело навалились.

Когда еще добавит: — Конечно, ни у кого желанья нет хозяйский карман набивать. А не будь-ка этого... Заиграло бы дело! Через год-другой родного места не узнать бы.

И сам зажмурится, как от солнышка.

Теперь вот видно стало, что старый башлык не зря про широкое плечо говорил. На глазах у нас оно разворачивается. Давно ли мы радовались именитым людям заводов и рудников, а теперь именитые цехи да участки, звенья да смены пошли. С каждым годом крепнет широкое рабочее плечо, и нет силы, чтоб против него выстоять.

Сколько ни пыжатся разные толстосумы, а сомнет их широкое плечо людей труда. Сомнет, что и памяти не останется.

АМЕТИСТОВОЕ ДЕЛО

Не про людей, про себя сказывать стану.

В те годы, как народ валом в колхозы пошел, я уж в немолодых годах был. Вместо русых-то кудрей плешину во всю голову отрастил. И старуха моя не молодухой глядела. Раньше, бывало, звал ее песенной машинкой, а теперь вроде точильного станка вышло. Так и точит меня, так и точит: того нет, этого нехватка.

— У людей мужики обо всем позаботятся, а у нас, как приплетется да в бане выпарится, так и на боковую. И ни о чем ему думушки нет!

К той поре мы с ней вдвоем остались. Младших дочерей пристроили, а трое сыновей давно в отделе жили, всяк свое хозяйство завел. Старуха и в том меня винила, что в избе пусто стало.

— Из-за тебя это! Из-за твоего злосчастного ремесла!

— Чем,— спрашиваю,— мое ремесло помешало?

— Известно,— отвечает,— чем. Во всяком доме старики хозяйство ведут, землю пашут, хлебушко сеют, молодым распорядок дают, а ты что? До старости ума не накопил. Бегаешь по каменным ямам. Дома-то гостем бываешь.

Я, понятно, урезониваю ее:

— Живем все-таки. Детей вырастили. По миру никто не хаживал. Не лежебока, поди, я у тебя: зарабатываю сколько-то. Что еще надо?

Старуха, знай, свое толмит:

— По твоим-то трудам нам бы в каменном доме жить, а мы этот хоть маленько подправить не можем. Стены-то, гляди, насквозь просвечивают, да и печка, того и жди, повалится. Хозяин! А все потому, что хле-

бушком не занимаешься. В деревне век прожили, а куричешкам овес с купли! Где это слыхано?

— Дура ты! — говорю.— Я, поди, дорогой товар добываю. Это тебе не овес — где посеял, там и вырастет. Искать приходится. Зато попадет, так за три воза твоего овса в кошельке принесешь.

— Не упомню,— отвечает,— такого случая, чтоб ты по три воза овса в кошельке приносил. Не при мне, видно, такое было. Чаще с пустым приходил. Помнишь — жаловался: «Не пофартило мне, Марьюшка, на этой неделе. Ничего, почитай, не добыл». А я-то сдуру ему наговаривала: «Не тужи, Иванушка! Не всяк день солнышко, бывает и слякиша». Забыл про это?

— А помнишь,— опять спрашиваю,— ту щеточку камешков, на которую мы корову купили? А тот камешек, что на васильеву женитьбу хватило? Да мало ли у меня веселых находок бывало!..

— Не забыла,— говорит,— и это. Как найдешь, что повеселее, так и уберешься в город сбывать, да и шатаешься там невесть сколько, а я тут бьюсь-колочусь с ребятами да о тебе думаю, не убили бы. Нет, одна мука твое ремесло!

Одним словом, не сговоришь с ней. А бить ее, как иные-прочие делали, у меня в заведенье не было, да и не такой мы судьбы, чтоб об этом даже подумать. Знал я, что она одна-разъединая на всем белом свете меня жалела, да и теперь жалеет по-настоящему. Ворчит-ворчит, а баньку про меня, небось, спозаранок натопит, перемывку наготовит, кусок посытнее найдет, а когда и словом утешит. Помню ее-то присловье: «Не тужи, Иванушка, не все солнышко, бывает и слякиша!» Другая на ее-то месте давно бы от меня ушла, а мы с ней троих сыновей да двух дочерей вырастили, и все они не на смеху у людей живут. Признаться, и то было, что сам за собой вину чуял. Старуха моя правду говорила. Ремесло мое — и верно — не по месту пришлось.

Деревня наша, по-старому считать, в Ирбитском уезде приходилась. Народ тут сплошь хлебушком занимался да коноплей маленько. И скот тоже разводили. Родители мои, от коих мне этот дом в наследство перешел, были природные пахари да оба, на мою беду, в молодых годах померли, оставили меня несмысленышем

на горькое сиротское житье. Про хозяйство, конечно, и разговаривать нечего: его живо растащили те благодетели, у которых я сперва кормился, а потом работать стал. Ворочать на чужого дядю, известно, нигде не сладко, а все лучше, как не в своей деревне. Я и убрался на прииски, где золото да камешки добывали. Недалеко от нас это место. На приисках я и получил эту каменную заразу.

Из всех камней мне больше аметист полюбился. Камень не больно дорогой, из самых ходовых, а чем-то взял меня. Да и как взял! Бывало, добудешь щеточку и знаешь, что красная цена ей рублевка, а любуешься на полную десятку да еще жалеешь, что сдавать придется.

Как в полный возраст пришел, домой потянуло. Дай, думаю, покажусь своим деревенским, чтоб знали, что не загиб. Да и на дом родительский поглядеть охота,— совсем его растащили мои благодетели али сколько оставили. Пришел в самый весенний праздник. Родительский дом оказался в сохранности. Благодетели, видишь, все на него нацелились, один другому не давали растаскивать,— дом и уцелел. Оглядел я, вижу: не больно корыстно, а жить можно. Пошел потом на гульбище, за деревню, где хороводы водили. Деревенские ребята меня за чужака приняли, отшибить хотели, да подступить боялись. Видишь, каков уродился. На-днях вон Колютка, внучонок мой от старшей дочери, говорил: «Дедушка! У тебя рука-то в полном развороте, как аэропланово крыло». Так и есть. На ходу ненароком могу человека с ног сбить. Недаром в потемках сторонятся. Думают, не колокольня ли по земле пошла. Вот ребята и не знали, как подступить. Ну, я не стал до драки доводить, сказался, что за человек. По этому случаю выпили, конечно. Так, самую малость, потому я приверженности к этому не имею. На празднике когда для веселости выпью стакан-два, а чтоб допьяна напиваться,— этого у меня не бывало.

В тот же вечер я со своей нынешней старухой встретился. Ее-то доля горше моей оказалась. Мать с ней проходом по нашей деревне шла да в одночасье и умерла, а ее оставила годочков трех либо четырех. Только и знали, что звать Машей, а чья, из какого места, так и осталось неведомо. При покойнице никаких бумаг не

оказалось. Чтоб суд да полиция не наехали и деревню не разорили, захоронили эту проходящую потихоньку, а девчушечку богатому мужику в дочери отдали. Дальше и пошло по посказульке.

Росла Настя — колотили часто, выросла Настасья — пошла по напастям да без передышки. От одной отобьется, другая навалится. Думала-думала, решилась с белым светом проститься, да на дороге кудряш попался. Поглядела девка на незнакомого парня, а он и говорит: «Не торопись, красавица, к тому, постой с этим. Не покаешься! Головой ручаюсь, а она, видишь, кудрявая. В пустой игре такую не поставят». Девка и остановилась. Посудачили малость, на другой день опять встретились. Так и пошло, а вскоре, глядишь, и свадьбу сыграли.

У нас с Марьюшкой из точки в точку по этой сказке и вышло. Сразу почуяли, что наша судьба по одной дороге пошла. Раздумывать долго не стали, пошли в церковь: обвенчаться желаем. Нам сперва отказали: нельзя, потому невестины годы неведомы. «Как,— говорю,— неведомы, коли она в этой деревне выросла, на глазах у всех?» — «Это,— отвечают,— мало значит, что на глазах росла. Бумага нужна, в какой день она родилась и каких родителей дочь». Ну, вижу: словами тут ничего не добьешься. Отдал им два камешка позанятнее. Тогда нашли ходок, записали на того богатого мужика, которому сперва она в дочери была отдана. И стала моя Марьюшка Афанасьевной, даром что этот Афанасий самым лютым ворогом ей оказался. Ну, в этом важности нет.

Обвенчали нас, и стала в деревне новая пара: Иван Долган да Марья с Голого поля. Силы да здоровья нам обоим у людей не занимать. Хотели сперва хозяйствовать, как другие наши деревенские. Коровенку купили, пару овечек завели, куричешек сколько-то. При родительском доме огород был обширный. Городьбу поправили, засадили вовремя. Места у нас не тесные. Накосить травы не то что для одной коровенки, а и для двух-трех при моих-то руках, прямо сказать, плевое дело. Все бы ладно, да на лошадке спотычка вышла. По времени, может, лошаденку и огоревали бы, да прибавок к ней большой требуется: телега да сани, сбруя да снасть разная. Без благодетелей никак не обойдешься,

а они, эти благодетели, нам с Марьюшкой солоно пришлись. Так у нас полного хозяйства и не вышло.

Убежал я опять на прииски работать. Правду сказать, и камень тянул меня. Не умею тебе объяснить, в чем тут сила, а тянул. Вроде не жадный я, на большое богатство никогда не льстился, а добыть новый камешек охота. Ну, и народ приисковый как-то ближе деревенского стал.

Так мы с Марьюшкой и жили. Помогал я ей при посадке огорода да в сенокосную пору. Зимами тоже маленько, а больше на приисках колотился. В гражданскую войну ушел с приисковыми в полк «Красных Орлов». За войну меня ранили в ногу при перебежке в цепи. По мякоти пришлось. Сквозная рана, пустяшная. Через месяц опять под ружье встал.

Как покончили с Колчаком, домой воротился, и тот же порядок у нас повелся: в деревенские дела не вникал, все на приисках да на приисках. Как колхозы стали строить, мы с Марьюшкой и оказались ни при чем. Не браковали меня, конечно, потому хозяйство трудовое, безлошадное, и сам на войне добровольцем был. Звали даже, да как пойдешь, коли ты не плотник, не каменщик, не чеботарь, не шорник, а из всех сельских работ одно знаешь — косить да стога метать. Марьюшка больше понавыкла. Она и телят растила, и за птицей ходила, и капусту выращивала хорошую. Такую работницу с радостью бы приняли, да разве она без меня пойдет?

Сперва в колхозе-то здешнем немало сумятицы было. Кулаки всякую пакость подстраивали. Ко мне даже один подбегал с разговором, да я этих благодетелей с малых лет понял. Так на него цыкнул, что больше ни один из таких ко мне не сунулся. Потом, как кулаков выселили, дело пошло гораздо лучше. Все наши ребята, конечно, с первых лет в колхоз записались. Меньшак-то — он успел подучиться маленько — полеводом стал; большак — он у меня в гражданскую войну кавалеристом был,— так его конным двором ведать определили; средний при машинах находился, потому он раньше в кузнице работал; обе дочери тоже при деле. Только мы со старухой, как две галки на прясле в непогожий день осенью: самим обидно, и со стороны на нас глядеть тоскливо.

Тут вот старуха и принялась точить меня. Ребята тоже уговаривали. Особо меньшак Петруха старался:

— Брось ты, тятя, своими камешками заниматься! Узенькое это дело, мелкое, когда и вовсе напустую сходит.

— Как,— говорю,— так?

— Очень,— отвечает,— просто. Много ли народа твой камешек увидят? Да и всяк ли разберет, что тут красота есть? Вот и выходит, по узкой тропочке твой камешек идет. Мало кому радость приносит. А напустую чаще выходит. Один понимающий найдет — полюбуется, другой понимающий огранит — тоже полюбуется, а достанется тот камешек дураку, которому ни до чего нет дела, лишь бы блестело. Крашеную бумажку подложить под стекло — ему и то ладно.

— Это,— соглашаюсь,— бывает, да не в том сила, и камень сам меня тянет.

Объясняю ему, а он по-своему разумеет:

— Этак же струя из сортировки бежит. Чем она гуще да зерно полнее, тем краше. Глядел бы, не отошел!

Втолковываю ему, что в нашем деле главное — особина камня. В одном синего больше, в другом — красного, третий желтит сильнее, а разница есть. От одной щетки отломи, и то, на привычный глаз, отличить можно.

— Если приглядеться,— отвечает Петруха,— и в зерне это найдешь. Одно в одно никогда не сойдется. На том и сортовое дело поставлено. А если тебе уж так полюбилось на сине-алое с желтым смотреть, так и это найдем.

— Где,— говорю,— такое в вашем колхозном деле?

— А вот недавно посылали меня на Красноуфимскую семенную станцию за клевером. Видел я там, как из-под «кускуты» — машина такая есть — сине-алая струйка бежала. Куда твоему аметисту! Ох, только и клевер у них! По нашим местам таких семян добиться не могут. У нас больше бурые с краснинкой семечки выходят, а у них синего много. Потому и называется — красноуфимский фиолетовый. Из сортов сорт! На всю страну славится.

Тут и начал Петруха про клевер рассказывать. Любил он про это говорить. Ну, грамотный, слова подби-

рать научился, послушать любо, да и от души сказывал про свое живое. В конце похвалился:

— Будут и у нас аметистовые семена! Тогда и увидишь, лучше или хуже живая семенная струя против твоего сине-алого камешка.

Потом спохватился:

— Постой! Мне ведь опять скоро ехать на семенную. Поедем со мной. Поглядишь.

И что ты думаешь? Съездил ведь я, видел эту самую «кускуту». Машина как машина. Сита да валики. Умно придумано, чтоб куколь и другие сорняки отгонять. Да не в этом дело. Не приучен я в машинах разбираться. А вот как пошла по корытцу сине-алая с желтинкой струя, тут уж я глаз оторвать не мог. Вроде самого лучшего камня, да еще в таких переливах, каких мне видать не приводилось.

Ну, а кончилось это тем, что нас со старухой приняли в колхоз. Не на отшибе от людей теперь живем, а специальность моя называется — клеверное семеноводство.

Добился-таки я фиолетовых-то семян! Мы ведь, горщики, приметливы. Без этого нам нельзя. А клевер что? Та же кашка. В наших местах по-дикому растет, и белая и красная. Бывало, на передышке лежишь на травке, разомнешь у поспелого цветка головку и видишь, что семена разные: одни полнее, другие потощее. Начинаешь разбирать, почему такое? Еще сломишь одну-две головки с других кустов. Оно и видно станет: на котором кусте головок меньше, там и семена полнее. Вот я и стал потом, как в колхозе к этому делу подошел, лишние головки обрывать. Сперва, понятно, на малом месте, на одной грядке. Вижу: хорошо пошло, расширяться с этим стал, а тут и отборные вручную семена сказываться начали. Теперь у нас как клеверная струя при очистке бежит — залюбуешься. Нарочно люди приходят, чтоб на нее поглядеть. Про меня и говорить нечего. Как маленький, жду этих дней. А ведь дело-то какое!

На днях вон новый полевод — наш-то Петруха погиб на войне с проклятыми фашистами — вычитывал на собрании, что к концу пятилетки по нашей стране под укос должно пойти что-то свыше двадцати миллионов гектаров многолетних трав. Подумай, сколько семян по-

требуется. А ведь клеверок — он всем травам трава. Не только сверху богатство дает, а больше того в земле накопляет. Семечко дорогое! А наше и того дороже, потому не бурое, не красник, а сине-алое, аметистовое.

Вот и выходит, что я при аметистовом деле остался, только теперь моя старуха не ворчит, а похваливает:

— В самую точку, Иванушка, придумал! Это и Петрухе нашему память, как он всегда о клевере хлопотал, да и дело самой широкой руки. Не чета твоим камешкам!

Это она, конечно, зря про камешки-то судит. Не понимает, старая, да и Петрухе покойному не умел я втолковать, что камень никогда себя не потеряет и сила тут не в одной красоте. Война вон, сказывают, показала, что даже каменные отходы, которые в огранку не брали, на большое дело пригодились. Ну, я об этом помалкиваю. Не ворошу старого. В одном старуха права — уж очень это широкое дело и вглубь далеко идет. Прямо сказать, землю молодит. И глазам утешно на живую аметистовую струю поглядеть. Будто все аметисты, какие добыл за свою жизнь, перед тобой проходят, да и те видишь, какие в горах остались.

НЕ ТА ЦАПЛЯ

Теперь-то я на пенсии живу. Ребята мои крепко настаивать стали:

— Посиди ты дома на старости лет. Гляди-ка, внуков у тебя, почитай, на целый взвод. Старшие уж выросли и на войне побывали. Пусть хоть младшие узнают, какие у людей дедушки бывают.

Добили-таки. С внучатами занимаюсь. Показываю им то-другое. Рассказываю тоже. Целой стайкой когда с приятелями своими налетят. Мне забавно, и ребятам, думаю, не без пользы. А все-таки тянет меня на завод-то. Нет-нет и сбегаешь поглядеть, как там по нынешнему положению правятся. Большое, вижу, облегчение человеку вышло, и работа много спорее идет. Иной раз и то подумаешь: случись надобность, могу и я пригодиться. Что у меня нога колчаковцами покалечена, не разгибается в полную меру,— это в нашем деле помеха небольшая. Глаз, понятно, отупел, а все-таки служит. Ну, а в руке твердость есть и привычка большая. Да и как ей не быть, коли я на этом деле с малолетства.

У нас, видишь, семейное горе случилось. Отцу валом руку раздавило. К этому болезнь присунулась, и он вскоре помер вовсе еще в молодых годах. Кормильцами остались мы с дедушком, а тут все женская часть: мать, да бабушка, да четыре сестренки. Одна постарше меня, а три вовсе маленькие. Дедушко уж старый был. Он тоже с тятей покойным в механической работал, а дома маленько мелким делом занимался: замки, какие похитрее, направлял, часы починивал. Заводское начальство в пенсии нашей семье отказало: не от увечья, дескать, помер, а от божьей немилости — от болезни. В одном поблажку сделали: приняли меня до законного возрасту

в ученики на механическую, только наказали: коли фабричный инспектор спросит, говори, что тебе тринадцатый год. А матери сказали:

— Выучится парнишка на слесаря — вот тебе и пенсия, а судиться вздумаешь — хуже будет.

Так я и стал с десяти годов дорожку в механическую торить. Теперь хоть завод много расширился, а на том же месте. Сами ноги туда идут.

Поступил тогда учеником к Игнатию Васильичу Ширыкалову. Он дружок покойному отцу был. Жалел, видно, меня. Хорошо учил. Другим ребятам ученье трудно приходилось, а я не пожалуюсь. Понятно, порядок требовал, браку не пропускал, заставлял доделывать либо вовсе переделывать, только не с рывка да тычка, а по-хорошему обскажет, что надо сделать, и своей рукой покажет. Ну, и сам я по сиротству без баловства учился — старался. Мать к этому же наставляла: «Учись, сынок!» А дедушко опять к своему мелкому домашнему делу приучал: пригодится, дескать. И то сказать, он к тем годам глазами ослабел, ему и надо было глаз повострее, чтоб всякую пружинку, винтик, колесико толком разглядеть, а мне это как раз впору. Так и шла моя выучка с двух сторон. Игнатий Васильич похваливать стал:

— Вовсе ладно. С добрым слесарем вровень.

Когда пошутит:

— По годам-то ты — Кузя, а по делу на Кузьму Осипыча выходишь!

По времени стал говорить надзирателю: пора, дескать, из учеников в слесаря перечислить.

В надзирателях по механической тогда Коготок был. Старик вроде и простой, а злопамятный и любил человека при случае царапнуть. Сперва он и слушать не хотел:

— Из милости его приняли. До слесаря-то ему еще долго нос тянуть.

Игнатий Васильич все-таки свое твердит:

— Не по годам считают, а по работе. Вот гляди! Чем он хуже других?

— Сам, поди, пособляешь. Дружки ведь с Осипом были. Водой не разольешь. Вот и вытягиваешь парнишку до времени.

— Сам проверь,— увидишь, что глаз у парня на редкость и рука несет правильно.

— Твои-то,— отвечает,— выученики всегда муху на колокольне видят, а под носом у себя разобрать не могут. Давно ли у него срез гармошкой я видел.

— Больше полгода с той поры прошло,— говорит Игнатий Васильич.— Забыть об этом пустяке надо. Дело, конечно, твое, а только неправильно это, чтоб зря человека в учениках держать, когда он за полного слесаря работу справляет.

Коготок, видать, осердился и говорит:

— Коли на то пошло, сделаю проверку.

Потом говорит мне:

— Сделай-ка ты мне цаплю-двухсторонку, на плотину поставить. Размер знаешь, железо сейчас получи. Работа не больно трудная. К послезавтраму чтоб готова была!

Это Коготок верно говорил, что работа не больно мудреная, да только на две стороны приходилось оглядываться. Без старанья сделаешь — Коготок подрежет:

— Какой ты слесарь, коли такую известную вещь толком сделать не умеешь!

Старательно сделать — от рабочих покор:

— Вишь какой,— скажут,— барский угодник выискался. Кандалы такому закажут, так он и там цветочки пристроит, чтоб веселее казались.

По теперешнему времени непонятно, за что рабочие наших пяти заводов цаплю не любили, а раньше малолетки по улицам распевали:

Горько, горько нам, ребята,
Под железной цаплей жить...

У старых заводских владельцев, видишь, заведено было метить свои поделки особым клеймом — кто как придумает. Один, скажем, выберет себе соболя, другой — беркута либо еще кого, а владелец наших пяти заводов придумал на своем заводском клейме цаплю ставить. Почему он облюбовал себе этакую неказистую птицу, сказать не умею. От своих стариков только слыхал, будто это не без хитрости сделано. Другие владельцы, сказывают, похвастать любили: «У нас по заводским лесам дорогой зверь водится, над горами орлы да бер-

куты!» — а здешний владелец, наоборот, всегда прибеднялся: «Какая у меня заводская дача! Так, болота больше. Никакой радости нет. Из птиц одну цаплю видишь».

Так он своей братье — владельцам — говорил, а дома, в своих-то заводах, больно высоко цаплю поднимал.

— Надо,— говорил,— того добиться, чтоб наша заводская цапля выше всех орлов и беркутов летала, чтоб соболей да бобров с лету долбила.

С того времени и повелось, что в нашем заводском округе цапля в большом почете у владельцев была. Потом заводы другим владельцам перешли, начальство, порядки переменились, а цапля в прежней силе осталась. Последний владелец, как он особое пристрастие к птицам имел, наставил этих железных знаков столько, что везде их видно. Ни пройти, ни проехать, чтоб заводская цапля на глаза не попалась. Когда сшибут либо исковеркают какую, барин из себя выходил, слюной брызгался и наговаривал своим ближним холуям. Для переносу, конечно, чтоб другим рассказали, как барин осерчал и какое наставление дал.

— Цапля,— говорит,— знак важный. Его уважать и хранить надо. Будет наша цапля на славе у покупателей — и всем хорошо будет, а уроним цаплину славу — тогда хоть заводы закрывай. Такой знак и ставить-то на железе с большой оглядкой следует.

По этому барскому приказу уставщики и действовали. Сильно придирались при клеймежке. А клеймили погорячему. Поворачивать да разглядывать несподручно. На глазок приходилось помахивать. Оплошки и случались частенько. Стукнет по полосе либо листу клейменым молотком, а там рванина, скосок, еще какой изъян. Уставщик тут как тут:

— Срежь это место. Сам знаешь, нельзя нашу цаплю на бракованном железе показывать. Заводскому делу от этого урон может быть. Завистникам нашим попадет, так они на Нижегородской ярмарке показывать станут — вот-де на каком барахле цапля ставится; обегайте железо с этим знаком.

Наговорят так, да и дадут человеку часа два лишней работы, а то еще и оштрафуют. Таким рабочим, ясное дело, цаплю не за что было любить, да и всем остальным она опостылела, может, хуже двуглавого орла. Дву-

главый, видишь, в те годы еще высоко летал, не всяк его по-настоящему разглядеть мог, а эта цапля низко сидела и всякому рабочему понятие давала — сколько ты ни старайся, а ни себе, ни заводам прибытку не будет. Одному владельцу выгода, да и та как в провал уйдет. Сам посуди, самолучший рабочий в год получал рублей триста, много — четыреста, служащим, кроме главного начальства, тоже не богато платили, а владельцу выдавали каждый год двести пятьдесят тысяч рублей. Этакую уйму денег при тогдашних ценах! И хоть бы он, владелец-то, что подновил! Ни одной новой машины, ни одного станочка! Все оставалось, как при дедах, и та же цапля сидела.

Понятно, что для рабочих эта цапля была вроде занозы на ходовом месте. И так ее не забудешь, а тут еще этот знак везде выставлен: на конторе, у складов, на плотине, над воротами рудного и дровяного дворов, при угольных сараях, даже над сторожевскими будками и кордонами. Заводское начальство будто подряд взяло этими знаками народ дразнить. До того доходило, что пожилые рабочие при случае сбивали и коверкали эти ненавистные знаки. Про ребят и говорить нечего. Каждый с малых лет знал, что цапля — барский знак. Если свернуть ей голову, то дома ругать не станут. Только надо не попадаться, а то и большим в семье может худо быть. Ребята и старались. Какая цапля пониже сидела, ту непременно расколотят камнями да палками.

Цапли резались из кровельного железа и были двух сортов: одностoронки и двухсторонки. Одностoронки набивались на стену. Их, понятно, сбить было нельзя. Когда разве грязью забросают. Больше все-таки было двухсторонок. Эти резались из двух листов и укреплялись на шкворне с подушкой, а подушка привинчивалась либо приколачивалась на крыше, над воротами. Шкворень делался из толстого прутового железа, проходил он под вытянутой лапой птицы и выходил в особое кольцо на спине. Это место было самым стойким, зато голова, хвост и вторая подогнутая лапа легко гнулись от хорошего удара камнем. Сшивали листы не больно крепко, на кровельные клямеры.

Эти цапли на шкворне поворачивались. Ребятишкам и занятно было по такой мете бить. Всяк норовил сразу покривить нос, заворотить хвост, подшибить лапу. Ну,

а рад был и тому, что цапля завертится. Кончалась эта охота на том, что листы распадались. Сторожа, понятно, гонялись за такими охотниками, грозили сказать отцам, но не сильно в том усердствовали. В свое время они сами занимались такой же охотой и отговаривались от начальства теми же словами, как их деды:

— Нешто за такой ордой углядишь! Надо бы их отцов притянуть, да разве узнаешь, чьи эти вертиголовые!

Случалось, конечно, что какой-нибудь барский наушник опознавал ребятишек. Тогда выходила большая беда в семье: даже возчикам железа отказывали от работы, а фабричных выставляли с завода. Бывало, и стариков сторожей с места сгоняли.

— Как ты, такой-сякой, говоришь, что не узнал ребятишек, когда они все из вашей улицы, а твои стервецы-внучата первые стали пушить камнями!

Коготок про цаплю, понятно, все знал, вот и пользовался, чтоб человека прижать. Как подойдет время переводить из учеников в слесаря, он эту двухсторонку и закажет. На этом спотычка и выйдет, потому каждый о том больше думает, чтоб от своих покору не вышло, а Коготок дребезжит:

— Нет, рано тебя в слесаря переводить. Годик-другой надо, видно, еще поучиться.

Мне из-за этого заказа тоже пришлось в учениках задержаться не на один год. Может, и больше бы меня Коготок проманежил, да тут один случай вышел.

Заводский владелец — я уж говорил — чудаковатый был. В заводское дело он вовсе не вникал, только деньги брал, а занимался он птичками. Поглядывал, как они живут, какие у каждой яички, как эти птички своих птенцов воспитывают и обучают и другое, к этому касающее. По этой не то науке, не то забаве были у барина разные приборы. Один такой приборчик и принесли в механическую; спрашивают, не возьмется ли кто исправить. Мастера поглядели, отказались:

— Не наше дело. Часовщику надо свезти в город либо вот Кузёмке отдать. Он один у нас к мелкому делу склонность имеет, да и подходящий инструмент у него от дедушка остался.

Коготок сперва посомневался, потом — делать нечего — говорит:

— Погляди уж, коли ты в этом что разумеешь.

Оглядел я, как быть должно, не торопясь, и понял, что в передаче толкачики покривились и шестеренка, которая колеско с толкачиками ведет, слабину дала. Думаю, пустяшное дело, справлюсь. Только это не сказал, а объявил:

— Берусь за день поправить, коли эту штуку дозволишь мне домой унести. Там у меня приспособлено для мелкого, а здесь не могу.

Коготок еще помялся, потом говорит:

— Бери, только не забудь: испортишь — из механической выгоню.

Ну, исправил я этот приборчик. Игнатий Васильич тут вовсе наседать стал на Коготка:

— Повысить надо парня. Вишь, какой он старатель. Всю ночь просидел, а своего добился.

На Коготка, видно, добрый стих нашел.

— Что ж,— отвечает,— и повысим. За нами никогда не пропадет.

И верно, стали меня с той поры рассчитывать, как слесаря, а за поправку еще особо рубль выдали. Эта рублевая награда долго у нас в механической на памятях держалась. Коготок частенько говаривал:

— Вон Кузёмка,— материно молоко на губах не обсохло, а сделал по-хорошему, ему поденную платят, как полному слесарю, да еще награду выдали. Понимай, как работать надо!

У рабочих эта рублевка в присловье вошла:

— Старайся, ребятушки! Рублевкой наградят. Не пожалеют!

Так вот я и перешагнул через проклятую заводскую цаплю. Не забудешь ее. Солоно пришлась. Не один год этой цаплей Коготок мне дорогу загораживал. Теперь вот вспомнишь про заводскую цаплю, так диву даешься, зачем она владельцам понадобилась. Ну, заводское клеймо — дело понятное. Без него нельзя. А вот зачем это клеймо вроде божка какого везде выставлять? Видели ведь, поди-ка, что этот знак рабочим больно не люб, а все-таки ставили. Неуж нарочно, чтоб народ из терпенья выводить? Ведь если посчитать, так и заводскому начальству это не дешево обходилось. Все-таки и материал чего-то стоил, а главное — рабочих от настоя-

щего дела отрывали. На розыск да разборку дел о сбитых цаплях тоже не мало времени уходило.

Раз вот рассказывал внучатам про цаплю, а на ту пору к нам в гости приехал мой старший внук Ваня. Он у меня на войне до лейтенанта дослужился, три награды имеет. Теперь при городе на большом заводе в сборочном цехе работает. А все еще не женился. Говорит, надо сперва образование закончить. Ваня, понятно, и раньше слыхал от меня про заводскую цаплю, а тут, видно, по-настоящему понял, куда она шагала, и говорит:

— Тебе бы, дедушко, надо поглядеть на нашу цаплю, которая сейчас на сборке.

Мне удивительно стало: какая цапля? На что она? Спрашиваю, а Ваня посмеивается:

— Поедем, тогда и поглядишь, узнаешь, на что понадобилась. А, по-моему, сходство есть. Ноги у нашей тоже долгие и на таких широких лопастях, что на низком месте не угрузнут. Ходит, не торопится, только не переступает, а рывком подвигается, как, скажем, человек на костылях,— упрется обоими костылями и шагнет. Шея да клюв у нашей подлиннее будут, а видимость со стороны такая же, сперва клювом в земле роется, потом кверху поднимает, только добычу не проглатывает, а сбрасывает, куда ей укажут.

Вижу, что шутит, а все-таки любопытно стало поглядеть, что в самом деле за штука такая, да и на заводе том я не бывал, а Ваня его что-то больно высоко ставит против нашего-то. Дай, думаю, съезжу, погляжу. Может, и парня образумить надо, чтоб не заносился со своим заводом свыше меры. С заводским нашим автобусом и поехали. Ваня живенько пропуск мне справил. Когда от города к этому ваниному заводу подъезжали, так он мне особо большим показался, а как вошли в заводские ворота, так я и понял, что этот завод с нашими старыми и сравнивать нельзя. В одном сборочном цехе, на мой глаз, если все наше старое заводское оборудование с пяти заводов собрать, так еще много порожнего места останется. Машины по цеху могут ходить, а близ продольной стены рельсы проложены. Вот какой цех! Такого я и в думках не видывал.

Лежит поперек этого цеха преогромная труба. Ваня и говорит:

— Это на шею нашей цапле пойдет. Таких труб шесть надо.

Я, понятно, не поверил. Вижу, что зря говорит.

— Как же,— спрашиваю,— такую штуку из цеха вытащить? Невозможное дело. Тоже понимаю, поди-ко.

Ваня объясняет:

— Собираться она на месте будет, а здесь только подгонку ведем.

Мне все-таки не верится, а он меня ведет к какой-то железной башне в два этажа и говорит, что тут управление машины помещаться будет. Поглядел я и по совести сказал: непонятно это мне. Ваня тогда и повел меня в модельное.

— Там,— говорит,— тебе все яснее откроется.

Походил я в этом модельном. Показали да порассказали мне. Тогда только понял, что строится землекопная машина для самых больших земляных работ. За день эта машина поднимет земли за семь тысяч человек, а управлять ею будет не больше сотни.

На цаплю, понятно, эта машина не больно походит, а все-таки Ваня правильно ее к старому подвел.

Наша заводская цапля как нарочно была придумана, чтобы люди зря мытарились, а эта — чтоб человека от кайла да лопаты освободить, облегченье ему сделать.

Когда сказываю об этой поездке в город ребятам, непременно пошучу:

— Все переменилось. Даже цапля не та стала. Раньше хоть она всегда дело давала: одни ее сшибали, другие ставили. А теперь как? Понастроят вот этаких машин, что за тысячи человек одна управляется, тогда вам вовсе без работы сидеть придется.

Ребята смеются.

— Мы,— кричат,— подучимся и этими машинами управлять станем. Новые еще придумаем, а работы у всех хватит.

Малые, а понимают, что у трудового народа и думки быть не может, чтоб без дела остаться. Легче станет работать, удобнее, веселее, а все-таки дело у всякого будет.

ЖИВОЙ ОГОНЕК

По соседству со мной мастер по огранке дорогих камней Митьша Заровняев живет. Одногодок мой. В малолетстве мы с ним неразлучными дружками были, вместе, как говорится, собак гоняли, вместе и в заводскую школу бегали, а потом наши дорожки разбежались. Он попал в выучку по гранильному делу и хорошим мастером стал, а я, как все мои деды-прадеды, весь век по заводскому гудку жил, в механической работал. Тоже по своему делу от добрых мастеров не отстал.

В эти рабочие годы мы, понятно, с Митьшей встречались, только досужего времени у нас немного было, да и не на одни часы оно приходилось. Бывало и так, что я с работы, а он на работу. Ну, и в разговоре разнобой пошел: он про огранку, я про сборку. Так у нас ребячья дружба и завяла. А вот теперь, как оба на пенсию вышли, опять неразлучниками стали. Только та разница, что теперь друг дружку не Ваньшей да Митьшей зовем, а по отчеству величаем: он меня Осипычем, я его Алексеичем. Дня не проходит, чтобы мы с ним не сошлись. То он ко мне приплетется, то я к нему, а в погожие дни любим на завалинке посидеть, солнышко проводить. Дома-то наши, видишь, на закатную сторону окошками приходятся, а эта сторона недаром стариковской зовется. К нам через дорогу приковыляет еще орел. Тоже пенсионер. Токарь Евграф Васильич Менухов. Он постарше нас годов на пять. Мы еще вовсе малышами были, а он уж в школе учился. По-старому-то грамотеем считался, потому двухклассное кончил. Мы с Алексеичем в заводскую школу только три зимы бегали, а он учился целых пять зим. Тогда это уж вы-

соко считалось. Из-за этой грамоты судьба у Евграфа пестрая вышла. Сперва после школы тоже в механической работал, в свои годы женился, семью завел, а дальше дорога кривулинами пошла. Не любило начальство тех, кто пограмотнее. «Умные, дескать, стали, судят о чем не положено». Ну, Евграфа и выжили из механической, да и с завода. Пришлось ему по другим заводам кормиться. Уж после гражданской войны домой воротился. Десятка полтора годов еще в полную силу работал, а тут старость на плечи сильно давить стала, да еще погорячился на работе, с ним и приключился удар. Отлежался, потом вылечили, а левую ногу и теперь волоком переставляет, и в разговоре ясности не стало. А ведь раньше-то говорок был. Теперь при внуке живет. Инженер он, на заводе цехом заведует. Дельный, сказывают, парень вышел и о старике заботливый. Старый домишко они перебрали, сбоку и вглубь прируб сделали. Евграфу Васильичу особую комнату отвели со всяким удовольствием: и тепло, и светло, и спать мягко, на окошках цветы, радио проведено и за книжкой посидеть есть где. Одним словом, устроенный старик. Можно сказать, с кабинетом.

Переберется этот Евграф Васильич на нашу сторону и первым делом пошутит:

— Не горюйте, малолетки, что солнышко уходит! Приходите утром пораньше ко мне на завалинку — встречать будем. Веселее, поди, встречать-то!

— А сам зачем на нашу сторону приволокся?

— Да тоже потянуло поглядеть на то, что прошло. И та думка была — не заскучали бы мои малолетки перед сном. Вот развеселить и явился.

— Садись-ка,—говорю,— в серединку, тогда за старшого признавать будем, в случае спора оба под рукой будем.

Алексеич свое начинает:

— Отдышаться не можешь, увеселитель! Через улицу перешел, как на высокую гору поднялся! Шуткам-то, видно, конец приходит.

— Кому,— отвечает,— как. Иной смолоду кислится: дескать, я умру, а все останется. Другой до гробовой доски не тужит, потому как не о себе, а о своем деле больше думает: шло бы оно, а удастся ли самому поглядеть — об этом печали мало. И по работе отдача

есть. Ты вот за станочком в одиночку в молчанку больше играл, а я весь век на людях крутился. На народе, известно, без шуток да прибауток, без шуму да гаму, без рассорки да мировой не проживешь...

Это у них привычка такая. Сперва поперекоряются, потом уж вгладь разговаривать станут. Проходящие, глядя на нашу тройку, подшучивают:

— Вишь, какие белые груздочки на нашей улице выросли!

Другие опять советуют:

— Что сидите-то? Поразмялись бы! В лошадки бы хоть поиграли! Улица широкая, полянка кудрявая — раздолье! Неужто не бегивали?

— Бегать-то,— отвечаем,— бегали, да теперь кучера из нашей ровни не подберешь, и очередь не наша. Нам другое отведено — на завалинке сидеть да поглядывать, бойко ли молодые бегают.

Шутят так-то, а все-таки у кого досуг случится, подходят послушать нашу стариковскую беседу, спрашивать примутся, свое слово вставят, старое к новому прикладывать станут, спор затеют.

Разговаривали, понятно, про разное, житейское, а без того не проходило, чтоб который-нибудь из нас, стариков, не помянул о деле, каким весь свой век занимался.

Один такой разговор мне больше запомнился. Алексеич его начал. В какой-то летний праздник было. Наша улица хоть не из самых людных, а молодого народа вечером по ней много бродит. Одних студентов сколько из города приезжает. Раньше-то наперечет знали, кто из заводских в городе учится, а теперь разве сочтешь, коли чуть не из каждой семьи уезжают в институты да техникумы. Очередные отпуски тоже к летним месяцам подгоняются. Ну, отпускники, которые не уехали по дальним местам, а проводят время на рыбалке, охоте либо просто в лесу и на покосах, тоже не прочь похвалиться, что ближний загар не хуже дальнего. К Евграфу Васильичу подошла за ключом невестка, внукова-то жена. Она у него врач и вместе со своими двумя ребятишками живет летом в лагере, который на бывшей владельческой заимке. С Menуховой еще три женщины. Из лагеря же, видно, потому на одной машине приехали. Лагерь-то ведь оздоровительный. Ребят там много из

всех заводских школ. Ну, и врачей да воспитательниц не мало требуется.

Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки:

— По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да пока плоховато, а остальные камешки хорошо идут. Кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленый от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно.

Одна из женщин и спрашивает:

— А в чем, скажите, разница? Как отличить плавленый камень от настоящего?

Алексеич позамялся, потом говорит:

— На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленым камнем тебе думать не о чем, потому камешки один в один. Твое дело — соблюдать размер — и все. А самородный камешек, который из горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с которой стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь огранить, как тому камешку подходит. Глядишь на такой — и сердце радуется!

Тут парень один врезался. Не знаю его фамилии. Знаю только, что с турбинного. Задористый такой. В передовиках его на заводе считают. Портрет его както в нашей газете видел. Так вот он и говорит:

— Если самородный только тем отличается, что с ним возни больше, так это пустое дело.

— Нет, не пустое! — говорит Алексеич и показывает на Менухову.— Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты, небось, эту брошечку приметил. А у них вон,— указал он на другую женщину,— кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому — из плавленых.

— Верно, дед,— не скрывая своего удивления, подтвердил парень,— на брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил.

— Вот то-то и есть. А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй, какие хочешь пробы бери, разницы не найдешь, а живого огонь-

ка, какой в самородном камне есть, все-таки не увидишь.

— Значит, чего-то не нашли,— говорит парень и с уверенностью добавляет: — Изучат полностью и доведут. Не беспокойся, дед.

— В том спору нет, что доведут,— говорит Алексеич.— Сам вижу, что дело вперед идет. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю: когда плавленый камешек, как самородный, свою особину иметь будет?

— По моим приметам, скоро,— неожиданно вмешался Евграф Васильич.

Алексеич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас ухватился за это:

— Что зря болтать-то! Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нем знаешь?!

Разговор у Алексеича резкий, крикливый. Кто близко к завалинке был, слышит — старики заспорили. Подходить стали. Любопытно им. И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят. Алексеича это, видно, еще больше раззадорило, он уж вовсе кричать стал:

— Ну-ка, скажи свои приметы! Что навыдумывал?!

— И скажу, только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет.

— Как на собраниях?

— Так-то, по-моему, лучше, чем перекоряться да кричать.

— Ну-ну, балакай, коли ты такой умный! Пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают.

— Ты не подковыривай до времени, а слушай. После уж душу отведешь.

— Ладно, ладно. Говорю, балакай. До конца слова не выроню.

Тут Евграф Васильич и стал рассказывать:

— К гранильному делу мне касаться не приходилось. Это он правду говорит. Зато я знаю мастеров своих годов. А мастер, как известно, всему делу голова. Недаром сказано: «Дело мастера боится». Вот об этих мастерах я хочу сказать. Сегодня вы наглядно видели, какие они, эти старые мастера. Когда товарищ с турбинного попросил объяснить разницу между самородным

и плавленым камнем, так что ему мастер сказал? Самородный, дескать, сердце радует, живой огонек в нем, особина. Разве можно это понять без показа? Как живой огонек образуется, в чем особина — все это ему не сказать. А показал на деле, и человеку ясно стало, что разница есть, что мастер хорошо это понимает, только на словах объяснить не может.

Это я не в укор Алексеичу. Другие мастера наших годов такие же были. Сошлюсь на себя. Я считаюсь пограмотнее Алексеича, побольше учился да побродить по многим местам привелось, а спросите меня по моему делу, тоже показать покажу, а объяснить, почему и как, не сумею. А сам я учился токарному делу вовсе у неграмотного мастера. Теперь об этом скажешь, так не все верят. А было. Покойный Петр Михайлыч Шевелев тонко свое дело знал, а ни читать ни писать не умел. Скажут ему размеры, он их запомнит, больше не спросит и сделает вещь без ошибки. Ну, а на словах станет объяснять, ничего не поймешь. Он вдобавок заикался, так и вовсе неразбериха выходила. И все-таки показом он не одного меня выучил.

И в доменном, и в медеплавильном деле, да и в остальных заводских производствах то же самое было. У мастеров был наметанный глаз и большой навык, а грамота слабая. Учиться у них — как у немых. И то мешало, что старые мастера боялись за свое положение. Они и не торопились передавать молодым свои навыки. А если имелся производственный секрет, так мастер старался передать его только кому-нибудь из своих близких либо вовсе никому не показывал до последних дней своей жизни.

Конечно, кроме таких мастеров-практиков, были и люди с инженерским образованием, но они мало что значили. В лучшем случае на целый заводский округ таких было два-три человека, да и те на должностях управляющих либо управителей. Что они могли сделать, когда по цехам-то пробегали не каждый день.

В горном деле раньше, а у нас, металлургов, много позднее появились техники, с образованием. Учились они примерно столько же, как нынешние ремесленники. Сперва двухклассную школу кончали, потом в техническом училище три года. Только по-старому это уж высоким образованием считалось, и этим, окончившим

курс, давалось званье — ученый мастер; а кто похуже учился, тех называли ученый подмастерье. Попадали в это училище, конечно, только дети тех служащих, которые были угодны заводскому начальству.

Насмотрелся я на этих ученых мастеров да подмастерьев! Смех и горе. Придет этакий парнишечка годов шестнадцати-семнадцати вроде начальства в цех, а там старый мастер не первый десяток всем правит. Дело свое знает до тонкости, только дальше не видит и не о всем рассказать другому может. А это новенький-то койчему из книжек поучился, а по делу ровным счетом ничего не знает. В училище, понятно, были мастерские, да много ли от них за три года между учебой получишь? По месяцам разнести, так на каждое дело двух-трех дней не наберется. И станки разные. В мастерской поновее, а тут такая старина, что новый-то не знает, с какой стороны к ней приступиться.

Вот и попробуй от таких двух мастеров чего-нибудь путного добиться! Если и выйдет тут сплавленный камень, так не лучше плитняка, который на щебенку идет. Стукни его по ребру, он и развалится по слоям. Так и было. Кроме свары да подвохов ничего не выходило.

— У нас этак же было, как стали художников посылать. Рисовать умеют хорошо, а толку в камнях не знают,— поспешил откликнуться Алексеич.

— Не перебивай, а то спутаешь меня на главном. Уговорились, поди-ко! — отмахнулся Евграф Васильич.— При советской власти по-иному пошло. Сами рабочие в голове производства встали, но и от науки не отвернулись. Тех, кто знал дело по-книжному, ближе к производству подвинули, а сами за книжки взялись, через рабфаки и другие школы к большому образованию потянулись. Тут уж было из чего сплавить камень, который любую пробу выдержать мог. Теперь это еще дальше пошло. Да вот лучше я вам случай расскажу.

Годов близко двадцати с той поры прошло. Работал тогда в городе. Поручили мне набор людей для большого строительства. Приходят раз пятеро слесарей, все из Харькова. Из разговора выяснилось, что ехали они Сибирь посмотреть да по случаю Первого мая в нашем городе остановились. Отпраздновали так, что денег на

дорогу, дальше ехать не осталось. Ну, и пришли ко мне. Посмотрел их документы. Вижу, народ подходящий, и зачислил их всех пятерых. Потом справлялся, конечно, как работают. О всех хороший отзыв получил, а одного на отличку похвалили, по всем статьям. Потом этого парня с книжками встретил. «Учусь, говорит, без отрыва от производства!» Годов через пяток он уж в институте учился. «Решил, говорит, по-настоящему поучиться, потом опять на то же место». Ну, а не так давно прочитал в газете, что такой-то удостоен Государственной премии первой степени за сконструированную и смонтированную под его руководством машину. Машина, говорят, такая, что в день дает больше, чем наш старый завод за месяцы, а управлять этой машиной можно в белых перчатках: ни пыли, ни копоти в цехе. Мне не случалось видеть эту машину, а все-таки знаю, что конструктор здесь не забыл, что́ мешало в машинах слесарю, что́ ему помогало. Одно постарался устранить, другое — еще улучшить, и получилась та особина, какой до этого не было.

А разве мало у нас таких людей? Чтоб не ходить далеко, сошлюсь вот на них, которые тут стоят да сидят. Не угадаешь, кто из них у печи стоит, у станка, кто — за чертежной доской либо в лаборатории. А раньше-то я бы инженера от слесаря и в бане отличил. Раздельно было. Одни вверху, другие внизу. При случае переговаривались, конечно, а теперь вот сливаться стали. Из этого и растет новый, советский мастер. У него либо долголетние рабочие навыки хорошо освещены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой. Этот новый мастер и дает в любом деле живой огонек, какой чаще и чаще видишь на изделиях с нашей советской маркой.

Сказав это, Евграф Васильич подтолкнул локтем Алексеича:

— Твой разговор!

Тот сначала отшутился:

— О чем говорить? Ты же у нас старшой, в серединке сидишь! Разве можно такому прекословить? — Помолчав немного, проговорил: — Кабы тебя, Евграф Васильич, в свое время другой гранью повернуть! Хороший бы фонарь на темной дороге был! Все как есть ты правильно сказал.

— А я чуть было про тебя худое не подумал,— сказал парень с турбинного, обращаясь к Алексеичу.

— Торопиться с этим никогда не надо,— наставительно проговорил Евграф Васильич.— Мало ли что с первого взгляду покажется. У старика одно пятно — малая грамота. В этом молодых укорять надо, а стариков нельзя. Время другое было. А что перекоряемся мы с ним, так это одна видимость. Вроде стариковской игры.

Женщина с кулоном из плавленых камней пожала всем нам руки. За ней потянулись другие, кто с шуткой, кто с вопросом, и беседа пошла мелкими ручейками.

ДЕМИДОВСКИЕ КАФТАНЫ

От нашей заводской грани на полдень озеро есть. Иткуль называется. Слыхали, поди?

Кому на той стороне на рудниках да приисках мытариться доводилось, тот, небось, не раз на том озере бывал. Близко тут, и рыбешки на том озере полным-полно. Который и вовсе не рыболов, а праздничным делом, глядишь, бежит на Иткуль: хоть разок в неделю,— думает,— ушки похлебаю. На приисках-то ведь еда известная. Скучают люди по доброму приварку.

Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела, тому тоже на Иткуль дорога. Это озеро, вишь, не в нашей заводской даче, у здешнего начальства тут уж сила не берет. И деревнешечки при озере есть. Башкирские деревнешечки бедные, а все ж таки того-другого достать можно, ежели у кого гулянка случится. Вина там, мяска и протча, про рыбу не говоря. Одно плохо — стряпать по русскому обычаю не привычны. Ну, да это старателю полбеды. Ему бы хлебнуть было. Зато место тут для гулянки — лучше не надо.

В нашей-то заводской даче свои озерки есть, да что в них! Стоялая вода в низменном месте, берега резуном затянуло,— не подойдешь. А Иткуль-озеро на высоком местичке пришлось. Берега — песок да камень, сухим-сухохоньки, а кругом сосна жаровая. Как свечки поставлены. Глядеть любо. Вода как стеклышко — все камни на дне сосчитай. Только скрасна маленько. Как вот ровно мясо в ней полоскали. Дно, вишь, песок-мясника, к нему этак и отливает. Оттого будто озеро Иткулем и прозывается. По-башкирскому говядину зовут *ит*, а *куль* — по-ихнему озеро, вот и вышло мясно озеро — Иткуль.

Другие опять говорят, будто первый, кто людей на это озеро привел, похвалялся:

— Вон сколь тут живности в воде-то. Все озеро мясом набито.

А еще про это посказулька сложена. Наши старики сказывали. Они, вишь, ране-то, как чугунки не было, медь, железо на Чусовую-реку возили и тамошние дела до тонкости знали. И про это наслышались.

Причинку тут на Демидовых кладут. Не на тагильских, а на тех, кои Шайтанский завод на Касли строили. Этого же колена Демидовы, только хозяйство у них разное. В этом и загвоздка.

Вишь как вышло. Царь отдал Демидову в здешних местах казенный завод и земли отвел — строй, дескать, сколько сможешь. Демидов и послал в наши места сына Акинтия. Акинтий и начал тут поворачивать — заводы строить: Шуралу, там, Быньги, оба Тагила и протча. Старик Демидов и сам в наши края перебрался, только он, сказывают, больше по заводскому действию старался, а этот Акинтий все строил да строил. Десятка, поди, два заводов-то настроил. К нашим Сысертским заводам из Акинтьевых ближе всех Ревда подоткнулась. Вот из-за этой самой Ревды, как она еще строилась, узелок и завязался.

Разбогател Акинтий Демидов — дальше некуда. Руда, вишь, тут добрая, лес под боком, за работу платил — только бы не умер человек. Как не разбогатеть. А у старика Демидова, кроме Акинтия, были и другие сыновья. Тоже заводчики, только не по здешним местам. У одного из этих сыновей — Никитой же его, как и старика, звали — Брынский завод был. Ну, и другие какие-то. Тоже сильно богатый был, только где же против Акинтия! Вот этот брынский заводчик Никита и удумал податься в наши же места.

— Братско, дескать, дело,— отведет мне Акинтий ме́стичко.— А сам уж давно облюбовал, где теперь Ревда-завод стоит. Тут на Волчихе, да и по другим горам и руду обыскал. Ну, только Акинтий сразу братцу любезному оглобли заворотил.

— У моего-то,— говорит,— кармана братьев нету. Сам на том месте завод строить буду.

Никите неохота попуститься.

— Еще,— говорит,— покойный родитель мне про то место говаривал. Обещал, можно сказать.

Акинтий, знай, посмеивается.

— На мертвого-то что хошь скажи. А только родитель-покойничек не дурак был, чтоб эдакое место, с которого весь сплав по реке зачинается, из своих рук выпустить.

Ну, тогда Никита видит — не идет дело, суд завел с Акинтием из-за рудников. Дескать, я обыскал, а он собирается завод строить. Да где же с Акинтием тягаться, коли цари с ним за ручку! Только и высудил Никита, что ему разрешили теми рудниками пользоваться, если где-нибудь близко завод поставит. А где его поставишь, коли земля кругом обрезана.

Тут, слышь-ко, еще такая штука вышла. С левого-то берега к Чусовой-реке строгановские земли подошли. Строгановы раньше железными заводами не от силы занимались, а тут и им приспичило,— на акинтьевы богатства глядючи. Как раз недалеко от тех мест Билимбай-завод строили. С Акинтием тоже суд завели,— дескать, Ревда-то на строгановской земле приходится. Ну, Никита видит,— при таком деле у Строгановых ему земли ни за что не добыть. Стал искаться на правом берегу Чусовой. А там, слышь-ко, в диком месте, в Шайтан-логу, деревнешечка башкирская стояла, и она как-то еще никому из заводчиков не отдана была.

Вот Никита и подсыпался к этим башкирам, давай их улещать.

— Отдайте, дескать, мне это место. Я тут завод поставлю, а вас своим коштом перевезу, куда выберете. Избы новые поставлю, денег дам на обзаведенье, старикам на каждый год по красному кафтану... К праздникам мясо у вас будет: ешь — не хочу. А то какие вы жители. Мясо-то у вас когда бывает?

Деревнешечка, и верно, шибко бедная была. Пряменько сказать, на одной кобыле по три семьи ездило. Только тем и питались, что в речках добудут. Все рыба да рыба. Ну, их и потянуло на мяско. Старикам тоже охота в красных кафтанах погулять. Так и сладились и бумаги припечатали.

Стал на том месте, в Шайтан-логу, Демидов строить завод, а башкир перевез на дальнее озеро, чуть не за сто верст от старого жилья. Не всех, конечно, перевез.

Помоложе-то у себя оставил, на рудниках работу им дал. Молодому, известно, на людях охота пожить.

Сперва все как по маслу катилось. Рыбой на новом месте башкиры довольнехоньки, к праздникам им от Демидова мяса привозят: конины, баранины. Кафтаны тоже каждый год выдают. Все, как выряжено.

Видишь, завод-от строил не сам Никита, а его сын Василий. Оттого будто Шайтанку и зовут еще Васильевским. Этот Василий тогда, слышь-ко, молодой был, злостью да хитростью еще не настоялся. Он и выполнял все по уговору. Ну, и то сказать, велико ли дело для Демидовых сколько-то возов конины да баранины отправить.

Только вот приехал на завод сам Никита. А у него, сказывают, в ту пору жена сбежала, денег много утащила, а больше того долгов оставила,— заплати, муженек любезный, а жить с тобой я не согласна. Ну, Никита и лютовал по этому случаю и подковыривался ко всякому месту. Увидел, что башкирам мясо направляют, зверем на сына накинулся:

— Ты что это? По материнской дорожке, знать, собираешься? Мастерица была моты мотать, добро разбрасывать!

Сын говорит:

— Что ты, батюшка, из-за пустяков себя расстраиваешь. Я ведь негодных лошадей режу. Чем на падинник везти, так мы им в гостинцы. Много если двух-трех баранов подкину.

Старик не унимается:

— Тому барана, другому барана, сам с чем останешься?

Тогда Василий напомнил,— дескать, уговор такой был.

— На всякий уговор,— кричит,— ум иметь надо, а у тебя башка песком набита!

Потом позвал своего подручного, да и сказал ему, как надо сделать.

Подручный, конечно, рад стараться. Таких-то ведь хлебом не корми, только бы людям какую ни на есть издевку подстроить.

— Слушаю,— говорит,— Никита Никитич. Будьте без сумленья, в лучшем виде устроим. Угостим так, что

внукам закажут, как на демидовски гостинцы рот разевать.

Вот ладно. Снарядился этот демидовский подручный с возами в дорогу. Человек пяток объездных с собой прихватил, с ружьями. Дорога-де не ближняя. Мало ли что может случиться.

Приезжают туда, а башкиры их уж ждут.

Обрадовались старики:

— Ай, хорош Демид. Якши-бай, спасиба ему! Спасиба!

Велят котлы под мясо готовить. Только раскрывают рогожи, а там свинина. Цельными тушами свиньи лежат и пятачки свои уставили.

Старики, конечно, в сторону:

— Ай-яй. Дунгыз-ите наш закон ашать не велит. Ошибку Демид давал. Ай-яй-яй!

Ну, а какая ошибка, коли назгал сделано. Подручный, знай, покрикивает:

— Привезено — ешь. Какой разговор об этом. Мясо хорошее. Если такого не примете, давайте бумагу хозяину с отказом на предбудущее время.

Тут руднишные башкиры случились. На побывку, видно, к своим пришли. Эти руднишные около русских-то уж околтались. Руднишному где разбирать, какой кусок в хлебове попался — свинина ли, конина ли, лишь бы червей поменьше. Ну, видят — тут подстроено. Ввязались в это дело. Шире-дале, к драке ближе. Подручный демидовский ружьями пригрожать стал, а те не отстают. На них глядя, и другие осмелели, за колья да топоры взялись, телеги окружили. Подручный видит — дело плохо, велел поворачивать с возами. Башкиры еще покричали, все-таки выпустили. А подручный отъехал маленько и велел свинину на куски рубить да в озеро кидать. Башкиры видят, назло воду поганят, тулаем за ними кинулись, а подручный демидовский стрелять велел. Ранили которых. Только все-таки башкиры одну телегу захватили и людей сколько-то. Давай их бить. С концом, конечно, потому расстервенился народ. А подручный успел угнать.

Ну, дальше, известно, суд да кнут.

Приехало к башкирам начальство и давай в первую голову руднишных искать, только их нигде не оказалось, и семейные от них отперлись.

— Вовсе,— говорят,— нездешние были. Проходящий народ.

Тогда стариков увезли, которые от Демидова кафтаны получали. Этих стариков и судили как за бунт и присудили — у озера, на том самом месте, где драка была, кнутьями бить. Били, конечно, нещадно, спина в кровь и мясо клочьями. А тот, сукин сын, который драку подстроил, тут же перед всем народом похваляется:

— Помнить-де меня будут. Не хотели в демидовских красных кафтанах гулять, походите в моих! По росту, небось, пришлось. Только носить сладко ли?

Тут ему из народу и погрозились:

— Погоди, собака! Сошьем и тебе кафтан по росту! Без единого шва будет!

Так и вышло. Вскорости тот демидовский подручник потерялся. Искали-искали, найти не могли. Потом Демидову записку подбросили. Русскими буквами написано.

Оказался-де на иткульском Шайтан-камне какой-то человек в красном кафтане, ни с кем не разговаривает, а по всему видать — из ваших.

Послал Демидов поглядеть,— что за штука?

На озере-то камень тычком из воды высунулся. Большой камень, далеко его видно. Вот на этом Шайтан-камне и оказался какой-то человек. Стоит ровно живой, руки растопырил. Одежа на нем красным отливает. Подъехали демидовские доглядчики к камню, глядят, а это мертвый подручный-то. У него вся кожа от шеи до коленок содрана да ему же к шее и привязана.

С той поры вот будто озеро Иткулем и прозывается.

Пострадала, конечно, деревнешечка. Иных в тюрьме сгноили, кого забили, кто в Нерчинск на вечну каторгу ушел. Ну, а оставшийся народ вовсе изверился в Демидове и во всех заводчиках. Только о том и думали, как бы чем заводам насолить.

Когда Пугачев подымался, так эти иткульские из первых к нему приклонились. Даром что деревня махонькая, в глухом месте стоит — живо дознались!

Наш-от барин в ту пору, говорят, только то и наказывал:

— Берегись иткульских! За иткульскими гляди! Самый это отчаянный народ и заводам первые ненавистники.

А когда опять ворчать примется:

— Тоже, видно, и в Демидовых дураки водятся: гляди-ко, до чего народишко расстервенили. Не подойдешь к нему. А из-за чего? Корысть-то какая? Палых лошадей жалко стало. Смекалка тожа! Стыд в люди сказать.

Сам-от этот барин куда хитрее был. Этот, небось, за палую лошадь вязаться бы не стал. По-другому с народом обходиться умел. Не углядишь, с какой стороны подъедет. Прямо, сказать, петля.

Из купцов вышел. К мошенству, стало быть, с малых лет навык.

Вот этому барину, видно, и казалось дивом, что Демидовы не смогли маленькую башкирскую деревнешечку круг пальца обвести.

Из-за этих барских разговоров, сказывают, потом большая рассорка с ревдинским начальством случилась. Не раз оно наших водой прижимало. Это когда караван спустить по Чусовой приходилось. Только это уж другой разговор пошел, а иткульцы, точно, самые заядлые супротивники заводским барам в те годы были.

Как уж пугачево дело по другим местам вовсе нанет сошло, в этой деревнешечке его не забыли. Нет-нет оттуда и выбежит человек пяток-десяток, на лошадках, конечно. А дорога у них хоть и в разные стороны случалась, а всегда на одно выходила: какого-нибудь заводского барина за горло взять.

За это и звали их барскими подорожниками, потому — простой народ и даже торгашей не задевали, а барам да большому заводскому начальству сильно оберегаться приходилось.

На дороге поймают — не пощадят, случалось, и по домам тревожили.

ПРО ГЛАВНОГО ВОРА

Как мне здешние места не знать! В этой самой деревне Кунгурке родился, около нее всю жизнь по рудникам да приискам кайлой долбил да лопаткой ширкал. Все, можно сказать, тропки отоптал, всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал,— не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро, не брянчат ли хоть медяшки. Найти немного нашел, а людей-таки повидал, кого — с головы, кого — с пяток.

И про старину слыхал. Много старики сказывали, да память у меня на эти штуки тупая. Все забыл, сколь ни занятно казалось. Про одного вот только старинного немца в голове засело. Это помню. Недаром его прозвали «главный вор». Главный и есть! Про такого не забудешь.

Немецких воров тоже и живых немало видать случалось. Одного такого фон-барона с поличным ловить доводилось. Бревером звали, а прозвище ему было Усатик.

Старались мы тогда артелкой недалеко от горного щита, а этот фон-барон Усатик держал прииск рядом, на казенной земле. И что ты думаешь? Стал он у нас песок воровать. Зароются, значит, в нашу сторону и таскают из нашего пласта. Ну, поймали мы этого Усатика на таком деле, а он, прусачье мясо, хоть бы что.

— Фуй, какой,— говорит,— малый слёф! Бутилка фотки такой слёф не стоит.

Этим пустяком и отъехал. Другой раз поймали, опять отговорку нашел. Рабочие, дескать, прошиблись маленько. Да еще жалуется:

— Русски рабочий очень плёх слюшит. Говориль

ему — пери зюд-вест, фсегда пери зюд-вест, а он перёт ост. Штраф такая работа надо!

И хоть бы покраснел. А сам важный такой. Усы по четверти, брюхо на аршин вперед, одежа, как полагается по барскому званью. Кабы не поймали с поличным, век бы никто не подумал, что такой барин придумал эку пакость — песок воровать. А горнощитские старатели, которые на немцевом прииске колотились, в одно слово сказывали — только о том и наказывал:

— Ост пери! Фсегда ост пери! Там песок ошень лютший.

Да ведь еще что придумал? Как сорвала с него наша артелка четвертной билет за воровство, так он хотел эти деньги со своих рабочих выморщить: вы, дескать, виноваты. Ну, те не дались, понятно. Объявили — в суд пойдем, коли такая прижимка случится.

Тоже и в здешних местах немцев видал. В те годы Дегтярского рудника и в помине не было. Один Крылатовский гремел. На три чаши там работу вели. По-старому это немало считалось. Ну, старатели тоже кругом копошились. Поводок к нашей Дегтярке обозначаться стал. То один, то другой, глядишь, найдется занятный камешок. Разведывать помаленьку стали. Немец и объявился. Он хоть был толстоносый, а нюх на эти дела у него не хуже самой чутьистой собаки. Он на такую штуку, чтоб к чужому подобраться, оказался вовсе легкий. Вроде пушинки прильнет — и не заметишь. А доверься ему, так не то что кошелек с добычей — ложку из-за голенища стянет. Не побрезгует!

Сысертские владельцы большой приверженности к немцам не имели, а немцы все-таки подобрались как-то,— мы, дескать, тут шахту бить станем. Ну, сговорились, заложили шахту. Берлином ее прозвали для важности. Знай, дескать, наших! А сами-то вовсе были мелкодушные ворюги. Пустяк какой,— и тот прикарманят и штрафами народ донимают невмочь. Недаром рабочих больше из башкир нанимали. Наши, известно, хоть маленько за себя постоять могли, а башкирам при старом-то положении вовсе туго приходилось. Немцы этим и пользовались. Потому у этой шахты в поселке больше башкиры да чуваши живут.

Эту шахту, конечно, теперь по-другому зовут. Вскорости после революции ей новое имя дали. При моих

это глазах было. Как сейчас помню. Собрались это перед началом работы. Ну, тут и говорят, какое бы новое имя придумать, чтобы немецкий этот Берлин без остатка покрыло. Тут и вышел на круг башкирец один — дедушко Ирхуша Телекаев. В недавних годах он помер, а тогда еще в силах был. Ну, все-таки старенький и видел плоховато, а руками дюжий. Все, понятно, удивились, как он к разговору вышел, подбадривают:

— Говори, дедушко Ирхуша! Сказывай, что придумал.

Старик и отвечает:

— Знаю такое слово. Оно все перекрыть может.

— Какое? — спрашивают.

— Большевик,— говорит,— такое слово будет.

Все, конечно, захлопали в ладоши.

— Правильно сказал, дедушко Ирхуша!

С той поры эту шахту и стали так звать. На прежнюю она, понятно, нисколько не походит. По-новому все устроено. Ну, да ладно. Не про это разговор. Про другого немца в голове держу.

Этот был на особу стать. Такой ворина, что другого, может, по всем землям не сыскать. Он все здешние заводы у казны украл и целую гору заглотил. И не подавился. Вот какой брюхан!

Так, сказывают, дело вышло. По нашим местам только и было заводчиков, что казна да Демидовы. Демидовы из кузнецов вышли. В заводском деле они понятие имели. Немцев им ни к чему, своим народом обходились. А при казенных заводах в ту пору немцев порядком сидело. Пособлять делу будто их навезли. Они, значит, и пособляли левой рукой из правого кармана. Может, и не все на одну колодку были, а все-таки дело у них не шло. От всех заводов казне убыток. Кому это поглянется? А тут еще Демидовы, как тесто на хорошей опаре, на глазах у всех подымались-богатели дальше некуда. Вот и пошел разговор, какую перемену сделать, чтоб казне от заводов тоже прибыль шла.

У немцев в ту пору при царице которой-то большая сила была. Как на собачью свадьбу их сбежалось, и все в чинах. Этот — генерал, другой — министр, а у третьего должность того выше — при царице вроде мужа ходит. Ну, и мелких большая стая. Вот и стали эти царицыны немцы поддувать: «Надо, дескать, из немецкой

земли такого умного добыть, чтоб он все дело о казенных заводах распутал».

Так и сделали. Привезли еще какого-то немца. Для начала ему всяких чинов надавали. Стал он называться обер-гер над горами голова, а на поверку вышел несусветный вор, ненасытно брюхо.

Привели этого немца к царице, нахваливают его всяко.

— Этот, дескать, может всякий убыток в прибыль обернуть.

Царица обрадовалась, говорит:

— Давно такого нам надо. Осмотри, сделай милость, казенные заводы и дай полное тому делу решение.

— Хорошо,— отвечает,— только надо сперва все до тонкости разобрать, а на это время потребуется.

— Об этом,— говорит царица,— не беспокойся. Жалованье положим подходящее, прогон генеральский. Поезди, погляди своими глазами.

Приехал этот немец в здешние места. Поразнюхал дело. А в те годы самый большой разговор был о горе Благодати. Какой-то, сказывают, охотник принес камешки с этой горы в наш город и показал горному начальству. Те видят — железная руда самого высокого сорту, живо нарядили знающих людей поглядеть на место. Оказалось,— вся гора из сплошной руды. Понятно, такое место сразу остолбили и за казну взяли. Вскорости завод тут строить стали. Вовсе по-хорошему.

Демидов, конечно, мимо этого дела не прошел, тоже руки к рудной горе протянул. Да еще что! На своих приспешников накинулся.

— Куда глядели? Почему охотника с рудой до начальства допустили?

Приспешникам что делать? Они, сказывают, взяли да и убили того охотника, чтоб напредки другие не смели мимо Демидова руду проносить. Одним словом, круто заварилось.

Тут еще один заводчик выискался. Как услышал про рудную гору, заявку подал:

— Допустите в долю! Это место мне давно ведомо. На него и метил, как свой завод ставил.

Немец из этого понял — большой кусок эта гора Благодать. Не стал больше по заводам трястись, сразу к царице уехал.

— Так и так,— говорит,— оглядел я все заводы и вижу — самое прибыльное эти заводы по рукам раздать. Без хлопот тогда будет. А мне за такой совет отдать гору Благодать. По крайности, тогда никакого спору не будет. Ну, и заводы, которые при горе строятся, мне же отдать причтется, чтоб из-за них беспокойства не случилось. Уж потружусь как-нибудь.

Остальные немцы, которые при этом разговоре случились, радуются, похваливают:

— Ай, малатец какой! Ай, малатец! Все сразу понималь.

Из русских бар тоже мошенников нашлось. Стали тому немцу поддувать:

— Мы де на это согласны. Можем любой завод за себя перевести, особливо ежели бесплатно, либо в долг на многие годы.

Царице и думать нечего. Да у ней только три слова грамоты и было: сослать да повесить, да быть по сему. Живо немцу бумажку нужным словом подмахнула.

С той поры вот все казенные заводы и расползлись по барским рукам, а немец тот — главный-то вор — больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались, да еще царица сделала его главным над всеми здешними заводами. Он и давай хапать, что углядит.

Другие, коим по заводу из казны попало, хоть в должниках числились, а этот как раз наоборот. Сам не платил, а новые долги делал и так ловко подводил, что все эти долги на казну переписывал. Я, дескать, тружусь, дураков ловлю да деньги из них вытягиваю, а казна пусть платит. Тогда и выйдет без обиды.

Мало этого показалось, так стал железо с казенных заводов, которое раньше было сделано, от себя продавать.

До той поры хозяйничал, пока та царица ноги не протянула. Тут, понятно, взяли кота поперек живота, а он отговаривается, дескать, человек немецкий и по здешним законам судить невозможно. Ну, говорят, сослали все-таки, а воровскую выдумку, чтоб казенные заводы по рукам расхватывать, не забросили. Это, видно, по душе пришлось.

Вот про этого старинного немца памятка по заводам и держится. Так и зовут его: обер-гор — главный вор,— гору проглотил и заводы у казны украл.

МАРКОВ КАМЕНЬ

У старых владельцев, у Турчаниновых-то, Петро да Марко в роду вперемежку ходили. Отец, например, Петро Маркыч, а сын Марко Петрович. У Демидовых тагильских, у тех опять Акинтий да Никита. Глянулось, видно. Мода такая была. Нонешнего барчонка, кой в лета не вошел, тоже, слышь-ко, Марком кличут. Ну, это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а все барин. Не к тому разговор, чтобы их имена разбирать.

А вот есть чуть не в самой середке нашей заводской дачи гора одна — Марков камень. Которые заводские и думают, что по Марку Турчанинову гора прозывается. Любил, дескать, который-нибудь туда на охоту ездить либо еще что. Ну, только это напрасно говорят. Там вовсе, может, ни один Турчанинов и не бывал. Шибко глухое место, в болотах кругом. Не барское дело по этим местам бродить. Ноги промочит, из носу закаплет. И добычи близко никакой нету, кроме как мягкой камень маленько ковыряют.

Название горы по другому Марку поставлено. Тайности тут нету. Побывальщину эту мне покойный дедушко сказывал. Он еще вовсе маленький был, когда случай тот вышел. Лет, поди, сто, а то и больше тому делу.

Была, слышь-ко, на заводах барыня Колтовская. Она тоже в девках-то Турчанинова была, а вышла замуж за какого-то генерала али там поручика — и стала Колтовская. Почто она в Сысерти жила — овдовела, али с мужем разошлась, про то мне неизвестно. Одно знаю — ни про одну старинную барыню у нас в заводах речей нет, а про эту Колтовчиху помнят. Оставила, значит,

следок. Которая девчонка или бабенка загуляла, про ту и говорят: «Колтовчиху покрасить хочет».

Она — эта Колтовчиха-то — до того к мужику жадная была, что удивленье просто. Господишек, конечно, коло ее, сколь хочешь. Известно, господское положение. Что им делать? Только этой барыне тех своих мужиков не хватало. Она и нашим братом, рабочим, который побаще да поскладнее, не брезговала. Нет-нет, из Сысерти слышок дойдет: взяла, дескать, барыня нового кучера, а старого отставила. А уж все знали, в чем тут загвоздка. Взяла и взяла. Дело подневольное, все-таки не в гору человека нарядили. Посмеются еще так-то, а то и не подумают, что это, может, похуже горы.

И вот приезжает эта барыня Колтовская к нам в Полевской завод. Как раз о празднике было дело. У нас на Петро-Павла, известно, гулянка. После службы церковной, почитай, весь завод на той вон горке, у старой плотинки, собирался. Сперва ребятишки бороться счунутся, потом и до мужиков дойдет. Лучше того не знали, как силой похвастаться. Ну, и барам это, видно, к руке шло. Жаловали хороших борцов и всяко нахваливали.

Которые в медной горе робили, шибко ровно худые были, а сила у них в руках и в ногах большая. Фабричным супротив их неохота неустойку оказать. А тоже у них, у фабричных-то, силка была.

Особо у кричных. У которого уж и грыжа от надсады, а подойди к нему, сунься!

Был в ту пору в кричной подмастерье один, Марком его звали. Чипуштанов ли как по фамилии, а прозвище было Береговик. Ох, и парень! Высокой, ловкой, из себя чистяк, а сила в нем медвежья. Даром что молодой, а уж который год круг уносил. Никто против него устоять не мог.

Гора, конечно, в обиде, что крична большину берет. Вот гора и сделала подвод — Онисима своего подставила. А тот Онисим у них, прямо сказать, урод в людях был. Мужик уж в годах и на грудь жаловался, а посмотреть на него страшно. Согнулся, ссутулился, а все печатна сажень, и руки чуть не до полу, как клешни, висят. Двадцать пять лет в горе выробил. Гора его сгрызть не могла. С этим Онисимом давно никто не боролся, да и сам он к этому не охотился. А тут подвели

дело. Как, значит, самолучшие борцы выходить стали, Онисим и выкатился. Ну, побросал, конечно, всех, как котят. Маркова очередь подошла. Крична и кричит:

— Невзачет Онисима! С этим зверем ни один человек не управится. Что его считать!

А гора свое:

— Струсили, жженопятики. Какие у вас борцы после этого!

Однем словом, перекор пошел. Тут Онисим и говорит:

— Выходи, Маркушко. Охота мне узнать, какая в тебе силка.

— Ну, что же, попытаем не то, дядя Онисим,— отвечает Марко.— Я бы супротив тебя не вышел, кабы не твоя охота.

Вот и вышел Марко-то. Борются у нас, известно, взамок. У кого, значит, спина не хрустнет да ноги выдюжат. Ну, и сноровка тоже требуется. Марко супротив Онисима пожиже кажется, а ведь одолел. Это Марко-то. Из трех разов только раз под Онисимом побывал, а два раза его бросил. Молодой все ж таки. Куда старому! Крична, конечно, радуется, а гора кричит:

— Неправильно боролись. Сызнова надо.— Пошумели, а до драки не дошло. Сам Онисим это дело утихомирил.

— Чего,— кричит,— зря гаметь. Правильно все было. Никакой фальши от Марка не видел. И больше я бороться не буду. Попытал — хватит. Немолодое мое дело этим забавляться.

Тем кончилось. Марко, значит, опять круг унес. Борцам выдали подарки: кому пояс, кому шапку, а Марку с Онисимом — по кафтану.

После этого пошли, конечно, в кабак. И Марка с собой ведут, а он, вишь, на вино воздержный парень был, да и молодой еще. Ему охота тут остаться, поглядеть, как девки-бабы хороводы поведут, поплясать с ними, песенок попеть. Ну, опять, как мужикам откажешь, раз круг унес?

Уважить надо. Пошел с ними, а сам кричит:

— Ты, Татьяна, не уходи. Сейчас оборочусь.— Это он своей бабе. Недавно, слышь-ко, женился. Только первый год жили. Ласковая такая ему бабочка попалась,

веселая. Они и миловались, прямо сказать, у людей на глазах. Другим бабам-девкам завидно было.

Не успели мужики до кабака дойти, подбежал барский казачок — Марка барыня требует. А она — барыня-то Колтовчиха — на круг из коляски своей глядела. Господишки, которые с ней из Сысерти приехали,— тут же. И приказчик тут, и все начальство заводское. Так и не пришлось Марку стаканчик пропустить. Подходит Марко к барыне, а она ему рубль серебряный подает.

— На-ко,— говорит,— молодец. Жалую тебя из своих барских рук.

Ну, Марко тоже знал, как ему поступать. Поклонился и говорит:

— Покорнейше благодарим, барыня. Рад стараться.

А барыня так в него глазами и впилась. Прямо сказать — стыда у бабы нисколечко. Всякому видно. Один Марко этого не понял и норовит потихонечку отойти. А барыня видит, что он отодвигается, и говорит:

— Подойди ближе, покажи руку.

Марко подошел, конечно, и руку показывает, ладонью кверху. Барыня засмеялась, да и говорит:

— Загни рукав! — Заскать, значит, ему велит рукав-от.

Марко так и сделал, а она хвать его за руку. Щупает, слышь-ко, как ровно лошадь смотрит. Господишки туда же тянутся, бормочут промеж себя не по-русскому. Марку, конечно, обидно, что его так оглядывают, а все ж таки виду не подает. Будто так и надо. Барыня велит ворот расстегнуть, грудь, плечо показать. Марко покраснел весь, зло его взяло, а все исполнил, как она требовала. Колтовчиха схватила его рукой за плечо, похлопывает потихоньку, лотошит с господишками-то, а о чем — не разберешь. Только и слышно слово какое-то. Вроде как Марку имя дает. Заводские наши бабешки, кои поближе стояли, зашушукали и над Татьяной уж насмешки строят:

— Твоего-то барыня в жеребцы выбрала. Кличку, слышь, ему новую придумала.

Татьяна — женщина молодая, совсем, сказать, девчонка. Сноровки у ней настоящей нет, как, значит, жить-то. Она возьми и зареви. Так голосом и завыла. Все одно как по покойнику.

— Ой, да что же это, девоньки, деется...

Марко услышал — ревет кто-то. Поглядел, а это Татьяна. И барыня углядела, спрашивает приказчика:

— Кто завыл?

Приказчик сказывает, что это маркова жена.

— Привести сюда,— говорит барыня.

Привели Татьяну, барыня и спрашивает:

— Ты о чем?

А та с простоты и ляпни:

— Бабы сказывают, будто Марка на конный берешь.

Барыня этак усмехнулась, да и говорит:

— Хорошо бабы придумали. На конном, и верно, конюхов надо помоложе да подюжее. Твоего, пожалуй, возьму.

Татьяна думает — и вправду это она сама барыню надоумила, хлоп ей в ноги:

— Помилуй, барыня-сударыня. Не вели у меня Марка брать. Первый годок с ним живем. Да и не умеет он у меня с конями-то.

— Он, гляжу, и с тобой управиться не умеет. Вишь, как ты язык распустила при госпоже своей. Обоих вас поучить надо,— говорит барыня и приказчику наказ дает: — Ты эту ко мне в горничные доставь. Завтра же с утра чтоб отправлена была. Вон она как щеки наела. Устиньюшка моя живо обобьет лишнее-то. А ты, молодец, что же жену свою не учишь? — спрашивает барыня у Марка.

Тот и без этого изорвался весь. То скраснеет, то побелеет. Стыдно ему перед народом, как его Колтовчиха оглядывала, за голое тело рукой хватала, а тут еще Татьяна сглупа насмех поставила. Так бы ровно весь свет расшиб. Он и хватил Татьяну-то по уху. Та так и покатилась. А бабешки, которые Татьяну подстраивали, сейчас заойкали:

— Ой, убил! Ой, убил! — Марко глядит,— и верно, лежит Татьяна белехонька, глаза закрыла и дыханья нет. А барыня на него же:

— Это еще что за нежности. Разбаловал бабенку. Ударить ее нельзя.

Тут Марко и не стерпел. Сгреб ее, барыню-то Колтовчиху, за волосья да как мякнет на землю. Только каблуки сбрякали. А он еще в рожу ей ногой-то. Ну,

тут суматоха поднялась. Господишки на Марка бросились, стражник шашку вытащил.

А барыня, знай, визжит:

— Живьем берите! Живьем берите!

Господам, конечно, не под силу экого человека живьем захватить. За пожарниками кинулись, а другие опять в кабак побежали за народом. Выбежали пожарники, а народ им наперерез бежит, и Онисим впереди всех. Заздыхался весь, а сам заплотиной машет. Сажени, поди, три заплотина-то.

— Разражу,— кричит,— кто Маркушку пальцем заденет!

Ну, господишки видят,— дело худое, наутек надо. Только один возьми да и пальни в Онисима. И ведь что ты думаешь? Попал, собачье мясо! В самую жилку угодил. Онисим сразу носом в землю и не встал больше. Экой могутный человек был. Гора его не сжевала, а от пульки сразу кончился.

Народ видит — Онисима убили, пуще того остервенился. За баринком-то тем, который в Онисима стрелял, в сугонь пошли. А тот на лошадь да по Сысертской дороге. Барыня и другие господишки туда же упалили, а приказчик да начальство разбежались. Ну, пожарникам, конечно, бока намяли. Двух вовсе до смерти благословили, а которых изувечили.

Не любил их народ, пожарников-то. Они, вишь, первые прихвостни у начальства были и народ в пожарной пороли. Их за это и помяли.

Через день либо через два суд-расправа в заводе началась. Городское начальство наехало, солдат пригнали. В первую голову стали Марка Береговика искать. Барыня тоже прикатила. Уж как только она ни старалась. И грозилась, и всяко людей улещала, чтоб показали, где Марка искать. Нет, ничего не вышло. Все в один голос говорят:

— Откуда нам знать? Убежал куда-то и Татьяну свою уволок.

Побились-побились так-то, ничего не узнали. С тем и уехали.

Ну, конечно, драли, кого доходя, а Марка с Татьяной в бега списали и по всем местам бумажку дали,— не поймают ли где, значит. А он, Марко-то, в нашей же даче и жил. Многие огневщики про это знали. Только

против народа боялись. Сами же, слышь-ко, оповестят Марка:

— На тебя облава собирается. Поберегись.

Марко с Татьяной перейдут куда-нибудь, а как облава кончится, опять на свое место воротятся. У них избушка в полугоре, у ключика, была срублена. Небольшая избушечка, вроде покосного балагашка.

Три зимы тут Марко выжил. Все ему охота было Колтовчиху где на дороге застукать. Только она тоже умная оказалась. После того случаю вовсе не стала никуда ездить. Когда в город случится, так с ней народу — как в поход какой. А в лес либо на пруду покататься, как раньше бывало, ни-ни. Она, видать, знала, что Марко ее подстерегал где-то недалеко. Корила всех:

— Неверные, дескать, вы слуги, беглых в лесах укрываете. Где у вас Марко Береговик? Кто его кормит?

Каждый, понятно, отговаривался, как умел, а многие знали.

Потом уж Марко с Татьяной ушли. У них, сказывали, ребеночек родился. Ну, где же с дитем в лесу жить. Хлопотно. Они и подались в Сибирь, на вольные земли.

Колтовчихе об этом сказывали, да она не поверила.

— Не заманите,— говорит,— меня в лес! — И тоже убралась куда-то с наших заводов.

Вот гора, где у Марка избушка стояла, и зовется — Марков камень.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Из года в год мы со своим школьным товарищем проводили начало летнего отпуска в деревне Воздвиженке. Как покончим с экзаменами, так сейчас же туда, чтоб успеть окунуться в прозрачную тишину горных озер вблизи Каслей, пока еще не налетели сюда шумливые люди с ружьями и суматошливыми собаками.

В Воздвиженке, на стекольном заводе, принадлежавшем тогда Злоказову, у моего товарища был дальний родственник, старик-одиночка Иван Никитич. Большую часть своей жизни он проработал столяром-модельщиком при цехе художественного литья в Каслях, но под старость, неожиданно для всех своих знакомых, переселился в Воздвиженку, где и работы по специальности не было. О своем переезде старик говорил:

— Не до смерти же мне чугунными игрушками забавляться, пора и около сурьезного дела походить. А сурьезнее кабацкого разве найдешь. Гляди-ко, начисто всех споить желают. На любую деревню по три кабака открыли. И мошенства такого, как здесь,— весь свет обойди,— не найдешь. Вот и любопытно на такое поближе поглядеть, на кабацких мастеров полюбоваться.

Потом, усмехнувшись, добавлял:

— Ну, и Синарское тут под боком, а оно мне любее всех наших озер пришлось.

Последнее, конечно, и было действительной причиной переселения. Но были и другие, о которых можно было догадываться.

У Ивана Никитича не задалась семейная жизнь. Жена, говорят, на редкость красавица, умерла совсем молодой, оставив двух дочерей. Дочери унаследовали редкую красоту матери и ее недуг. Чахоточные красавицы

дожили до совершеннолетия и одна за другой умерли, растревожив на всю жизнь не один десяток молодых людей, которых сильно тянуло к окнам дома Никитича.

Это семейное несчастье, видно, и заставило старика покинуть насиженное место в Каслях и уйти в созерцательную жизнь рыбака с удочкой. Раньше, говорят, Никитич к числу рыбаков вовсе не принадлежал.

Сам старик, однако, об этом никогда не говорил. Держался он весело, бодро и не любил, когда кто-нибудь называл его дедушкой.

— Какой я тебе дедушка. Я еще молодой. Того и гляди, женюсь. Вот только волосы на маковке отрастить осталось.

Говорилось это шутя, но все же с этим считались, и взрослые обычно звали кум Никитич, а молодежь — дядя Ваня.

Слабостью дяди Вани была его привязанность к «ученым из простого народу». Неважно, кто где учился: в фельдшерской школе или в Уральском горном училище, в учительской семинарии или в торговой школе, лишь бы учился и был «из простого звания». Таким Никитич готов был оказывать услуги, а кой-кому и денежную помощь. В его маленьком домике летом бывало немало городской учащейся молодежи. Стоило побывать раз, и ты получал право приехать «по знакомству» в любое время и располагаться у него, как дома, если даже хозяин был в отлучке. Ставилось лишь два условия. Старик не употреблял ничего спиртного и от посетителей требовал, «чтоб и духу этого в моем доме не было». Кто не удовлетворял этому условию, с тем Никитич «раззнакамливался» очень решительно и навсегда:

— Таких полон дом набить могу, да мне их не надо.

Второе требование было пустяковым: «Уходишь — ключ клади на место», то есть затыкай в щель, известную всей деревне,— около правого угла притолоки.

Таков был наш «знакомец» в Воздвиженке. Про дорогу от станции Полдневая тогда говорилось:

— Верхом либо пешком — сердцу радость, на колесе — кишкам надрыв.— Мы, конечно, предпочитали пешеходный способ. Он же лучше подходил и к нашим финансам. Ноги свои ничего не стоят, а коли еще и сапоги снять, то и вовсе дешевка. Поэтому мы не стали обольщаться явно провокационными обещаниями стан-

ционных ямщиков «домчать в один часик» и сразу направились к лесу. Там вырезали по хорошей вересовой палке, разулись, вскинули свой багаж вместе с сапогами на концы палок и зашагали по знакомой лесной дороге, богато вышитой фантастическими узорами высунувшихся из земли корней. Идти по такому узору было куда приятнее, чем ехать.

Сначала босые ноги чувствовали много острых углов и всяких шероховатостей, но скоро это прошло. На смену пришли другие ощущения: горячая ласка прогретого солнцем мелкого горного песка, освежающая влажность глины, теплота узорчатых ковриков конотопа на дороге и мягкий подстил белой кашки по обочинам. Доцветали ландыши и лесные орхидеи, во всю силу цвела земляника, по низинам виднелись кольца и петли глазастых незабудок, из сочной густой зелени взлетали петушки и курочки лесных лилий. И над всем этим густой настой горного соснового бора и неуловимая мелодия музыки вершин.

Здоровым заводским парням, просидевшим зиму за учебой, и в возрасте двадцати лет доступна еще радость бегать по траве босиком. Мы и козликовали до самого озера Иткуль. Красивое озеро вовсе разнежило. Даже высунувшаяся из воды серая громада Шайтан-камня в игре светотеней и блеске водной равнины кажется согретой. Как будто старый Шайтан только что окунулся каменным лицом в воду, по-стариковски добродушно усмехается и говорит:

— Ай-яй, тепло. Старым костям хорошо.

До того разнежил Иткуль, что совсем было собрались остаться здесь на ночь, но потом передумали: «Завтра праздничный день. Никитич наверняка будет свободен. Надо поторапливаться».

В Воздвиженку пришли как раз в то время, когда возвращалось с пастбища стадо коров. Старик Никитич оказался дома. Он стоял у шестка и подкладывал мелкие дровца под трехногий чугунок, в котором варилась уха.

— Вот и ладно — сразу к ушке,— обрадовался старик.— А я уж который день вас поджидаю. Пора, думаю, этим, а колокольцы не звенят. Едут, да другие, и все не ко мне.

— Да мы пешком, Иван Никитич.

— Не слепой, поди-ко. Вижу, что булашек искупать надо. В ограде под потоком в полубочье вода хорошая. Ополосните ноги-то, а я тем временем на стол соберу. Оголодали, поди, за зиму, стосковались по рыбке?

Когда мы, умывшись и ополоснув ноги, пришли в избу, старик спросил:

— Чуете, сколь хорошо стало? — Потом наставительно добавил: — А по колокольцам не тужите. Пеший человек больше видит, да и примета одна есть...

— Какая?

— А такая... Кто к колокольцам привык, тот уж не рыболов и не охотник. Не самостоятельный совсем в этом деле. Здешним вон хозяевам уток-то пальцем показывают и чуть рыбу на крючок не насаживают. Разве это охота?

Большая чашка густой, крепко поперченной ухи так быстро усохла, что Никитич спросил:

— Может, еще чугунок сварим? — Но мы отказались.— А коли сыты, так сейчас же спать. Часа через три разбужу.

Увидев, что мы вытаскиваем из дорожных сумок рыбацкие принадлежности, старик замахал руками.

— Ничего этого не надо. На всех у меня приготовлено, и окуней я уж подговорил. Хороших. Ваше дело только спать.

Следующий день, с восхода до заката, мы провели на озере. Погода была чудесная и клев хороший. По крайней мере таким он казался нам, хотя Никитич, видимо, не разделял этого взгляда.

— Молодь все идет. Не таких я подговаривал.

По этому случаю даже несколько раз меняли место остановки. Мы пользовались переездами, чтобы поплавать и понырять в хрустальной воде. Положение с клевом, однако, не изменялось. Везде он был сильный, даже излишне беспокойный, но шла мелочь.

— Поедем, нето, в дальнюю курейку. Не там ли мои окуни жируют? — решил Никитич, и наша лодка направилась в северо-западную часть озера. Здесь тоже не оказалось того руна, на какое рассчитывал попасть Никитич, зато место тут было исключительной красоты.

Синарское озеро в своей строгой оправе камня и соснового бора все-таки кажется довольно однообразным. И там, где каменная рама дает трещины, образуя зали-

вы, переходящие в долочки,— там лучшие места. Строгая красота сосновых колоннад здесь разнообразится кудрявой, шумливой зеленью ольховника, черемушника и прочей «кареньги», как зовут здесь этот вид чернолесья.

Сосны, одна другой краше и ровнее, дойдя до спуска в ложок, как будто нарочито подтянулись, почистились от нижних сучьев. На иглистом скользком подножии только черные точки расщеренных шишек да редкие перистые былинки. Зато ниже, в ложке, плетень зелени. Тут и рослая осока, и «пуховые палки», и круглоголовая желтянка, и ребристые листья папоротника. Кажется даже, что деревьям не легко пробиться сквозь этот густой ковер низинных трав. Смешались и звуки. К торжественному полнозвучному звуку ворона на лету, какой можно слышать только в сосновом бору, примешиваются посвистыванье иволги и писк пичужек, не видных в густой зелени. И это смешение звуков красиво в своей пестроте, как узор восточной ткани. Не всегда разберешь рисунок, а чувствуешь в нем бодрость и радость.

В этом красивом уголке и решили делать привал. Сначала, как водится, разожгли костер, варили уху, кипятили чай, купались, валялись по траве, а кончилось все это рассказом о жуткой были Синарского озера. Рассказчиком оказался Никитич, и, надо думать, неожиданно для себя. По крайней мере потом, когда один из нас хотел еще о чем-то спросить, старик откровенно сказал:

— Ой, парень, не береди. Не люблю этого разговору. Так уж это к случаю пришлось.

Дело началось с того, что кто-то из нас углядел на береговом камне не то рисунок, не то орнамент.

На отшлифованном водой ребре камня отчетливо виден был лишь двойной ободок совершенно правильной овальной формы, как будто сделанный по лекалу. В разных местах к овалу примыкал орнамент, образуя ручку и боковые украшения ручного зеркала. Все вместе давало рисунок озера как раз с того места, где был наш привал. В верхней половине ободка можно было прочитать французские слова. Было ли что-нибудь в нижней половине овала, разобрать нельзя,— так все смылось. Затейливый орнамент, красивое очертание букв и со-

вершенная форма овала — все это говорило, что рисунок и надпись сделаны опытной рукой гравера или художника.

— Иван Никитич, не знаешь, чей это рисунок?

— Где?

— Да вот здесь, на камне.

— Этого баловства у нас сколько хочешь. Который побывает, тот и наследит.

— Вырезано это!

— Вырежут, сделай одолженье! В Каслях-то при заводе чеканкой умеют орудовать. Что попросишь, то и сделают. На сходу недавно говорили, нельзя ли как сократить. Да разве углядишь. Мало ли на озере народу перебывает. А купцы вон нарочно нанимают, чтоб через камень про кого сплетню пустить, либо облаять.

— Да рисунок-то настоящий. Художником, видать, делан. А надпись по-французски.

— Художников при Каслинском заводе мало ли. Всяких языков люди бывали.

Выходило все рядовым, обыкновенным, не стоившим внимания. Тут же на камнях были и другие надписи, о которых так неодобрительно говорил Никитич. Инициалы в сердце, инициалы без сердца и прочая обывательская муть, переходившая порой в прямую мерзость.

Немного погодя Никитич, однако, спохватился.

— Постой. Где рисунок-то? По-французски, говоришь, написано? Уж не шарлова ли работа?

Поспешно подошел и стал рассматривать камень.

— По-русскому-то что будет? Надпись-то эта?

— Зеркало феи Севера. Фея у них вроде лесной богини.

— Так-так. Это он, стало быть, про наше озеро и про лешачиху.

Старик еще посмотрел на рисунок, провел пальцами по внутренней стороне ободка, как будто проверял правильность линии, и проговорил:

— Пожалуй, верно, что шарлова работа.

— Какой Шарлов?

— Да не Шарлов, а Шарло. Художник один был из французов. Убили его тут.

— Кто убил, за что?

— Давнее дело. В зотовскую еще пору было. Слыхали про Зотовых? Коли уж царь их сослал за лютость,

так ясно, какие были. Только Зотовы не одни лютовали. Кто-то им помогал. Слуги, значит, верные, зотовские псы.

Вот в это время и жил в Каслях художник Шарло. То ли он от французского нашествия остался, то ли нарочно его выписали, про то не знаю. Только работал он по-вольному и жалованье получал по договору. Был он, сказывают, еще молодой, красивый, только здоровья слабого, а по своему делу мастер. Одному-то молодому тоскливо, он и присмотрел себе девушку из наших каслинских. Ему бы первым делом надо было ее из крепости выкупить, да денег, видно, не лишка было, и порядков тогдашних не знал. А зотовские приспешники обнадежили:

— Пустое дело. Потом выкупишь.

Он и понадеялся на эти слова, да и женился. Зотовским это и надо. Только сперва виду не показали. Живет француз с молодой женой, по прежнему положению жалованье получает, никто их не тревожит. К году-то у них ребеночек родился. С ребенком мать и вовсе расцвела,— кровь с молоком стала. А француз ее одевал по-господски. Ну, она и вовсе заметная стала против других заводских женщин.

Тут у них беда и пришла. Углядел ее — шарлову-то жену — главный зотовский палач, подозвал и спрашивает:

— Ты чья?

Она уж попривыкла к жизни на воле, спокойненько отвечает: жена-де француза-художника. Палач и говорит:

— Ты вот что. Приходи-ка сегодня вечером ко мне. Прибраться надо вдовому человеку. Да, смотри, не забудь, а то велю силой привести.

Незадолго перед тем он, и верно, овдовел. Забил, сказывают, свою жену. Девушкам, которые попригожее, да и молодым мужним женам чистое горе: какую углядит, ту и тащит к себе. Ну, шарлова жена, конечно, не пошла, мужу сказала. Тот загорячился, к самому Зотову побежал жаловаться:

— Как он смеет — это палач-то моей жене такие слова говорить. Я с ней в церкви закон принял, дитя у нас есть.

Говорил по-нашему-то плохо. Только и можно было разобрать — закон да закон. Зотов слушал-слушал, но ничего. То ли нужен ему был этот художник Шарло, то ли стих добрый нашел. Погрозил только тростью, да и говорит:

— Вот тебе закон. Запомни хорошенько. Никакой у тебя жены нет, а поставлена для услуг крепостная девка. Будешь хорошо по своей работе стараться — пускай живет, а чуть неладно — отберу с ребенчишком вместе, потому как он тоже крепостной. А что в церкви тебя венчали, так это для потехи. Ты вовсе и веры не нашей, и женитьба твоя в книгах церковных не записана. Понял? А пока живи, никто тебя не заденет.

Шарло, конечно, приуныл, а сам думает,— не может того быть, чтоб жену с дитем от живого мужа отобрать. Взял да и написал какому-то своему знакомцу в Петербург, посоветоваться с ним хотел. Ну, у Зотова везде куплено было. Письмо это перехватили да Зотову в руки, хоть по-французски писано, а разобрали. Зотов сейчас же француза к себе потребовал, да и говорит:

— Сегодня вечером сведи свою девку приказчику. Ему теперь ее в услуженье передал, а ребенка можешь себе оставить.

Шарло хоть слабый человек, а тут заартачился, крик поднял. Его, понятно, на пожарну сволокли да так ухлестали, что он ни рукой, ни ногой. Потом за женой пришли. Жена у Шарла крепкая попалась, заводской корешок, не сразу ее обломаешь,— руками и ногами отбиваться стала. Ну, все-таки ее уволокли к приказчику — палачу-то этому, который всему делу заводчик оказался.

Как у них там с этим палачом было, не знаю. Совсем с той поры баба как в воду канула. Может, взаперти ее держали, голодом морили. Шарло между тем отлежался и сразу в бега пустился. Расчет имел до Питера добраться. А Зотову это, видно, сильно не с руки: все-таки чужестранный человек, как бы отвечать за него не пришлось. Зотов и велел обложить все леса и дороги. А Шарло далеко-то и не ушел. В лесу около этого озера жил. Любил он Синарское озеро. Раньше, когда еще беда не стряслась, часто сюда бегивал. Когда и с женой приезжал. Место тут знал хорошо, вот его и не могли найти. Говорили, что лешачиха глаза отводила, а может, просто кто и видел, да не видел. Худого людям Шарло

не делал, кто станет его выдавать. Так бы его и не нашли заводские ищейки, кабы он сам себя не оказал. Увидел своего обидчика, да и пальнул в него из пистолетика. Ну, а какой он стрелок. Палач живо подмял его, прикрутил веревками к дереву и скорей в Касли — Зотову сказать, что нашел беглого художника. Зотов сам поехал поглядеть, точно ли Шарло, не выдумывает ли палач, чтоб заботу отвести от себя. Приехали к месту, а там никого. Палач дивится.

— И впрямь,— говорит,— ему лешачиха помогает!

Ну, Зотов не из таких был, чтоб его лешачихой испугать, настрого наказал своему приспешнику:

— Ты лешачиху-то дуракам оставь, а мне подай Шарла, живого или мертвого, а так, чтоб я посмотреть на него мог. Не найдешь, самого запорю! Ищи хорошенько. Тут он, по всему видать. Да один-то, смотри, не рыскай по лесу и много людей тоже не бери, чтоб видоков лишних не было.

С этого дня палач с двумя объездчиками и охотился на Шарла, как на зверя. Уследили-таки, поймали. Опять приехал сам Зотов, поглядел и дал приказ кончить так, чтоб узнать человека нельзя было.

Вскоре по заводу и деревням разговор прошел, что на берегу Синарского нашли неизвестного убитого человека. Следствие приехало, народ согнали,— не признает ли кто убитого? А как признать, коли все лицо в лепешку разбито и одежи никакой. По волосам, говорят, признать можно было. Заметные они были,— срыжа-черные. Да разве кто скажет? Боялись, поди-ко.

Кончилось это дело, а тут оба объездчика, которые с палачом Шарла выслеживали, потерялись. Их сильно и не искали. Видно, большой надобности в них не было. Объявили их беглыми, послали, куда надо, разыскные бумажки, только и всего. Ну, а потом и главного зотовского палача не стало. Не стало и не стало, и следов нет. Зотов тогда опять велел весь лес и дороги обыскать, Потом и по озерам с неводами пошли. Из нашего Синарского всех троих и вытащили. По разным местам с камнями спущены оказались.

Объездчики, видать, убиты нежданным нападом: один ножом в спину против самого сердца, другой — пулей в затылок. Ну, а у этого доверенного зотовского палача по-другому. Лицо у него не задето. Сразу при-

знать можно. Зато на спине живого места не осталось. Видно, что прутьями его забивали, и не один либо двое, а навалом хлестали. Кто это сделал конец зотовскому палачу, так и не дознались, за всех ответила шарлова жена. Ее Зотов велел тут, у Синарского, намертво кнутьями бить.

— Сказывай,— кричит,— кого подговаривала?

А кого она могла подговаривать, коли запертой сидела. С той поры, как ее от мужа увели, она, может, и людей-то посторонних не видала... Как тень, сказывают, стала.

Не выдержала, конечно, женщина, умерла, а девчоночку ихнюю добрые люди воспитали. Выросла она, замуж за нашего заводского вышла, да недолго прожила, и тоже девчоночку после себя оставила. Моей-то покойной жене эта шарлова дочь бабкой доводилась. От жены я и слыхал эту побывальщину. Песенку моя покойница певала про Шарла-то, как он на чужой стороне через любовь пострадал. Жалостливые такие слова, нежные, только я их забыл...

Домой возвращались по потемкам. Зеркало уральской феи под луной отливало холодным, мертвенным блеском. Пугали неожиданные всплески крупной рыбы. В них, в этих всплесках, чудились отголоски той звериной жизни, о которой только что рассказывал старый Никитич. Так же вот взметнулась щука, и не стало веселой серебряной рыбки —неведомого французского художника, от которого осталось лишь имя Шарль, и то переделанное на Шарло.

Обратную дорогу молчали. Только Никитич, отвечая, видимо, на свои мысли, проговорил:

— Недолговекие они... Кровь слабая...

ТЯЖЕЛАЯ ВИТУШКА

Это про мою-то витушку? Как я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно, от отцов? Посмеяться, гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники. А ведь было. Вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось. Иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору... Чуть с головой не умыл. Где все помнить!

С воли это, слышь-ко, началось.

Ее — волю эту — у нас на прииске начальство прикрыть хотело. По деревням разговор прошел, а мы и слыхом не слыхали. Только та заметка и была, что в завод на побывку отпускать не стали. Хоть того нужнее человеку,— один ответ — нельзя. И пришлых на прииск принимать не стали.

Что, думаем, за притча? Раньше сколь хочешь со стороны брали, а теперь не надо? И нас что-то крепко держат?

А прииск в глухом месте был. Под Васькиной горой в лесу. Давно тот прииск бросили. Там, сказывали, не то дикой огонь, не то синюха объявилась. Это уж не знаю. Дикому огню по здешним местам ровно бы не должно быть, а синюха — это бывает. Ну, не в том дело... Прикрыли, говорю, тот прииск под Васькиной горой, а тогда бойко работали, и золотишко шло вовсе ладно. Народу, конечно, порядком нагнано было, и все из наших заводских. Вот приисковско начальство, видно, и думало:

«Откуда им узнать, коли никого домой не отпущать и со стороны народ не брать. Пусть-ко по-старому работают. Нам так-то привычнее».

Только разве народ не дойдет? Узнали и зашумели:

— Как так? Всем воля, а нам нет.

Начальство нашло отговорку:

— В церквах,— говорят,— волю читают, а у нас где? У бочки, что ли?

Кабака, вишь, настоящего на прииске не было, а винну бочку казна держала. Заботилась, значит, как бы кто копейку домой не унес. У этой винной бочки, конечно, всякого бывало... На то и намекали. Насмех повернуть им охота пришла. Только народу какой смех. Шумят, таку беду, кричат:

— Читай сейчас, а то все с прииска уйдем в завод волю слушать.

Начальству делать нечего — притащили бумагу, давай вычитывать. Да разве поймешь у них, что нагорожено? Дознаваться стали, что да как? Про пашню первым делом, про леса, про пески тоже — как с ними? Начальство и говорит — пашни по нашим местам взять неоткуда, леса и пески за владельцем, а за избы свои да за огородишки вам платить причтется.

Так и удумано было, только никто тому не поверил.

Я тогда уж мужик вовсе на возрасте был, а про волю-то услышал, шумлю больше всех.

— Мошенство, — кричу, — это! Не может такого быть! Айда, ребята, в Полеву! Там разберем, как надо. Что этих слушать-то!

Другие тоже не молчат. Приисковский смотритель — ох, язва был, а ласкобай! — тогда и говорит:

— Ваше дело, ребятушки, ваше дело. Вольные вы теперь. Куда захотели — туда и пошли. Нас не обессудьте — обратно принимать не станем. Дружкам своим тоже весточку подадим, чтобы остерегались вас на работу брать. Мы ведь тоже, поди-ко, вольные —не всякого примать станем, а кого нам любо. В этом не обессудьте!

Это он, конечно, с хитростью так-то говорил. По закону другое выходило. Заводская земля, поди-ко, не навовсе барам отдавалась, а по условию, чтоб, значит, всякому заводскому жителю какая ни на есть заводская работа была предоставлена. Только разве кто про эту штуку знал по тому времени? Вот смотритель и припугнул — работы, дескать, давать не будем, чем тогда жить станете?

Тут иные посмякли, а кто помоложе да погорячее — на своем остались: ушли с прииска. И я в том числе.

Пришли домой и первым делом про волю спрашивать стали. Ну, нам и обсказали:

— Эта, дескать, царская воля, как напримерно, у человека на голове плешь,— блестит, а уколупнуть нечего.

Мы видим — верно, вроде того выходит. Все ж таки испировали маленько. «Хоть,— думаем,— спина не так отвечать будет». Того и не смекнули, что брюхо погонит, так заневолю спину подставишь.

Пропились, конечно, до крошки, а кусать всякому надо. Что делать, коли у тебя ни скота, ни живота, а ремесло одно — землю перебуторивать.

Мне это смолоду досталось. В ваши-то годы я вон там на Гумешках руду разбирал. Порядок такой был — чуть в какой семье парнишко от земли подымается, так его и гонят на Гумешки.

— Самое, сказывают, ребячье дело камешки разбирать. Заместо игры!

Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:

— Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.

Счастье мое, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата, молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки — это вместо пряников считалось, а под плеть ни разу не подводили. И за то им спасибо.

Еще подрос —дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные.

— Поиграй-ко, позабавься!

И довольно я позабавился. Медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В Гумешках-то дух такой был — поначалу будто сластит, а глотнешь — продыхнуть не можешь. Ну, как от серянки. Там, вишь, серы-то много в руде было. От этого духу да от игрушек у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал руднишное начальство упрашивать:

— Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди —умрет, а двадцати трех ему нету.

С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять.

Тут, дескать, привольно. Дождичком вымочит — солнышком высушит, а солнышка не случится — тоже не развалится.

В наших местах, известно, руду вразнос добывают, сверху берут. Так-то человеку вольготнее, только мне не часто это приходилось. Больше в землю же загоняли. Такая, видно, моя доля пришлась.

— Ты,— говорят,— к этому привычный. На Гумешках вон сколь глубоко, а здесь что. Самая по тебе работа.

Так я всю жизнь в земле и скребся, как крот какой. Ну, в этом деле понимать стал, а больше-то и нет ничего. Вот и думаю: «Некуда мне податься, кроме как в землю».

Только приисковому смотрителю тоже покориться неохота —на старое-то место идти, а в гору и вовсе желанья нет. С молодых лет наигрался там, да гляжу,— и другие из горы повыскакали. Куда вовсе несвышно лезут, лишь бы не в гору. Вот она какая сладкая была! Никому неохота туда по воле спуститься. Выработка-то сразу убавилась. Зовут туда, заработок обещают получше, а люди в сторону глядят.

Потом один по одному собираться стали на Гумешки и в гору полезли. Сказывают —еще там хуже стало, потому —вода силу взяла. В откачке-то, видишь, большая остановка случилась, ну, вода и взяла волю. Только на заработок не жалуются. Против других-то мест вовсе ладно приходится. Иной в кабаке и прихвастнет. Сыпнет на стойку пятаков, да и приговаривает:

— Хоть из мокрого места добыты, а денежки сухонькие да звонкие!

Гумешки, известно, для барского кармана самым прибыльным местом считались. Их и старались сохранить. Всяко туда народ заманивали и на плату не скупились.

Ну, я все-таки крепился.

— Нахлебался сладкого. Не пойду в гору, хоть золотом осыпь! Не пойду и не пойду!

И жена меня к этому не понуждала, попутные слова говорила:

— Не ребятишки у нас. Без горы проживем как-нибудь.

Только говорить-то это легко, а как поесть нечего, так всякому невесело станет. Продержал этак-то с месяц, вижу — вовсе туго пришлось: работы никакой, и куска нет. Что делать? Либо поклониться приисковскому смотрителю, от которого ушел, либо — в гору спускаться. Думал-думал, на то решился:

— Пойду в гору.

Тут и навернулся ко мне кособродский один, Максимко Зюзев. Дружок не дружок, а знакомец. Случалось, в одном месте рабатывали. Тоже мужик вовсе возрастной, седой волос пускать стал. Ну, те разговоры, други разговоры, потом он и говорит:

— Давай-ко, Василий, станем на себя стараться. Не вспучишь их — казну-то! А нам, может, фартнет. Струментишко нехитрый. Не обробим себя — и то не беда. Попытаем, давай!

Понимал я, к чему это гласит. Про меня, вишь, люди-то говорили — этот, дескать, сроду в земле роется, знает, что где положено. То, видно, Зюзева и заохотило со мной искать. Подумал-подумал я, да и говорю:

— Ладно, нето. Попытаем, в котором месте наш фарт лежит.

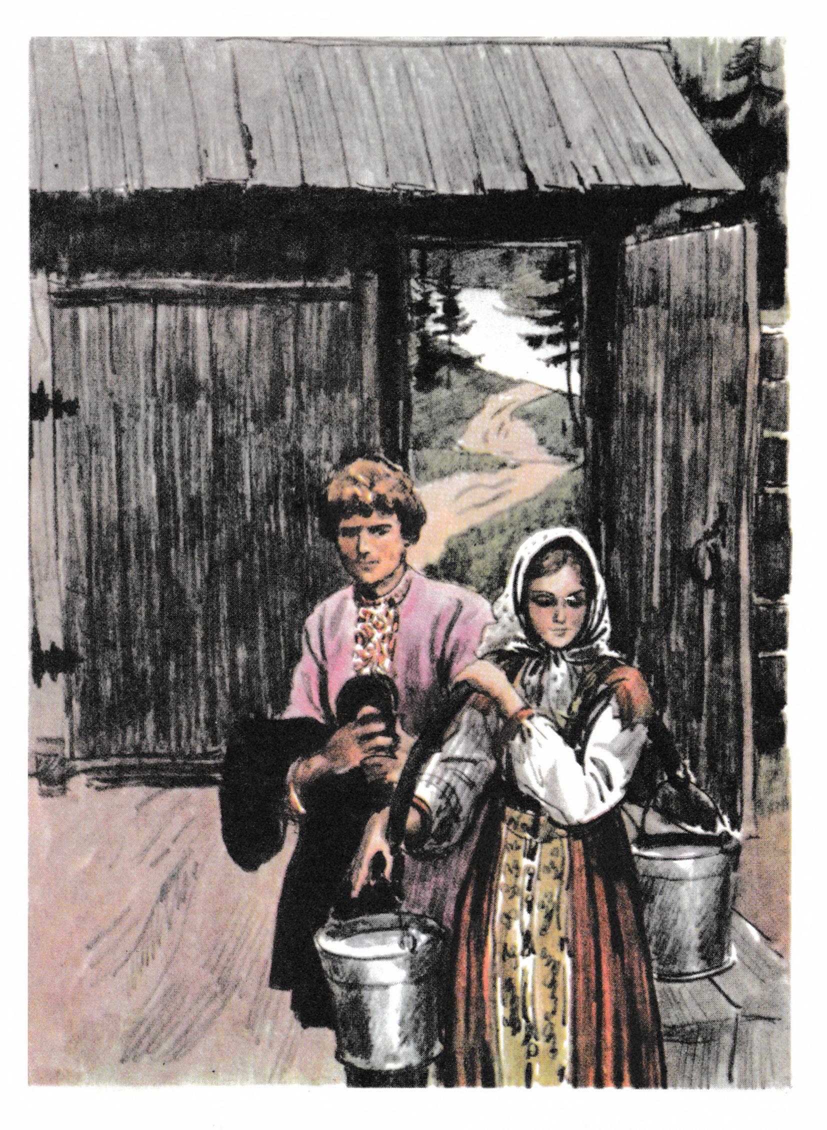
Указал, конечно, местичко, заявку в конторе сделали, стали дудку бить. Песок пошел подходящий... Вовсе биться можно, даром что в контору за самый пустяк золото сдавали. Только Зюзеву все мало. Он, вишь, из скоробогатых. Покажи ему место, чтобы сразу разбогатеть. Я ему сперва по совести:

— Это, мол, и есть доброе место. Надо только не все золото конторе сдавать, а часть купцам. Тогда и вовсе ладно будет.

Зюзев про это и слышать не хочет,— боится. Да еще дался ему какой-то серебряный олень. Все меня спрашивает — не видал ли? Он будто ходит близко, видели его люди. Там вот и надо копать, где тот олень ходил. Я уговаривал Максимка не один раз:

— Какой олень по нашим местам? Тут только козлы да сохаты.

Максимко все ж таки мне не верит, думает,— не сказываю. А я всамделе оленя за пустяк считал. На змею, на ту надеялся маленько, на иней тоже. Примечал змеиные гнезда, места тоже, на коих иней не держится. Это было, а на оленя вовсе не надеялся. На этом мы и



«Далевое глядельце»



«ШИРОКОЕ ПЛЕЧО»

разъехались. Максимко свое кричит, я свое. Рассорка вышла. Тут он меня и укорил:

— Мой хлеб ешь!

Я не стерпел, конечно:

— Как твой, коли с утра до ночи в земле колочусь.

Он и давай высчитывать, и все на кривой аршин. Сколь мы от конторы за золото получили — от половины отперся, а сколь мне давал — то вдвое выросло. Плюнул я тут:

— Оставайся, лавка с товаром!

Взял лопату и пошел, а он кричит, всяко хает мое место: — Часу не останусь! Кому нужно пустое место!

Тогда я и говорю:

— Коли так, сам тут останусь.

Максимко давай надо мной смеяться:

— Чем ты без меня держаться будешь? Свое-то я сейчас увезу. Других дураков, кои бы тебя кормить стали, не найдешь. Всем скажу, какое тут богатство. Сиди один на голой-то дудке.

«Погоди,— думаю,— кошкин сын, докажу я тебе!»

Пришел домой, побегал по своим дружкам, перехватил того-другого и говорю жене:

— Собирайся на прииск. Подымать будешь.

Нонешняя-то старуха у меня другая. Так уж, для домашности ее взял, а тогда у меня жена настоящая была. Смолоду женился, вместе горе мыкали. Славная она у меня была и в рудничном деле бывалая.

— Ладно,— отвечает.

Пришли мы к дудке, а Максимко вовсе ее оголил. Скажи, жердник был... я же и рубил... Так он и этот жердник уволок. Подивился я, до чего вредный человечишко. Ну, наладил мало-мало. Стали ковыряться. Промыли — ладно. А Максимко наславил, видно, что пустое место. Оленя своего искать стал. Наше место и обегают. Двоем с женой тут и скребся. Нам это на руку. Да еще из-за этого Максимка укрепился я — в кабак ни ногой. Покориться-то было неохота, что единого дня не продержусь. И место новенькое нашел, куда золотишко сдавать.

Орлёным-то, слышь-ко, ястребкам, кои тайной продажей промышляли, с опаской сдавать приходилось. Они понимали сорт. Углядят — ладно мужик несет, сами на то место заявку сделают, либо обрежут со всех

сторон, а то и вовсе выживут. Вот я и нашел нового купца. Шибко он жадный был, а сил настоящих еще не было. Кабак, конечно, содержал — тесть у него там сидел — при доме амбар со всякой мелочью, тут же и мясом торговал и по ярмаркам ездил. Однем словом, свет бы захватил, кабы руки подольше. К этому купцу я и стал понашивать. Он понимал, как золото от припою отличить, а настояще сорт понять где же! Привычку на это надо иметь и глаз не такой. Тут нутряной глаз требуется, который в нутро глядит, а у этого купца верховой глаз — во все стороны. Где такому сорт золота узнать! Да и побаивался он.

— Ты,— говорит,— Василий, не скажи кому, что мне золото сдаешь. Не привык я к этому. Сибирью такие дела пахнут.

Про то не сказывал, чем барыши пахли, а, видать, неплохо. Разохотило его. Никогда отказу не было, и в цене без большой прижимки, и расчет без мошенства. Это все мне подходило,— сдавал ему помаленьку. Так бы, может, мы с женой и вовсе жителями стали, не хуже других век прожили, да тут эта витушка и подвернулась.

Как сейчас помню. Накануне Здвиженья было. Баба кричит мне в дудку:

— Будет тебе, Василий. Праздник, поди-ко, завтра. Прибраться надо. Пойдем домой поскорее.

Песок у меня вовсе крепкий, чисто камень. Намахался я и думаю: «Верно, хватит...» Размахнулся для последнего разу покрепче, а кайло-то у меня и задержалось,— как под камень попало. Вышатывать стал — не выходит. Рванул во всю силу на себя, мне в праву ногу и стукнуло, да так, что хоть криком кричи. Как отошла маленько боль, я и полюбопытствовал — что за камень такой? Взял в руку. Мать ты моя! Золото. Как вот витушка праздничная, только против хлебной много тяжелее. Сверху вроде завитками вышло, а исподка гладкая, только чутешные опупышки на ней, как рукой оглажены. Сколь его тут?

Про ногу сразу забыл. Кричу: «Подымай, Маринша!» Она, не того слова, вымахнула, а я вовсе как дурак стал. Смеюсь это да давай-ка ее обнимать — это жену-то!

Она спрашивает.

— Что ты, Алексеич?

Я тогда и показал:

— Гляди!

— Ну, что? Вижу — камень какой-то...

— Держи!

Она думала — небольшой камешок, не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка и, даром что кругом лес, шепотом спросила:

— Неуж золото?

— Оно,— говорю.

Смывку песку делать не стали. Домой скорее.

И вот диво,— бежим, всю дорогу оглядываемся, будто мы что украли. Прибежали домой. Запрятал я витушечку, наказываю Марине:

— Гляди, не сболтни кому!

Она обратно меня уговаривает:

— В кабак не зайди ненароком, пока золото не сдал.

В контору такую штуку нести и думать нечего. Еще отберут! А уж место захватят — про то и говорить не осталось. Вечерком и пошел я к своему-то купцу. Будто мяска для праздника купить. Улучил минутку, говорю — дело есть.

— Обожди,— говорит,— маленько. Скоро амбар прикрою.

Вот ладно. Отошел покупатель, запер купец двери и говорит:

— Ну, давай.

Это и раньше бывало,— в амбаре-то сдавать. У него, вишь, весов-то настоящих не было, а кислоту да царску водку на полке открыто держал, будто для торговли. Просто тогда с этим было, кому доходя продавали. Я и говорю:

— Запри-ко ты и в ограду двери.

— Зря,— отвечает,— беспокоишься. Из своих никто не зайдет,— не велено, а чужих не пустят.

А я свое:

— Запри все ж таки.

Он тогда и забеспокоился:

— Уж не узнал ли кто, зачем ты ко мне ходишь? Может, сказал кому?

— Про это,— говорю,— не думай. Никому и в мысли не падет, зачем к тебе хожу. Только много у меня.

— Это,— отвечает,— не беда, что много. Лишь бы не мало. Сколь хочешь приму.— Двери, однако, запер в ограду-то.— Ну,— говорит,— кажи!

Взял я тут для случаю топор с мясной колодки, подал ему свою витушку в тряпице:

— Ну-ка, прикинь сперва это.

Он — купец: по руке-то сразу почуял,— тяжело.

Спрашивает:

— Что это у тебя?

— Прикинь,— говорю.

Бросил он на ходовые весы. Вывешал, как следует, говорит:

— Восемнадцать с малым походом.

— Вот и бери.

— Что брать-то? Где оно у тебя?

— А в тряпице-то...

— Восемнадцать фунтов?

— Сам вешал. Коли силы не хватит, в контору снесу.

Это про контору-то я так, для хитрости, помянул. С чего бы я туда потащил? Развернул мой купец тряпицу, давай витушку кислотой да царской водкой пробовать. Ну, золото и золото. Тут,— гляжу,— в пот купца бросило. Так с носу и закапало, а молчит, только на меня уставился. Потом и говорит:

— Поди, сверху только золото-то?

Вишь, какое понятие у него! В самородке, думал, середка чугунная. Ну, не дурак ли? Я ему растолковываю, что вот опупышки-то и есть самородная печать, а он, видать, не верит. Отговорку нашел:

— Эко-то место мне не откупить. Денег не хватит. Разрубить придется. Не в контору же тебе сдавать.

Уговаривает, значит, меня. Я и сам вижу — без этого не обойдется, а жалко рубить-то. Ну, все ж таки взял витушку да тут же на мясной колодке и обрубил крайчики. Купец опять давай пробовать. Тут уж, видно, настояще уверился, побежал в дом за деньгами. Прибежал со шкатулкой, а самого так и трясет. Боится, видно, и жадность одолела. Тоже ему кусок. Не знаю, почем они сдавали, а мне этот купец на рубль дороже против конторского платил.

Вывешал купец на ходовых весах середину особо, крайчики особо. Выгреб из шкатулки, из-за пазухи вы-

воротил пачки бумажек покрупнее. Ну, выручку в это же место... На крайчики денег довольно, а ему серединку купить охота. Она потяжелее вышла.

— Поверь,— говорит,— в долг. Через день, много через два, отдам.

Ну, объясняю, конечно, что в таких делах долгов не бывает. Тогда он и говорит:

— Пойдем ко мне, посиди маленько. В кабак за выручкой сбегаю,— и подвигает ко мне деньги-то. Сосчитал я. Вижу,— ладно будто, пустяка не хватает. Подождать можно. Как у купца видел, тоже крупные-то деньги за пазуху забил, а помельче в карман, крайчики в сапог спрятал. Пошли мы с купцом в дом, а там,— гляжу,— угощенье выставлено. Хозяйка, таку беду, суетится, хлопочет.

Убежал купец в кабак, а она ко мне и подъезжает:

— Выкушай, гостенек! Не почванься на моей хлеб-соли. Не изготовилась, как следует. Не ждала гостя.

А чего не изготовилась — полон стол наставлено. Ну, я креплюсь, конечно,— не пью вина. Так ей и сказал:

— При деньгах. Нельзя мне.

Она это вьется всяко да наговаривает:

— Красненького хоть, нето, выпей,— и подает мне в руку стаканчик. Так небольшой стаканчик, с половину чайного.— Я,— говорит,— и сама этого-то выпью,— и наливает себе такой же стаканчик.

«Что,— думаю,— мне с одного сделается? Неуж перед женщиной неустойку покажу?» Взял да и хлебнул.

Ох, и вино! Такого отродясь пить не доводилось. Крепкое будто да густое, а дух от него: век бы нюхал. Потом я узнал — ром называется. Шибко мне поглянулось, а бабенка эта — купчиха-то — уж успела, другой стаканчик налила. Я и другой хватил, а дальше, известно,— полетели мелки пташечки...

Все ж таки я тогда убрался от купца. Деньги и крайчики в целости донес домой. Вместо додачи, за которой купец в кабак бегал, мешок гостинцев приволок. Еды там всякой, жене шаль, конечно, и протча тако. И тут же, слышь-ко, ромку этого бутылок пять либо шесть. Купчиха-то, вишь, удобрилась, говорит мужу:

— Поглянулось человеку — что нам жалеть? Отдай ему, Платоша, все. Из города потом привезешь.

Купец рад стараться:

— Да я... ему-то? неуж пожалею... Пущай на здоровье выкушает стаканчик и супружницу свою попотчует. Не пивала, поди, она такого вина? Попотчуй ее, не забудь! Я тебе еще привезу. Так привезу... не за деньги!.. Для хорошего человека мне не жалко... Попотчуй жену-то, не скупись.

Пришел я домой, показал Марине кучу денег, захоронил крайчики и давай жену потчевать. Она сперва отнекивалась — крепко будто, потом похваливать стала — какой дух баской!

Пьяные-то мы зашумели, конечно. Песни запели, пляска на нас нашла. Знакомцы разные понабились. Видят — фартнуло, поздравлять стали:

— Со счастливой находочкой.

Ну, припили, приели, что дома было, в кабак пошли. А купец этот тестя в амбар — сам за стойку и всяко мне сноровляет. Приятелей у меня тут объявилось — ни пройти, ни проехать. И покатилось колеско по гладенькой дорожке. Бабенки появились, прилипать ко мне стали. Маринушке моей это обидно, конечно... Она тогда на ромок налегать стала. Купец и ей угождает и так, слышь-ко, втравил, что и от простого не стала отворачиваться. На две-то руки у нас и пошла работа, а купец, знай, обсчитывает да обсчитывает.

Проспимся когда, себя потешим:

— Крайчики у нас остались.

Только и крайчики, даром что с рванинкой были, тоже, как по маслу, в купецкий карман ушли. Чисто мы отработались.

Это бы ничего, да то худо — захворала моя Маринушка. От жизни-то этой худой. Помаялась маленько, да и умерла. Схоронил ее, потужил, погоревал — и на прииск. Куда больше-то?

На том месте, где мы нашли эту перепеченную витушку, Максимко Зюзев со всей родней. Место-то, вишь, на него было писано. Он и припал тут. Не стал, видно, за оленем своим бегать. Раздобрел — фу-ты, ну-ты! Шапка с бантом, сапоги с рантом! В Косом Броду сыновьям дома поставил. По воротам бляшки набил. Знай наших! Однем словом, разбогател.

Поглядел я, поглядел, да и пошел на Бесштанку. Там у меня тоже было примечено. Охочих со мной старать-

ся — хоть колом отбивайся. Думаю — не попаду ли опять на витушку, а то и на целый калач.

Только, видно, не испекли больше про меня. Так, золотишко нахаживал... Себе и людям хватало... А чтоб такую же дурь выколупнуть — этого больше не случалось.

Может, оно и лучше. Хоть свой век доживу да с горки на людей погляжу, а то где бы дотянуть! Наш старательский фарт ведь что? Сперва человек с перепою опухнет, а там, глядишь, и ноги протянет.

Так-то... Думали мы с женой — счастье нашли, а оно в беду ей перекинулось. Подвели люди. Ну, и меня поучили. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье уходит...

Вон те дома да каменные лавки Барышевские на нашей с Маринушкой доле и поставлены. Вовремя мне тогда Барышиха стаканчик поддодонила. Сумела, змея. Этим стаканчиком посейчас меня люди дразнят. А мне что? Дурость, конечно, а все ж таки пропил — не украл. И свое — не чужое.

Вот бы их — купцов-то — спросили, как они меня пьяного обворовывали, как жену покойницу к могиле толкали. А ведь спросят по времени. Еще как спросят-то! Тогда, поди, и наша с Мариной витушечка в счет пойдет.

Ну, что? Не шибко, гляжу, вам смешно? Веселее бы сказал, да мало такого видал.

ПРО «ВОДОЛАЗОВ»

По Зауралью, в пределах бывшего Камышловского, Шадринского и частью Ирбитского уездов, имело хождение слово «водолаз» в применении к служителям культа. Во фронтовой обстановке 1918 года мне как-то пришлось слышать историческое обоснование такого необычного употребления слова. Давалось это в форме сказки. Рассказывал старик-доброволец, сколько помню, из деревни Байновой, близ Каменского завода, в бывшем Камышловском уезде.

Мне не удалось проверить, была ли эта сказка «творимой легендой» — личным художественным вымыслом рассказчика,— или имела уже широкое распространение. Но эта сказка мне показалась очень интересной, как правдивая характеристика сущности крестьянского восстания, известного в истории Урала под именем «картофельного бунта 1842 года».

Здесь исторически неверно показан лишь пермский губернатор, который, по материалам, был менее виновен, чем министр Киселев и чиновники казенной палаты, почему-то проводившие на местах идиотское требование министра о посадке картофеля. Эта историческая неточность, однако, не меняет дела: сущность событий дается в сказке гораздо отчетливее и правдивее, чем у многих «специальных исследователей этого вопроса».

Пытаюсь передать сказку в стиле рассказчика, фамилию которого забыл.

Была это у царя гулянка как-то. Пир, стало быть, царский.

Собрались на том пиру министры да генералы, князья да графья, сенаторы да митрополиты. Самое что ни есть высшее начальство.

И случилось на тот пир пермскому губернатору както попасть. Он хоть по губернии самый большой начальник, а при царе пташка махонька.

Шустрый, однако, губернатор был. По царским палатам, ровно куличок по берегу, взад да вперед побегивает. Все ему подслушать охота, о чем царь с большими начальниками говорит. Нельзя ли какую выгоду себе от этого получить?

После обеда, как обыкновенно, князья да графья с девками-бабами плясать пошли, а царь со своими министрами да сенаторами в карты играть сел. Ну, и митрополиты, конечно, тут же.

За картами к слову один министр и похвалил картошку: хорошо-де ее ноне повар сготовил! Царь на это и говорит:

— Это ты, господин министр, пустяк разговариваешь. С утиным жиром всяк бы картошку ел. Ты другое соображай. Картошка — хлебу замена. Вот что! При наших недородах как бы нам картошка сгодилась, а мы все еще по-настоящему развести ее не можем. Мне вон на днях племянница — королева немецкая — сказывала, будто там, в немецких то есть землях, над нами смехом смеются: не умеют-де картошку развести. Куда это годно? —я тебя спрашиваю.

Министр, который картошкой заведывал, завертелся туда-сюда.

— Стараемся,— говорит,— ваше царское величество, да народ у нас темный, своей пользы не видит. Попов вон какую прорву содержим, а нет того, чтобы про картошку поученье сказать. Вот бы митрополитам за это взяться, тогда дело другое.

Один митрополит только рот разинул слово сказать, да видит: царь вовсе разворчался.

— Это,— говорит,— я каждодень по сколь раз слышу. Перекоры-то ваши. Только и умеете один на другого валить. Да вот еще заладили: темной да темной. Не просвещать же мне его! Чуете, чем это пахнет? А ты мне так сделай, чтобы он темной и остался, а в голодовки хоть картошкой да брюхо набивал. Иначе может недобор солдатам случиться. Тогда что? Как вы это разумеете? Какой дельный совет дать можете?

Тут один министр — он, видать, смекалистее других был — и говорит:

— Я вот так бы рассудил. Пущай господин министр — это который по картофельному-то делу — указик небольшой напишет. По всей форме, на манер манифесту, за вашим царским подписом и с казенной гербовой печатью. В том указе надо объявить, чтобы в каждой волости не менее десятины общественной картошки было посажено. Которые мужики сверх того расстараются, таким давать семена за казенный счет, либо по самой низкой цене. Митрополиты пущай по своим поповским полкам обращение дадут, чтобы тоже задарма хлеб не ели, а старались насчет картошки. В осенях проверить, где как поступили, и старателям дать каку-нибудь поблажку. Ну, медальку бронзову повесить, лист похвальный, либо еще что. А губернатору, у коего окажется по губернии больше всех картошки, я бы самой высокой награды не пожалел. Вот если так-то зря мужиков напужать да поманить богатых наградами, так у вас годика через три картошки-то будет завались.

Царь даже удивился.

— Не знал,— говорит,— что ты такой умный,— рассудил все до тонкости. Очень даже превосходно. Быть по сему,— и кулаком по столу ахнул, аж подсвечники заскакали. Потом картофельному министру и наказал:

— Ты мне к утрему заготовь указик, как он говорил, по полной форме. Да наперед ему покажи. Пущай проверит хорошенько, чтобы не напутать чего, а потом подай мне подмахнуть. А вы, митрополиты, состряпайте каку-нибудь штуковинку из священных слов. Да позаковыристее, чтобы мужик вздыхал, а бабы слезами уливались. Вас этому не учить. Только пошевеливайтесь. А то, я знаю, зады-то вы насидели, еле ворочаете. Завтра у меня чтоб эту свою бумажку разослать! Ко мне с ей уж не лезьте. Не разумею я в ваших славянских словах, по французскому да немецкому меня обучали.

Пермский губернатор в это время за царскими креслами стоял и весь разговор от слова до слова слышал. Как только царский пир кончился, губернатор на тройку — да скорее домой. В Пермь. Гнал, конечно, по-губернаторски, ямщиков да лошадей не жалел. Однако до Перми дорога не ближняя. Губернатор и обмозговал, как ему ловчее всех остальных губернаторов обставить и себе царскую награду за картошку получить.

Так он рассудил. Пермски, осински да охански при большой реке живут. Тут всяких пришлых много. Сфальшивить никак нельзя. Живо раскумекают, и конфуз может выйти. Екатеринбургский, тагильский, кунгурский — там опять заводов много. Мастеровщина, народ дошлый, отчаянный. Чуть что — могут бунт сделать. Верхотурский, соликамский и ладно бы, да земли у них мало и места холодные. А вот шадринский, камышловский да ирбитский в самый раз. Земля у них есть, живут на усторонье, грамотных, окромя попа да писаря, по всей волости не найдешь. Что угодно им напиши, все сойдет.

Вот губернатор и надумал в те уезды — в наш-то край — царску грамоту вовсе не допущать, а послать свою бумажку и в той бумажке по-другому прописать. Потом-де, как осенью картошку считать будут, кому дело, в каком уезде она росла, лишь бы по моей губернии.

Вот ладно. Приехал домой, согнал со всего города переписчиков и велел им по всем волостям в наш край бумаги писать. Тоже будто по форме сделал: по царскому-де велению, по синодскому благословению приказываем вам картошку садить в обязательном порядке по осьминнику на каждый двор. И семена чтобы свои были. Кто не посадит, тот будет в полном ответе, вплоть до каторжного, а которые мужики постараются больше указанного посадить, тем награда будет. Ведь что стервец выдумал!

Пришла, значит, эта бумага в волости. Вычитали ее мужикам, те только руками охлопали: «Как так? Откуда столь картошки взять на семена? Кто даст?»

Оно и то смекнуть надо. Это по нонешним временам — и то по осьминнику на двор никогда не посадить, а тут где же? Картошку только-только разводить стали. У богатых мужиков и то ее маленько было, а у бедняков разве что на поглядку. Сумление тут наших отцов и взяло. Не может того быть, чтобы царь такой манифест написал. Писаря это взятки вымогают. Ну, что делать? Пошли к попам: вы-де грамотны, объясните. А попы на ту пору бумажку от митрополита получили и в один голос запели: «Иван Креститель в пустыне картошкой питался, пресвята богородица картошку завсегда садила, Христос с малых лет огороды копал. Сади, пра-

вославны, картошку, на земле от нее польза, на том свете награда».

Мужики им, конечно, объясняют, попам-то: «Не про то разговор — садить али не садить. Всяк бы от картошки не отказался да где семена взять на целый осьминник? Нет ли тут подмены царского манифесту? Немысленное дело столь картошки на семена добыть».

А попы заладили свое: «Аки да паки, сади, братья, картошку: на земле польза, на небеси спасение».

Ну, старики видят: дело фальшивое. Не иначе попы с писарями сговор сделали и бумага подложная. А был у них служивый какой-то. Он еще на француза ходил и все страны сквозь прошел. Старики к нему: солдат дело разберет. Бутылку, конечно, на стол: «Научи, сделай милость!» Солдат-от уж вовсе старенький был, однако водки хлебнул и обсказал нам дело.

— Завсегда,— говорит,— царски манифесты золотыми буквами пишутся. На манифесте царское имя ставится — Александр либо Николай, а сбоку палка. Чтобы помнили, значит, что царь. Снизу, опять печать сургучна на шнурочке подвешена. Попы-де беспременно должны каждый царский манифест знать. Потому эти манифесты по церквам хранятся, под самым престолом. А если попы не показывают,— значит, бумага фальшива. Их, попов-то, испытать надо. А испытание тоже умеючи делать. Бить али там за волосья таскать никак не годится. Потому у их сан препятствует. И надо их чистой водой испытывать. Спущать, например, в колодец, а еще лучше того прорубить на реке две проруби да на вожжах из одной в другу и продергивать. Продернуть и спросить: «Покажешь бумагу?» Ну, который не согласен, опять продернуть. Покажут тогда!

Нашим старикам эти речи справедливы показались. И то сказать: где взять картошки на целый осьминник? Немысленное дело! Вот они, старики-то наши, сговорились по деревням, сграбастали своих попов и повели их к речке испытывать. Ну, где речки маленьки, там в колодцах.

Вот с той поры у нас попов водолазами и зовут. Поучили все-таки их старики, как подо льдом нырять. Не всякий живой остался. Захлебнулись которые.

Ну, а стариков наших сам царь отблагодарил. Нагнали солдат с пушками и давай всякого хватать да пороть.

Потом уже разбирать стали: смутьянов, дескать, подавайте; а где их возьмешь, коли поголовно все выполнить губернаторскую выдумку не могли? Тогда и присудили каждого десятого выпороть, сквозь строй прогнать. Многие от этой прогулки в землю ушли, а губернатор, который всю эту штуку настряпал, сам теперь старался, чтоб поблажки кому не сделали. Награду за это получил, как за усмирение бунта. Вдолге уж распознали, в чем главная причина и кто ее заводчик. Ну, тогда губернатора в сохранное место взяли — в сенаторы перевели, а попы на наших же стариков сплели, будто они такие дураки были, что картошку садить за грех почитали.

Оно, конечно, по кержацким местам, может, и были такие разговоры, только это к нашим старикам не подходит. Под заводами жили, табачишко не то что покуривали, а и в ноздри набивали, с чего бы они картошки испужались! Брехня это, чтоб дурость свою прикрыть. Известно, начальство не любило в дураках ходить, вот и придумали, будто мужики по темноте своей бунтовали, а начальство старалось, как бы им лучше сделать,— учило картошку садить. Запретили все-таки дразнить поркой тех, кои пострадали да живы остались.

ИОНЫЧЕВА ТРОПА

Сам видишь: я еще небольно остарел. Никто из нашей бригады не пожалуется, что по работе от молодых отстаю. Ну, все-таки старую жизнь не понаслышке знаю, не из книжек про нее вычитал, сам испытал. На владельческой фабрике не один год работал. Перед призывом у прокатного стана уже стоял. Настоящий, значит, рабочий, не подсобник какой. В старой армии до унтер-офицера на младшем окладе дослужился. Что еще надо? Самый, выходит, старинный человек, если от теперешнего считать. Молодые любопытствуют, спрашивают меня о том, о другом: как оно было? Мне, понятно, не жаль рассказать. Язык не купленный и надсады не знает. Говорю им по чести, как помню, а не понимают с короткого слова. О всяком пустяке им надо без пропуску говорить, вроде того, как раньше нам старики про давние заводские дела рассказывали. В том только разница, что старики в случае и тайную силу подтягивали себе на подмогу: она, дескать, сделала, либо научила, либо убрала с дороги. Нам, известно, тайная сила — не помощница: никто ей не поверит. На одно надежда: так рассказать, чтоб, как говорится, всякая пуговичка на виду была.

Подумаешь, так оно и правильно. Годов хоть немного от старого житья прошло, да густые они, эти годы. Ох, густые! Иной один, поди, за десяток ответит, а их недавно уж тридцать один отсчитали. Старое-то, в котором ты еще сам жил, вовсе далеко отодвинулось. Порой вспомнишь что, так сам посомневаешься: неужели так было? Не мудрено, что молодой, который старого не видел, не все о нем понимает, а когда и не верит. Вот я и стал по порядку сказывать, чтоб, значит, все до точ-

ки. Сперва сбивался, конечно, на скорый разговор, так вопросами, как тыном, загородят, еле выберешься. А теперь понавык. В самый тот день, как путевку сюда, в дом отдыха, получить, рассказывал об одном оружейнике, так ничего, сразу будто поняли, вопросами не зноздили. Да вот лучше послушай. Все едино, до обеда не больше как с полчаса осталось. Что в них, в тридцать-то минуток, сделаешь! А это, может, тебе и пригодится.

Случилось это в гражданскую войну. Тогда оно нам маленько забавным показалось, а теперь, задним числом, по-другому понимаешь. Ну, да что забегать. Сам, поди увидишь, куда тропа выведет.

В нашем заводе, накосых от родительского дома, жил токарь. Забыл его фамилию. Нето Потеряев, нето Потопаев. У нас, видишь, такие прозванья по заводу в обычае. Потеряевы, Полетаевы, Полежаевы, Подшибаевы, Потопаевы, Потоскуевы — они и путаются в памяти. Звали этого токаря всегда по отчеству — Ионыч, а малолетки — дедушка Ионыч. И до того это врезалось, что и семейных так же кликали: Ионычева жена, Ионычевы дочери, Ионычевы зятевья. Тогда уж он пожилой был, своих внуков имел, только другой фамилии, потому как сыновей не было, а одни дочери. С малой-то, Варюткой, я перед призывом в переглядки играл, сватать собирался, да тятя покойный не допустил.

— Не дури-ка,— говорит,— не придумывай, чего не надо. Себе в солдатах лишнее беспокойство наживешь, и ей в солдатках горе мыкать придется. Сходишь в военную, тогда и женись. Останется, поди, невеста и на твою долю.

Послушался я родителя, да и с Варей мы уговорились, что подождет она. Только моя военная надолго затянулась. Чуть не полных тринадцать годиков с винтовкой не расставался. Когда вернулся с гражданской, так у Варвары ребята уж в школе учились. Да что об этом вспоминать, коли речь не о моей судьбе, а об Ионыче!

По своему делу он считался в первостатейных мастерах и зарабатывал против других подходяще. Ходил чистенько. Бороды не носил, зато усы были на редкость богатые, с большим навесом, а брови густые, с вискирями посредине. Кто в первый раз увидит, сразу подумает: старого характеру человек... В житье был аккурат-

ный. Даже по самым большим праздникам никто его пьяным не видал. Табачишко только жег нещадно. Как ни увидишь, всегда у него трубка в зубах. В домашнее хозяйство свое не вникал. Жена, конечно, огородишко вела, корову держала, а он к этому безо внимания. Сено и дрова у них всегда с купли. Другие, кто работал в механической, принимали на дому разную мелкую работу по слесарной либо токарной части, а Ионыч наотрез отказывался:

— Надоело мне это и в механической.

А сам, между прочим, без дела не сидел. Как придет с работы, поест, запалит свою трубочку и сейчас же к станку. Был у него простенький, вроде тех, с каким точильщики ходят. Колодка тоже с тисками да наковаленкой стояла, и инструмент в полном наборе. Что Ионыч целыми днями делал,— этого не знали. Многие любопытствовали, да он либо отмалчивался, либо оттакивался: так, малое дело. Через семейных тоже не узнаешь, потому одни женщины, а они, по старому положению, никогда к техническому делу не касались. Один раз только это выглянуло маленько. Сделал Ионыч своему внучонку игрушку, что не то что маленькие, а и большие со всей улицы ходили ее поглядеть. Мне тоже случилось ее видеть. Верно, игрушка занятная. Таких и по нынешнему времени еще не делают, либо мне видеть не доводилось.

Сидит будто небольшой жучок, и крылышки сложены. Тонко сделан. Не отличишь от живого. Никакой кнопки либо завода не видно, а нажми на спинку — жучок выскользнет у тебя из-под пальца, зажужжит, расправит крылышками и полетит. Не больше, как с поларшина, а все-таки полетит.

Заказчики, которым было дело до Ионыча, корили его потом за эту игрушку:

— На ребячью забаву, так у тебя досуг есть, а когда по делу просишь, так нос на сторону! И денег тебе не надо. Лишние, видно?

— А это,— отвечает,— по-разному считают: одному рубль дороже всего, другому — выдумка. Нам с тобой и перекоряться не о чем. Рубль при тебе, выдумка при мне. Оба при своих — о чем говорить?

— Мудришь ты, Ионыч! Как смолоду чудачил, так и по старости выкомариваешь. Пора бы и честь знать!

— Что поделаешь! Не чугун — в переплав не пустишь. Такой уж вышел. Не обессудь!

Про чудачества Ионыча так рассказывали.

Смолоду, как он уж хорошим токарем стал, придумал идти на какой-то Абаканский завод. Далеко где-то. Не то в Томской, не то в Красноярской губернии по старому счету. Железной дороги в Сибирь тогда и в помине не было. В этакую даль приходилось по тракту пробираться. Дело не шуточное. Домашние, да и те, кто по работе рядом с Ионычем стояли, давай отговаривать. Отец даже грозил:

— Прокляну! Наследства лишу!

Ионыч уперся. Говорит отцу:

— Воля твоя. А наследства как меня лишить, коли оно у меня в руках?

Так и не послушался, ушел. Годов через пять воротился и опять в механическую поступил. Его спрашивают насчет Абакана: как там да что? Скупенько он на это ответил:

— Зря ноги ломал. То же самое у них, что у вас. Даже хуже.

И больше от него ничего не добились. Потом, через много лет, как он уже давно семейным был, придумал переселиться в Новый завод. Его опять отговаривали, советовали:

— Сходи ты лучше на неделю, на две. Недалеко же тут. Поглядишь, тогда и решай, стоит ли переселяться.

Ионыча, однако, своротить не могли.

— Проходкой-то,— говорит,— пройдешь, ничего не разберешь. Всякое дело надо вприсест глядеть: пожить, поработать, потому дело у меня — не в бирюльки играть.

— Какое,— спрашивают,— у тебя там дело?

Ионыч от этого отворачивает:

— Раз дело не сделано, так что о нем говорить.

Переселился-таки. Ненадолго на этот раз. С год, не больше, там прожил. Как воротился, только и сказал:

— Какой там завод! Старым железом брякают, абы прокормиться. Вперед вовсе не глядят. Нестоящее дело. Много хуже здешнего.

Заводское начальство косилось на эти Ионычевы отлучки, а все-таки беспрекословно принимало его обратно в механическую. Руки, видишь, золотые, и к политике

у Ионыча никакой приверженности не было, а в те годы это начальству всего дороже было.

В 1905 году в нашем заводе была большая забастовка. Четыре с половиной месяца тянулась. Не больно легко это рабочим досталось. Ионыч в ту пору от народа не отшатился, тоже работу вместе со всеми бросил, а на сходки, которые в то время часто бывали, не ходил. Пробовали его выбрать в делегаты от механической, так руками и ногами уперся.

— Увольте! Не могу, не умею, не по моей части.

А когда забастовка кончилась, ворчал:

— Шуму до потолка, а толку на два вершка. Выжали пятак — и осталось все так; спину гни и на то не гляди, куда хозяин твою работу раструсит.

Когда Февральская революция началась, Ионыч, видно, не больно этому поверил — у себя в углу отсиживался. После Октябрьской, когда у владельца завод отобрали, зашевеливался, стал на собрания ходить, сам заговорил. В рабочем комитете часто советовал то, либо другое по заводскому делу. Недолго все-таки. Распорядок тогдашний ему не по нраву пришелся,— Ионыч опять и забился в свой угол так, что не вызовешь. Этаким сычом в дупле и просидел до гражданской войны. К тому времени я домой ненадолго заходил и своими глазами видел, как дальше с Ионычем вышло.

В заводе, конечно, отряд Красной гвардии был. В него я и поступил с первого дня приезду, а вскоре и командиром стал. Меня, видишь, по заводу знали по старой работе в прокате и то посчитали, что в армии за шесть-то лет военному делу научился. Вот и доверили.

Про то, как мы сперва работали, рассказывать не стану, но вот пришлось нашему заводскому отряду отступать. В числе других звали с собой Ионыча.

— Пойдем, а то худого дождешься. Все-таки ты коренной рабочий: тебе с нами держаться надо.

— Бестолковщины,— отвечает,— у вас много. Не верю я, что толк будет, да и старый я. Какой из меня вояка выйдет!..

Тут, понятно, разноголосица пошла. Одни корили Ионыча: «Контра ты, коли от своих сторонишься», другие грозили: «Пропишут тебе колчаковцы свою грамоту на спине!» Были и такие, что вовсе строго поворачива-

ли: «Что с таким разговаривать! Расстреливать предателей надо!»

Ионыч на все это одно отвечает:

— Делайте, как знаете, а я не пойду.

Так и остался. Сначала о нем иной раз и вспоминали, а потом, как рассыпался наш заводской отряд по ротам Красной Армии, кому до Ионыча дело? Вовсе о нем забыли.

О фронтовых наших делах много говорить не приходится. Всякий знает, что на уральском фронте дела шли из рук вон плохо. Климент Ефремович Ворошилов в своей статье разъяснил, из-за чего это вышло. Штаб был слабый, линия фронта растянута, тыл не обеспечен, надежных резервов не было, а снабжение названо отвратительным. Про нашу 29 дивизию в статье особо сказано, что она пять суток без куска хлеба отбивалась.

Нам, которые на передней линии были, не все это тогда было видно, но что резервов не имелось, мы хорошо знали, потому пятый месяц из боев не выходили. Худое снабжение тоже всяк видел: разуты, оборвались, патронов самым малым счетом, снаряды вроде гостинца к большому празднику, а продовольствие — колючий пряник. Задолго до голодных-то дней нам стали выдавать по осьмушке фунта овсяного хлеба. Пятьдесят, значит, грамм. Вот и весь дневной рацион. Сейчас вспомнишь этот кусочек, который остями во все стороны расщерился, так не верится, что на нем месяцами держались. Ну, а у тех, у колчаковцев-то, совсем наоборот. Сыты они, обуты, одеты, оружия и патронов без отказа. Пособников иноземных у них, сам знаешь, много было. Из Англии, из Америки, из Японии им везли.

Понятно, что нам туго приходилось. Вдобавок зима выдалась ранняя, с глубокими снегами и крепкими морозами. Прямо сказать, погибель. По деревням, через которые отступать приходилось, кулаки зашевелились, зашипели, радуются: «Конец красным пришел!» Кто послабее духом, те, случалось, и отставали. Только были и такие, кто в эти трудные дни к нам приходил. Из молодых больше. Из стариков только те, у кого дети с нами были. Из-за этого и боялись оставаться.

И вот... Как сейчас это вижу... Задержались мы в одной маленькой деревеньке за Бисертским заводом.

Накануне колчаковцы наседали на нас, да мы отбились. И ловко это вышло! Стреляли, видишь, из-за укрытия и урону порядком нанесли, а у самих только одного задело, да и то пустяковое ранение. Колчаковцы откатились, и нам весело стало: хоть малая, а победа. К тому же и погода помягчала. С вечера снег с ветром, а к утру ровный посыпался, и тепло стало. В сторожевом охранении куда вольготнее держаться, а посматривать надо в оба: под такой-то снеговой сеткой враг может незаметно подобраться. Проверил я посты и пришел в избу, которая у нас штабной считалась. Только пристроился отдохнуть, наказываю своему помощнику, а я тогда этими остатками роты командовал:

— Поглядывай! Того и жди — полезут. Да пулемет до поры чтоб не показывали!

Тут мне говорят:

— Товарищ командир! На линии задержали старика. Чудной какой-то. Не в себе будто. Болтает про наследство, а может, прикидывается. Поспрошай его сам: не подосланный ли.

Привели старика. Усатый такой. Шапка хорошая, валенки тоже, а одежда — обдергайчик легонький, какие под шубу надевают. Пригляделся — Ионыч это. А он меня, вижу, не признал. Да и не мудрено, потому как я в ту пору сильно бородой оброс. Некогда да и нечем скосить ее было. Начинаю спрашивать, как полагается: что за человек, из какой местности, чем занимается, каким путем пришел... Ионыч рассказывает о себе, что я и сам знаю. Говорит по чести.

— Почему,— спрашиваю,— одежонка такая легонькая и как ты в ней такую дальнюю дорогу прошел?

— Шубу,— отвечает,— в той деревне оставил, с которой воюете. Пришел вечор туда, забрался в одну избушку, а там одни женщины. Стал полегоньку спрашивать, как да что. Желал узнать, далеко ли вы. Женщины мне рассказали, что весь день стрельба была в таком-то месте, а к вечеру здешние воротились. Не могли, видно, одолеть ваших. Только это разузнал, в избу вошли двое и, не говоря худого слова, поволокли к своему начальству. Тот давай меня выспрашивать, что твое же дело, кто, откуда? Я ему сказался мотовилихинским рабочим. Ходил, дескать, своих навестить, а теперь домой пробираюсь. Начальник на это и говорит: «Скоро

Пермь возьмем, тогда и разберемся, а пока отведите под караул». Привели в избу, а там шестеро этаких арестованных. Как дело вовсе к ночи пошло, караульный говорит: «Выходи, кому надо, только верхнюю одежду сними. Ночью выпускать не буду». Я и вышел с другими. Без шубы, конечно. А ночь темная, снег, да его еще подвивает. В двух шагах человека не увидишь. Я и решил,— попытаю свое счастье, коли и загину, так к своим ближе. Ну и ушел. Слышал, стреляли в белый свет. Всю ночь пропутался, а утром к вам и вышел. Продрог, конечно, а как видишь, живой.

Слушаю это и думаю: на правду походит. Потом спрашиваю:

— К нам зачем тебе?

— Желаю,— отвечает,— предаться советской власти.

— Как это?

— А так, чтоб душой и телом ей служить, Что знаю, что умею, что выдумал, чтоб все ей и никому больше.

Тут я не выдержал, говорю:

— Давно пора, дядя Ионыч.

Он это воззрился на меня, признал, конечно, и говорит:

— На это и надеялся, что до своих дойду.

Дальше у нас пошел простой разговор.

— Добили,— говорю,— видно, тебя колчаковцы, что кинулся советскую власть искать?

— Нет,— отвечает,— меня не задели пока, а подбираться стали, да еще кто! Помнишь, перед самой-то войной наш завод какой-то компании перешел? Сперва думали, большая перемена будет, а вышло незаметно. Приехал только один новый. По-нашему говорил плохо, а все-таки понять можно. И прозванье у него чужестранное. Хитсом вроде. В синей рубахе ходил. Сам, поди, видел?

— Видать,— отвечаю,— не доводилось, а слыхать слыхал.

— Хитсом этот тогда многим нашим заводским против своего-то начальства поглянулся. Обходительный, видишь, не барничает и в техническом деле понятие имеет. Это я по своему делу заметил. У меня, видишь, пристроена была к станку одна штучка. Небольшое облегченье давала. Заводское начальство сколько раз ми-

мо проходило, ни один не заметил, а этот углядел и давай доспрашиваться: «Откуда взял? Давно ли? Какая польза?» С той поры, как придет в механическую, непременно ко мне подбежит, поздоровается и спросит:

— Есть какой нови?

Да еще моду взял кликать меня по-своему: мистер Енч.

Молодые ребята из механической это подхватили и давай меня этак навеличивать. Пришлось с ними посурьезному поговорить:

— Что, дескать, такое? Коли чужестранный человек коверкает наше слово, так ему это в большую вину не поставишь, а вы куда за ним скачете? Какой я вам мистер, коли по токарному делу мастер и вам в дедушки гожусь? И прозванье у меня русское, понятное. Какое ваше право его поворачивать на отрыжку после кислого квасу?

Усовестил-таки, урезонил — перестали.

Так вот этот Хитсом теперь опять на заводе появился. Ну, одет по-другому, и с ним больше десятка других людей. Которые в военной форме, которые в вольной одежде. Ходят по заводу, досматривают. Где какой непорядок заметят,— доискиваются, кто отвечать должен, а вечером, глядишь, колчаковские солдаты идут в те семьи и ответчиков уводят, а коли их дома не окажется, начинают семейных донимать. Тут и слепому ясно, кто у нас новый хозяин, кому колчаковцы служат. Надо, думаю, уходить к своим. Неважные, слышно, у них дела, а все-таки здесь оставаться негоже. Только это обдумал, а Хитсом и подкатил. Один приехал, без сподручных. Лебезит, будто знакомого нашел. Посидел с полчаса, поругал большевиков, что они завод разорили, похвалился, что скоро с ними покончат, и завод опять в порядок придет, а потом и закинул слово:

— Ви умейт летяши жук сделать?

«Вот,— думаю,— заглот какой! И про игрушку разнюхал, и ее подавай!» А сам отговариваюсь:

— Было это раз. Смастерил своему внуку забавку, да он давно ее потерял.

Поглядел на меня Хитсом волчьим глазом, потом спохватился, видно, давай опять ласково допытывать, кто, дескать, раз сделал, тому нехитро и другой раз это

же сделать. Вынимает бумажник и достает деньги в задаток, а я, понятно, отказываюсь.

— Не в моем обычае деньги вперед брать... Мне неизвестно, выйдет ли, потому руки огрубели. Все-таки постараюсь, только не больно скоро.

Тут он давай рядиться о времени. Неделю я все-таки вырядил. А как выполз этот хитрый сом из моей избы, я в тот же день отправил старуху в Черемховку, будто гостить к Варваре, сам ворота на замок, ключ соседу отдал да по потемкам в город. Оттуда подъехал с товарным, пока не сняли, а дальше пешком пробирался. Не больно гладкая дорога оказалась, а все-таки добрался.

Весь этот разговор при людях шел. Некоторые спрашивать стали:

— Скажи, дедушка, о каком это наследстве говорил, когда тебя задержали?

А я прибавил:

— И про Абакан тоже.

— С него,— отвечает,— и начинать придется, потому с тех мест моя тропа пошла.

Тут Ионыч подумал маленько и стал рассказывать.

— С молодых лет я стою у станка. Тоже думаю, поди, о чем-то. Игрушка, за которой Хитсом потянулся,— пустяк. Немало и полезного по работе в голову приходит. А скажи — дадут тебе за это лишний рубль, а хозяину барыш пойдет. Какая мне от того радость? Выдумка ведь не даром далась. Тут слух прошел, что на Абакане старый казенный завод рабочая артель за себя перевела. Вот, думаю, где рабочую выдумку можно складывать. Сила будет. Не обидно в этот сундук и свое кровное отдать. Ну и пошел, а на деле не так оказалось. Завод старый, бросовый. Казна хотела вовсе его закрыть, да тамошние рабочие отстояли: сами, дескать, поддержим и поработаем еще. С первых же годов артель оказалась в долгу у купца Дуняхина, а тут песня известная: рабочие стараются, а купец раздувается. Плюнул я на эту дуняхинскую веру, воротился домой, оженился, а покою мне нет. Донимает меня: как быть с рабочей выдумкой. Ведь всякий, если он по-настоящему в свое дело вникает, непременно придумает, как его сделать легче, скорее и лучше. Сколько такой выдумки! А куда она уходит?

Чаще это все за грош хозяину дарят, а он с нее рублями собирает. Бывает, конечно, что выдумку сыновьям либо другим наследникам по родству передают. В этих рассыпных наследниках тоже толку немного. Редко, видишь, сын по отцу пойдет, а когда и лучше окажется, так, может, маленько о другом думает. Глядишь, выдумка либо затеряется, либо в тот же хозяйский карман попадет. Выходит, так плохо и этак не лучше.

Вот я и ждал, не откроется ли где настоящий артельный завод, чтоб рабочую выдумку не в хозяйский карман совать и не по родне рассыпать, а в одном месте держать и дальше растить. Прослышал про артель в Новом заводе, туда переселился, да вышло хуже Абакана. Тазы, да ведра, да мелочь разная. Заводом даже не пахнет.

Когда наш завод за рабочими объявили, обрадовался. Думаю, дождался-таки. Ну, духу не хватило. Испугался бестолковщины, а того не подумал, что поначалу всегда так бывает, а потом обойдется. Когда наши с завода уходили, меня с собой звали, а я, дурная голова, и тут отперся: стар, мол, для военного дела.

Ну, хитрый сом, который из-за моря в наш завод хозяином приплыл, меня и образумил. Понял, что завод, о каком у меня думка была, не пирог из печки на стол поставить: его надо самим сообща поднимать да сперва еще место для него накрепко огородить. А то живо какой-нибудь Дуняхин подстроится, либо, хуже того, чужестранный заглот объявится.

На том моя кривая тропа и кончилась, на большую дорогу вышел. Как бельма с глаз сняли. Теперь ясно вижу, что сперва надо отвоевать место, на котором сам рабочий хозяином станет. Хоть не молодой и к военному делу не привычен, а примите меня. Что могу, все сделаю, головы не пожалею. Выдумки в ней за годы немало накоплено, да некому эту выдумку передать, коли советская власть не устоит. От старого владельца ее ухранил, Дуняхину не продал, а Хитсому и подавно отдавать не согласен. Готовил, поди-ка, для своего кучевого наследника — для тех самых рабочих, которые у моего же дела стоять будут. У них, небось, она не затеряется, а в большой рост пойдет.

Поговорили мы еще с Ионычем про заводские дела: как там, кто пострадал от колчаковцев, кто им прислу-

живает,— а потом отправили его в тыл. Месяца через три видел на станции Верещагино. Там он в мастерской по ремонту оружия на славу вышел. Ловкий, дескать, старик. При разборе сразу видит, что где исправить, и делает скорехонько. Да еще говорили... Тогда в ходу пулемет «Льюис» был. Жаловались, что его часто заедает. Так Ионыч какие-то самоточные шарики приспособил — и много надежнее стало. Не знаю я этих тонкостей, как сам всю жизнь у прокатного стана стою, а хвалили люди. Дальше об Ионыче долго не слыхал, только уж когда домой воротился, узнал от его семейных. Оказывается, погиб за Новосибирском. Проходил, сказывают, по заводу, оставляли его по старости лет, да он, как в обычае, уперся.

— Не согласен,— говорит.— Завод подождать может, а надо первым делом всех хитных сомов с нашей земли сбросить. Чтоб их и званья не осталось. Тогда дело горами пойдет, потому каждый для своего настоящего наследника стараться будет.

— А что ты думаешь, ведь правильно это Ионыч говорил. Смотри-ка, как пошло против прошлого! Верно, горами! А почему? Наука, конечно, действует, техника тоже другая. Ну, и копилка рабочей выдумки не отстает. При кучевом-то наследнике оно много значит: один придумает, другой добавит, третий подтолкнет, четвертый еще выше поднимет. Она и растет так, что со стороны дивятся.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Когда случается бывать в давно известных местах, неизбежно у каждого встают в памяти образы людей, с которыми здесь встречался, говорил, работал и жил годами. И странным кажется порядок этого архива памяти.

$ККЗ_3 + Cu_2S = БА_1$.

Такая формула оказалась на полях старой записной книжки-календаря.

Где писано, по какому поводу — забылось основательно.

В обычных условиях и то трудно вспомнить условную пометку через десять — пятнадцать лет. А тут где же!

В годы войны и революции у каждого отложилось в памяти столько яркого, что прежнее, дореволюционное, совсем потускнело и порой безнадежно стерлось.

Формула все-таки кажется занятной. Усиливаюсь разобраться в ней, но ничего не выходит.

Только пуск Гумешевского завода открыл ящичек памяти, где хранилась эта крупинка прошлого.

Вспомнилось отчетливо, до мелочей.

Перед революцией этот рудник давно уже был безлюдным, заброшенным полем. Вблизи его чадил маленький серно-кислотный завод Злоказова.

Отработанная вода, без всяких отстойников, спускалась через речку Железенку в Северский пруд. Северчанам после длительной и дорого стоившей тяжбы удалось добиться официального запрещения Злоказову спускать воду без ее очистки или обезвреживания.

И вот с той поры на старом руднике появился человек, которого вскоре прозвали «безвредный старичок».

Работа у него была столько же простая, сколько бессмысленная. Он должен был время от времени бросать в отработанную воду кислотного завода лопатку извести. О мере лопатки ему было сказано:

— Какую сделаешь.

А число определено с приближением:

— Штук десять — пятнадцать в час.

Старик был точным исполнителем. Чтобы без часов не ошибиться в счете, он придумал свой прием. При каждом отбивании часов на конторской каланче нагребал из большого закрытого ларя в маленький ящик пятнадцать лопаток извести, постепенно сбрасывал ее, а при следующем отбивании часов встряхивал остатки и нагребал ящик вновь.

Толку от этого было немного. Рыба дохла по-прежнему, но жаловаться уже было нельзя: меры принимались.

Старик, разумеется, не хуже других понимал никчемность своей работы, знал, что никто за ним и не думает следить, но все-таки выполнял ее с редкой аккуратностью. Когда над его работой смеялись, он говорил:

— Наше дело какое? Так велено.

Площадка старого Гумешевского рудника, даже в годы ее полного безлюдья, мне кажется живой. Стоит увидеть или только вспомнить о ней, как память немедленно выведет толпу теней из семейных преданий, из рассказов и личных наблюдений. Тут выплывает много образов — враждебных и дружественных, печальных и забавных, жутких, отвратительных. И все-таки на первый план все отчетливее выступает безыменная фигура «безвредного старичка».

Так и видишь — сидит он, сухощавый, с серебряной бородкой и выцветшими глазами, среди унылого рудничного поля, вблизи старой обрушившейся шахты и без улыбки методически сбрасывает деревянной лопаткой известь в речку Железенку.

— Наше дело какое? Так велено.

В один из моих приездов на Гумешки мы с товарищем ребячьих лет расположились как-то неподалеку от «безвредного старичка».

Не видались давно. Оба изменились, стали взрослыми. Я уже не первый год учительствую. Он — рабочий кислотного завода, давно харкает кровью.

Сладковато-тошнотворный дым кислотного смешивается с удушливо-вонючими клубами, которые, не переставая, густо лезут из высокой трубы ватер-жакета. Медленно ползет этот тяжелый дым в сторону леса, который уже заметно покраснел и чахнет.

— Вишь, сволочи, что делают! — кивает мой приятель на ватер-жакет.— Ведь газ-от этот для нашего дела самый дорогой, а они им воду травят да лес портят. А почему, думаешь?

И, не дожидаясь моего ответа, объясняет:

— Хозяева разные. Сговориться не могут.

Потом задумчиво прибавляет:

— Может, тут и химия есть; только особенная. Сразу ее не разберешь...

— Какая это?

Мой приятель оживился и, понизивши голос, стал быстро гнать слова:

— Вот видел наше дело? Сыплют сверху молотый колчедан. Он тебе горит сам, без дров. Дым в камеру идет. Известно — горит сера и дым серный, а в камере так устроено, что брызги воды есть. Мелкие, размелкие. Вот из газу и этих брызгов кислота и выходит. Ну, крепкой водки сверху пущают маленько. Митраты называются. Чтобы, значит, скорее вода с газом соединялась. Это, брат, понять хоть кому... Очень даже просто. А ты мне вот какую химию разъясни... Слыхал про каслинских Злоказовых?

— Ну как же. Известные кабатчики. Три брата. Сперва башкир обставили, землю у них за гроши купили, потом винокуреньем занялись. Главный завод в Черкасиуле, в Воздвиженке стекольный. У Петра еще суконная фабрика в Арамили, у Федора большой пивной завод.

— Вот, вот, эти самые! Теперь Федор-от, наш здешний хозяин, баронетом Англии каким-то сделан. Чин, сказывают, очень большой, выше генеральского. А с чего это? Не за пиво, поди? А? Все кабатчиком был, а как занялся колчеданом — сейчас же баронет. Тут вот химия и есть! Каки-таки митраты подпущены, чтобы из

каслинского кабатчика английского баронета сделать? Разберись-ка вот...

И верно. Казалось непонятным, почему один из Злоказовых получил звание, которое ему как будто ни с какой стороны не подходило.

На полях записной книжки тогда и появилось кабалистическое сокращение беседы $ККЗ_3+Cu_2S=БА_1$. Читал его тогда так: каслинских кабатчиков Злоказовых трое с прибавлением сернистой меди равняются одному баронету Англии.

Справлялся потом о статуте звания баронета.

В наших словарях значилось, что звание баронета дано в 1611 году. Давалось тому, «кто снаряжал за свой счет не менее 30 колонистов для заселения Ирландии, особенно провинции Ульстер, или жертвовал на те же цели 1000 фунтов стерлингов. Сначала число баронетов было ограничено двумястами, но теперь это ограничение, а также посвящение в звание баронета за деньги более не существуют».

Выходило, что Злоказов... снаряжал колонистов в Ирландию.

Только это было мало похоже на правду.

Федор Ликсеич, сколь помнится, человек был сырой, достаточно красноносый и совсем малограмотный. Едва ли даже знал про Ирландию, а уже о провинции Ульстер наверняка не слыхивал.

Крестьяне Каслинского района и башкиры ближайших к бывшим злоказовским владениям волостей тоже не помнят, чтобы кто-нибудь из них отправлялся в Ирландию.

Да и поздновато было в двадцатом веке заниматься там колонизацией.

Разве вот какая Ирландия ближе была. Вместо Ульстера всего-то англичанам, может быть, надо было снарядить разведку на речку Зюзельку и на Дегтярский рудник и потом от своего имени начать разработку. Тогда дело другое.

Именитое купечество всегда любило отечество... продавать хоть оптом, хоть в розницу. И уж Злоказова этому учить не приходилось. За хорошую цену что угодно мог продать, а уж сернистую медь Сысертской дачи тем более.

И все шито-крыто. Завод злоказовский, рабочие местные полевские и северские, административный и технический персонал тоже свой — уральский. Со всех печеней старается, развивает «отечественное производство», а распоряжается всем английский капитал и совсем безответственно.

Вот тут по-иному увидишь и «безвредного старичка», что на речке Железенке, знай, свое твердил:

— Наше дело какое? Так велено.

Только в старое время и другие люди были на Гумешках. Иначе никакой перемены жизни не вышло бы.

Летом нынешнего года мне пришлось побывать на Гумешевском руднике. Унылое безлюдье отсюда ушло. На каждом шагу видишь группы людей. Чаще всего это пока геолого-разведчики и строители, реже — шахтеры. Преобладают молодые лица, но немало и стариков.

Работа ведется в разных местах обширной рудничной площади. Сначала пошли с председателем РИКа взглянуть на строительство нового копра над самой старой шахтой. Дорогой, как это часто бывает, в таких случаях председателя остановили вопросами и утянули в другую сторону. У старой шахты оказалось тоже пусто. Строители ушли на приемку материалов, и около копра стоял сухощавый старик с серебряной бородкой и уже выцветшими глазами. Внешнее сходство с образом из воспоминаний было поразительное. На том же месте стоял такой же старик и смотрел на копер.

Но стоило с ним заговорить, как впечатление сразу изменилось.

На вопрос: «Сторожем здесь?» — старик ответил:

— Нет, любопытствую, как строят.— И сейчас же ответил на свой вопрос: — Ничего будто, а только ошибочка есть. Есть ошибочка! Скоба жидковата. Надо настоять, чтобы покрепче.

Дальше разговаривать не пришлось. Старик поспешно стал спускаться по кривой извилистой тропинке к грудам железной руды, которая с давних лет лежит в самом низком месте рудника. Там какой-то приземистый широкоплечий человек выворачивал кайлом старые деревянные брусья.

Начала разговора не было слышно, но скоро он перешел в крик, и слова старика доносились отчетливо.

— Начальство не видит, так и тащить? Ты в печке истопишь, а людям, может, это знак!

— Кто меня поставил? А тот и поставил, кто сказал: береги народное добро!

Когда приземистый человек заковылял в сторону криолитного завода, старик еще крикнул:

— Ты у меня эту дурость забудь! На руднике дрова добывать! Народное! Не тронь!

Когда я уходил с рудника, то еще раз слышал издали этого старика. Он горячо спорил со строителями копра над старой шахтой. Доносились обрывки фраз.

— Так велено? А если ты ошибку видишь? Тогда как?

— Главный инженер? Ну что ж, и главному инженеру сказать можно!

— Единоначалие. Не спорю. А тебе разве дела нет?

На вопрос, что это за старик, председатель РИКа, шагавший на этот раз рядом, ответил, как о самом обычном:

— Пенсионер один... Советский старик...

МЕДНАЯ ДОЛЯ

Родная мне дача Сысертского горного округа северной частью вытянутого рукава смыкалась с дачей Ревдинских заводов около горы с необычным названием — «Лабаз».

Мне впервые удалось побывать здесь в самом начале столетия. Году так во втором, в третьем. Случилось это неожиданно и, может быть, поэтому запомнилось крепко.

С Крылатовского рудника хотел попасть на гору Балабан, но пошел по просеке в противоположном направлении. Почувствовав ошибку, стал поправляться, «спрямлять» и, как водится, вовсе сбился. По счастью, набрел на двух парней, которые прорежали сосновый молодняк. Парни, услышав, где я предполагаю Балабан, сначала посмеялись, потом ревностно, перебивая один другого, стали объяснять дорогу. Один, видимо, не очень поверил, что я понял, и посоветовал:

— Ты лучше пройди-ка по этой просеке еще с полверсты. Там старая липа пришлась, а от нее вправо тропка пошла. Заметная тропочка. Не ошибешься. По этой тропке и ступай прямо на гору Лабаз. Там у нас в караульщиках дедушка Мисилов сидит. Он тебе твой Балабан как на ладошке покажет. И на Волчиху поглядишь, если охота есть. Старик у нас не скупой на эти штуки. И слов у него с добрый воз напасено, да все, понимаешь, золотые. С ним посидеть хоть в вёдро, хоть в ненастье не тоскливо.

Предложение показалось заманчивым. Захотелось своим глазом посмотреть на этот удаленный клин заводской дачи, где к обычной сосне и березе заметно примешивалась липа. С детских лет, когда еще жил



«ДОРОГОЙ ЗЕМЛИ ВИТОК»



«ПРО „ВОДОЛАЗОВ"»

в Полевском, слыхал от взрослых, что там имеется «заводское обзаведение для сидки дегтю, а подале такое же обзаведение от Ревдинских заводов». Из разговоров на Крылатовском узнал, что около этих двух дегтярок, Полевской и Ревдинской, какие-то чужестранные в земле роются, медь ищут, у самого озера Ижбулата.

С вершины Лабаза открывался обычный для нашего края тех лет вид: всхолмленная лесная пустыня с правильными квадратами вырубок, бесформенными покосными участками и редкими селениями. К северу, совсем близко, высилась гора Волчиха, к югу, километрах в пятнадцати, тот самый Балабан, куда мне надо было идти.

Старик Мисилов оказался подвижным, приветливым человеком, из таких, которые немало видели в своей жизни и любили об этом рассказывать. Новому человеку старик обрадовался и сейчас же подвесил над костерком свой полуведерный жестяной чайник. Беседа завязалась легко. Говорили о разном, а больше всего, конечно, о безработице, которая гнала рабочих с насиженных мест. Старик, помню, пожаловался:

— Троих сыновей вырастил, дочь замуж отдал, а на старости и в гости сходить не к кому. Все разбрелись. Недавно вон меньшак письмо отписал с военной службы, из городу Чимкенту... «Благослови, тятенька, на вторительную остаться, потому как по вашим письмам понял: дома жить не у чего». Большак опять на Абаканские заводы убрался, а средний, Михайло, в слесарке пристроился в Барнауле-городе. И доченьку свою с внучатами проводил. Мужик-то у нее при Дугинской мельнице машинистом поступил. Эти поближе, конечно, а все не дома.

Помолчав немного, старик стал рассказывать о себе:

— Родами-то я из деревни Казариной. С Сысертской стороны, с медного, значит, боку. У нас там медных рудников не слышно, все больше железо да другие руды. Да и по деревенскому положению мне бы на земле сидеть, а доля пришлась руднишная, и все с медного боку. В молодых еще годах оплошку допустил: барского жеребенка нечаянно подколол. Ну, барыня меня и угнала в Полевую, а там, известно, в Гумешевский рудник спустили. Годов пятнадцать эту патоку полной ложкой хлебал. Знаю, сколь она сладка. Как воля

объявилась, из рудника выскочил, а привычка эта подземная со мной же увязалась. Сколько ни посовался по разным работам, а к тому же пришел: стал руду добывать. Придумал только других хозяев поискать, поумнее здешних. Вот и походил в ту сторону,— указал он на Волчиху,— не меньше трех сотен верст прошел. До самых Турьинских рудников доходил. И в ту сторону,— указал на Балабан,— верст, поди, сотни две наберется. Карабаш-гору поглядел довольно. Добрых хозяев, понятно, нигде не нашел, а на горы пожаловаться не могу. Везде богатства положено: с закатного боку медь, с восходного — железо. Только моя доля, видно, медная пришлась. Всю жизнь на закатной стороне ворочал. Теперь вот на старости в тихое лесное место попал, а доля от меня не уходит. Слышал, поди, что и тут люди появились, в земле дырки вертят, медь щупают. На мое понятие, и щупать нечего, бей шахту — непременно медь будет. По уклону вижу. На той же стороне хребтины, как наши Гумешки, Карабаш, Калата, Турьинские. Как тут меди не быть? Ее по здешним местам без меры положено. Вот хоть эта гора, на которой мы с тобой балакаем. Она Лабазом зовется. А почему так? Может, в ней одной столько богатств, что целыми обозами вывози! Не одна, поди, деревня вроде нашей Кунгурки прокормиться могла бы.

Старик вздохнул:

— Эх-хе-хе! От этакого-то богатства люди не умеют себе крошек наскрести, на сторону бегут!

Потом, указав на горную цепь, добавил:

— И везде, понимаешь, такое. Заберешься на горку повыше и увидишь эту тройную хребтину. Ни конца ей, ни краю. И везде середовину-то камнем зовут. Хорош камешок! Только всему народу вподъем. А что Демидовы, Турчаниновы и прочие тут ковырялись, так это пустое. Вроде земельных червяков: прошли и дырки не оставили. Взять хоть наши Гумешки. Первый по здешним местам рудник. Начало, можно сказать, медному делу. Полтораста годов из него добывали, а думаешь, все выбрали? Копни-ка поглубже. Там и внукам и правнукам осталось. Говорю, по всему боку медь, а с того боку опять железо и другие руды. Золотишко тоже, оно, конечно, и по закатному боку есть, да только взять его мудрено, потому с медью сковано.

Эти рассуждения старого горняка показались забавными, и вышли похожими на пророческие слова. Старик Мисилов ошибся лишь в размерах. Из-под горы Лабаз теперь вывозят медную руду не обозами, а целыми поездными составами. Поселок около этой горы тоже не походит на деревню. Это городок, считающий свое население десятками тысяч. Не ошибся старик и относительно Гумешевского рудника. Там бурение показало огромные запасы медной руды. Может быть, и «медный бок» не сказка.

ДОРОГОЙ ЗЕМЛИ ВИТОК

По порядку говорить, так с Тары начинать придется. Река такая есть. Повыше Тобола в Иртыш падает. С правой стороны. При устье городок стоит. Тарой же называется. Городок старинный, а ни про него, ни про реку больших разговоров не слышно. Жилье, видишь, в той стороне редкое,— и славить, как говорится, некому. А меж тем река немалого весу: лес по ней сплавляют, и пароходы с давних годов ходят. Мелконькие, конечно, и не во все время, а только по полой воде.

Мне все это за новинку показалось, как сам-то из других мест. С молодых годов и по сей день работа моя по угольным шахтам. Прирожденный, можно сказать, угольщик, а тут оказался на этой самой Таре, в партизанском отряде. Как это вышло, рассказывать долго, да и речь не о том.

Отряд был маленький. Только что начал собираться. В начальниках у нас ходил Федор Исаич. Пожилой уж человек, из унтер-офицеров старой службы, а раньше, сказывают, слесарем был не то в Омске, не то в Куломзинском депо. Из пришлых, кроме нас двоих, был еще один с московского какого-то завода. Звали этого парня Вася Стриженый Ус. Сибиряки, видишь, по тому времени усы-бороду в полный рост запускали,— у кого как выйдет, а этот обиходил себя — брился и усы коротенько постригал. По грамоте он у нас вроде политрука был, а потом, слышно, в военкомы вышел. Жив ли теперь,— не знаю. Справиться бы, да фамилию так и не узнал, а по прозвищу разве доберешься. Хороший парень. Любили его. Остальные, конечно, из тамошних крестьян были. Из бедноты больше. Ну, и середняк тоже подходить стал. Возраст был разный, а про

обученье военное и говорить не приходится. Были и фронтовики, были и такие, что винтовку до того в руках не держали. Ну, и охотники были. Из таких, что пулю никогда мимо не пустят. А больше всего было лесорубов да сплавщиков. Народ, надо сказать, на редкость крепкий, терпеливый да изворотистый.

Пока были глубокие снега, отряд наш держался в заброшенной смолокурке. Туда без лыж не пройдешь. Лыжи и были главной нашей силой. На лыжах наши нежданно-негаданно для колчаковцев появлялись в дальних деревнях, делали там переполох, отбивали оружие и уходили. Главной заботой отряда тогда было добыть побольше оружия и патронов. С кормежкой тоже было туговато, но все-таки лучше. Лосиное мясо добывали охотой, а хлеб доставали через надежных людей из двух деревень.

С таянием снегов стало гораздо хуже: лося уж не добудешь да в деревни дальние не проберешься. Пришлось переменить место остановки. Наши деревенские дружки в это время как раз передали, что по первой воде до Займища побежит пароход за оружием и патронами, которые будто бы там хранятся. Нам такой случай пропускать было нельзя, потому как недостача оружия и патронов нас больше всего вязала. Перекочевали к тарскому берегу в глухом месте и решили тут покараулить.

Так и вышло. Только Тара очистилась ото льда, как вверх пробежал маленький пароходик. Шел он сторожко, гудков не давал и мимо деревень старался проскользнуть либо ранним утром, либо вечером. Видно, что идет он неспроста, таится. Значит, не зря говорили, что за особым грузом.

Из леса мы видели этот пароходишко. Вроде катера он, только колесный. Местные жители объяснили:

— На таких пассажиров не возят. Это подрядчики по лесному делу на таких по полой воде везде шныряют. Посадка, видишь, мелкая. Такой может теперь туда пробраться, куда потом и на лодке не просунешься. Судовой прислуги на нем не больше четырех человек: штурвальный,— он для важности капитаном зовется,— механик, кочегар да матрос. А все-таки с лодок его, поди, не возьмешь. Подготовку надо сделать.

Командир наш сперва посомневался:

— Простоим тут неведомо сколько!

Плотовщики все-таки его сразу уговорили:

— Не беспокойся! Вода, видишь, слабая. Того и гляди, на убыль пойдет. Пароходу-то назад поторапливаться надо, а то застрянет на все лето. Дня через два непременно должен обратно пройти.

— Коли так,— решил командир,— делайте подготовку, как лучше, а я в пехоте служил,— не умею с пароходами обходиться.

Плотовщики и занялись. Первым делом пригнали из деревни две лодки. Потом в узком месте реки сделали завалы: с того и другого берега свалили несколько сосен вершинами в воду. С ходовой стороны прикрыли завалы кустами тальника,— будто подмоина скопилась. Из толстых бревен приготовили сплоток, чтобы лычагами перетягивать его с берега на берег. Для верности в узком проходе забили еще десятка два жердей в наклон против воды. Концы срезали с расчетом разбить пароходные колеса. В ту весну никто сверху леса не сплавлял, и можно было не бояться, что тяжелый плот своротит всю эту загороду.

На деле вышло даже лучше, чем предполагали. Штурвальный, видно, понадеялся проскочить меж кустов под берегом и налетел на завал, да так ловко, что наши сразу заняли палубу. Штурвального, который ухватился за оружие, сбросили в Тару.

— Прохладись, коли ты такой горячий на хозяйское добро!

В трюме оказалось шестеро охранников из мобилизованных. Они побросали винтовки. Словом, обошлось все гладко, но вместо ожидаемого оружия и патронов оказались пушнина, плиточный чай, сколько-то голов сахару и три мешка пшена. Тобольский купчишка, надо думать, обманул своих: насказал им о складе оружия на Займище, а сам думал, как бы вывезти свой товар. Теперь этот купчишка стоял около мешков с пушниной и бормотал:

— Не при чем я тут, товарищи! Вовсе не при чем! Подневольный человек... Что мне велят, то и делаю.

— Оружие есть? — спросил его один из наших.

— Что вы, что вы, товарищи! Какое у меня оружие. Хозяин, правильно сказать, велел мне оборужиться, да я наотрез отказался. Раз не военный человек, с оружием

обращаться не умею, на что мне оно. Да и не согласен я кровь проливать...

— Вишь, разговорчивый, стерва! — удивился подошедший к нему отрядник.— А ну, показывай!

В это время мешки с пушниной зашевелились. Их сейчас же раскидали. Под мешками оказалось трое связанных по рукам и по ногам с забитыми джебагой ртами. Двое мужчин, одна женщина.

Первой освободили от веревок женщину. Это оказалась старуха такого большого росту, что редко встретишь, да и по глазам приметная. Волосы, понимаешь, седехоньки, брови тоже, а глаза черные и блестят, как вот антрацит в изломе. Смотреть даже в такие глаза беспокойно,— будто ты что неладное сделал.

Старуха выхватила клок джебаги изо рта, отплевалась, откашлялась и шагнула в сторону купца.

— Завертелся, пес? Подневольным прикинулся, а на деле кто? Не по твоему ли наущенью связали нас, будто мы оружие у тебя растащили? Вот и объясни теперь, в котором месте у тебя оружие было и на кого ты его припасал?

Потом совсем по-другому объяснила нам:

— Кабы такой склад на деле был, давно бы его нашли и передали, кому следует.

Купчишка, знай, машет руками на старуху и твердит одно:

— Ведьма она. Шаманка. Не верьте ей, не верьте!

Тут двое других освобожденных заговорили:

— Точно, хозяин он. На Займище у него скупка пушнины, а склада оружейного не было. Только и было оружия, что с собой привозил: магазинка на пятнадцать зарядов да два револьвера. В машинном отделении, надо думать, спрятал. Туда бегал.

— А запасные патроны вон в том мешке,— указала старуха.

Магазинку, револьверы и патроны нашли. Суд над купцом был короткий: в Тару. За ним же и двоих охранников. Про них освобожденные в один голос говорили:

— Собаки хозяйские. Все вынюхивали да норовили каждого укусить. И над народом измывались. Пушнину и деньги рвали.

Только покончили с этим делом, из деревни прибежали двое подростков. Сыновья нашего деревенского дружка Степаныча. Запыхались оба, друг дружку перебивают, торопятся рассказать:

— Конные в нашу деревню наехали... По избам с плетями ходят... Про вас допытываются... Когда были, сколько человек?

— Тятя сейчас из лесу прибежал... Велел сказать... Рота за ними идет... А поручик у них тот самый, который к нам по порке приезжал... С черными усами... Распушены, как у кота... И два у них пулемета... один со сковородкой... Тятя забыл, как его зовут... А другой — «максим»...

— При «максиме» пулеметчиком Филька Храпов... Из нашей деревни...

— Большой дом... У мостика который...

В нашем отряде хоть прибавилось оружия, но патронов было мало. Приходилось уходить в лес. Выслали в сторону деревни небольшой заслон и стали готовиться к отходу. Пушнину переправили на другой берег, запрятали там в кустах и наказали ребятам:

— Скажи отцу — пусть приберет, как можно станет.

Пароходик оттянули на глубокое место и затопили по трубу. Сплоток и одну из лодок пустили по реке в расчете, что деревенские переймут. Самое же привычное дело. Мало ли несет по воде. Другая лодка была степанычева. На ней велели ребятам задержаться на реке до вечера. Будто целый день рыбачили. Чтоб на правду походило, сак им оставили и даже рыбы сколько было в лодку набросали.

Двоим освобожденным дали винтовки. Четверых бывших охранников и троих из судовой прислуги приняли в отряд, но оружие не дали.

— Будете вроде нестроевых, а дальше поглядим,— сказал командир.

Старуху он сначала хотел отговорить:

— Ты бы, бабушка, шла в деревню. Сказалась бы проходящей. Иду, дескать, в город с внучатами повидаться. А то куда тебе с нами по лесам шататься.

Старуха это выслушала, да и говорит:

— Худо, милый сын, придумал. Худо. Кто же из здешних берегом в город пойдет, когда сплыть можно,

и лодка там дороже, чем ее тут купить. Да и знают меня по всей Таре и Тартасу и в Тобольске тоже. Песот тот не зря меня спеленал. Выкрыться перед своими хотел. Вот, дескать, это и есть ходячая зараза. Бродит везде да мутит народ. Всем наговаривает, будто большевики ладно придумали, что без хозяев легче и светлее станет жить.

— Ну, дело твое,— согласился наш Исаич.— Только на нас не пеняй, коли тяжело придется, как годы твои немолодые.

— Об этом,— отвечает,— печали нет. По лесам-то бродить привычна. Не всяк молодой за мной угонится, и места кругом знаю не хуже доброго охотника. Может, пригожусь еще этим. Кровь остановить могу, травами да мазями людей пользую. В военном деле мало ли случается, что человеку пособить надо. В досужий час и сказку могу сказать. Послушаешь — не похаешь.

— Ну-ну, — улыбнулся командир, — зачислена на все виды довольствия в санчасть отряда «Северный боец».

Так вот и появилась в нашем отряде первая женщина — рослая, могутная старуха, с пронзительными глазами. Ни раньше, ни позднее не слыхивал я такого имени. Звали ее Кумида. Думали сперва — раскольница либо какой другой нации. Но тоже не подходило: не молитвенница и по-нашему говорила без всякой оплошки.

С самого начала бабка услужила отряду. Она посоветовала:

— Слушай-ка, начальник! Коли силы у вас нехватка, давайте-ка сведу вас под лесную ушиту. На меж-полдень, видишь, место посуше пошло. Верст через двадцать там и вовсе горки пойдут. Тайга там в урман клином врезалась, а в тайге по моховому болотцу буревал прошел. Полянка не полянка, а все-таки чистенькое место. Ежели руки с топорами приложить, так и вовсе ладно устроить можно. Заберись на эту полянку, и не то что пулеметом, пушкой тебя не доймешь, а ты постреливай без урону. И от Тары не больно далеко. В случае опять поохотничать можно.

Бабке поддакнул один охотник:

— Верно сказывает. Про полянку не знаю, а таежный лес в том месте близко подходит.

Кому в это вникать не доводилось, тому — что бор, что парма, что урман, что тайга — все лес, а на деле разница есть, и не маленькая. Про бор да парму тут говорить не стану, а урман от тайги большую отличку имеет. По урману не то что пешему, а и конному пробираться просто. Там всегда прогалы есть. По-сибирскому гривками зовутся. Ну, а тайга — лес сплошняком. Через такой не скоро продерешься.

Вот к такому сплошняку и привела нас бабка Кумида. Все оказалось, как она говорила. Наши лесорубы живо руки приложили: кое отвалили, кое подчистили, и вышло становище, хоть костры ночами запаливай. Дороже всего, что и вода тут. Болотная, правда, а пить все-таки можно.

На другой день конники колчаковские по нашему следу добрались, да семь винтовок потеряли. Ну, патронов у них тоже маловато было. Только по две запасных обоймы.

Поручик с ротой тоже подходил. У него хуже вышло. Он, видишь, сперва для устрашенья видно, две пулеметных ленты израсходовал почем зря,— по таежному лесу. А наши охотники в ответ пулеметчиков сбили. В том числе и Фильку Храпова кончили. Тогда поручик решил, видно, нас измором взять, обложил наш таежный угол цепью. Только нам это вполгоря, потому хлебных припасов у нас дней на десять было, вода есть, и наши посменно отдыхали у костров, а тем приходилось маяться на холодной апрельской земле. Да у поручика и тем было хуже, что народ насильно мобилизованный, а наши по ночам кричат:

— Кому надоело за буржуев воевать, переходи к нам. Винтовку дулом книзу — примем. Кто больше патронов принесет, тому веры больше.

Кончилось тем, что наш отряд пополнился, а поручик с остатками роты еле ноги уволок, и пулемет у него — со сковородкой-то — отбили. По тому времени это штука немаловажная была. Потом, как опять на Тару вышли, про нас заговорили: «У них пулемет есть», и средняки, которые все еще в затылках чесали, как быть? — стали один по одному подходить к нам. Наш Исаич уж заподумывал, не пора ли на городок ударить.

В военном деле, конечно, не без урону. Были у нас убитые и раненые. Вскоре мы все узнали, что бабка

Кумида — лекарка знатная. Как-то у нее и перевязка всегда найдется, и мази, и пластыри. Питье тоже из разных трав варила. Прямо сказать — полная аптека. Да еще что! Раньше я не верил этому, а тут воочию увидел,— могла она кровь останавливать. Коли рана верховая, по мякоти, бабка оголит это место на руке ли, на ноге, уставится на раненого глазами и начнет наговаривать. Слова будто ласковые, а глазами так и буравит, так и буравит. Глядишь,— кровь и остановится. После того перевяжет бабка рану натуго и даст своего питья, от которого человек сразу заснет. Спит долго. Выспится, день-два с перевязкой походит,— и здоров.

Дивились мы этому. Васю нашего спрашивали, в чем тут сила. Ну, он говорит, что слова тут ни при чем, а сила в бабкиных глазах. Ими она человека покоряет, заставляет верить, что он здоров. Может, верно это, а только мне больше такой штуки видеть не доводилось.

Сказки бабки Кумиды тоже слыхал. Она их сказывала без балагурства, без шуток-прибауток, а будто на деле так было. Ну, скажем: почем тобольскому купцу медвежья шуба обошлась, какой цветок у крестьянского начальника в саду вырос, как работник из хозяйского дома кривду выгонял. Послушаешь,— будто дело прошлое, а подумаешь,— как раз тебе это и сейчас надо. Вася Стриженый Ус эти кумидины сказки в свою книжечку записывал.

— Беспременно,— говорил,— надо эти сказки напечатать. Очень они полезные.

Напечатал ли,— это сказать не могу. Искал я такую книжечку. Охота было по ней и про Васю узнать. Ну, не нашел. Своих ребят и других высокограмотных спрашивал,— не знают. У нашей клубной библиотекарши — она по этому делу старуха дошлая — справлялся, тоже говорит,— не видала. Мне самому эти сказки, пожалуй, не рассказать. Одна только покрепче в голову запала. Эту и расскажу, как умею.

Вася Стриженый Ус — я уж это говорил — из москвичей был, и любил про Москву рассказывать, и всегда к тому сведет, что надо, дескать, этот город на особой примете держать. Раз так-то разговорился, а бабка Кумида тут же была. Послушала-послушала, да и говорит:

— Хорошо, Васильюшко, сказываешь. Послушать любо. Только иное слово и за обиду почесть можно.

Вася даже всполошился:

— Какая обида? В чем?

— А вот послушай нашу сибирскую сказочку, тогда и спрашивать не станешь.

Мы, которые при разговоре случились, поддакнули:

— Скажи, бабка Кумида.

Она и стала рассказывать. И тут в первый раз помянула про свои родные места.

— Родом-то я с дальней реки, с Амура. Если отсюда пойти, так раза в три дальше, чем до Москвы. Здесь жилья не густо, а в нашей стороне и того меньше. Ну, все-таки русский народ живет. И дальше нашего места городки и поселки есть. Вот ты и пойми, на что глядя, народ в такую даль забирался. Стань распутывать, до Москвы доберешься. Малыми ватагами, чуть не в одиночку люди шли с одной надеждой,— Москва поддержит. Про нашего вон Атласова так рассказывают.

Жил этот Атласов еще при царе Петре. Какого он роду-племени, про то не ведаю, а звали Володимиром и по делу видать,— в Сибири родился, потому как с молодых годов в службу попал при Якутском городке. Каким-то случаем он грамоте разумел, а по тем временам это редкостью было. При грамоте он и выслужился в маленькие начальники при якутском воеводе.

В Москве Атласов не бывал, но много слышал про нее от бывальцев. Знал и то, что есть там площадь,— Красная называется. Самая главная, не то что для Москвы, а и для всей нашей земли. Про нее от бывальцев еще вот что узнал.

Старинные люди твердо обычай держали: коли случится кому с одного места в другой город уходить, так непременно должен этот человек взять с собой хоть горсть родной земли. Берегли эту горстку.

В Москву, конечно, люди со всех сторон шли. Кто по ремеслу, кто по торговле, кто по ратному либо еще какому делу. Многие заживались тут до смерти. А умрет человек,— куда землю, которую он в мешочке на гайтане носил? Если родня хоронит, так эту землю в могилу бросит, а если родни нет, провожать некому, то эту землю тоже зря не выбрасывали. За бесчестье это считалось. Надо было эту горстку земли нищим пе-

редать с особым наказом: «Прими-ка с денежкой и захорони с честью». У нищих опять свой обряд велся. Выйдут на Красную площадь, поклонятся во все стороны и раскидают ту землю с приговором. Когда знают, из какого места земля, непременно про это помянут. Волошская там либо черкасская, двинская ли рязанская, либо сибирская, а когда не знают, просто скажут — «неведомой стороны». У Володимира от этих разговоров и запало мечтанье одно. С мечтаньем, понятно, к воеводе не пойдешь, он и подал челобитную: хочу-де на восход солнца податься, поглядеть пустопорожние земли, есть ли там народы какие, чем земля богата и нельзя ли ее под высокую государеву руку прибрать.

Воевода,— может, он из бояр был и только о том и думал, как бы поскорее к родовым землям воротиться,— прочитал челобитную и накинулся на Володимира:

— За такое челобитье велю тебя под батоги поставить. Вишь, что придумал. И без того бояр неведомо куда на воеводства садят, а ты захотел еще дальше их загнать.

Ну, Атласов не поддался.

— Коли ты,— говорит,— батогами грозишься, так я тоже с тобой по-другому заговорить могу. Закричу вот нужное слово, так не обрадуешься. Своей спины не пожалею и тебя на плаху приведу.

Воевода тут сразу присмирел, а от своего все-таки не отступился. По-иному отнекиваться стал. Нет, дескать, денег, чтоб походы этакие снаряжать, да и служилых людей отпускать из городка не велено. Мало ли случай какой может быть. А коли тебе пришла такая охота, снаряжай поход своим коштом, зови охочих людей, а я мешать не стану.

И что ты думаешь? Извернулся ведь Атласов. У подьячего какого-то денег занял. Наобещал ему, конечно, дорогих мехов. Да еще купцу кабальную дал запись. Купил припасу, охочих людей набрал и пошел с ними, куда ему думалось.

Сколько он в дороге бед натерпелся, о том и говорить много не надо. И голодал, и обмерзал, и под ножами своих ватажников стоял, как они требовали: «Поворачивай домой». Самый ему близкий человек есаул Лука Морозко и тот говорил:

— Верно, Володимир, поворачивать домой надо. Земель вон сколько поглядели, мехов понабрали... Чего еще? Послушайся, а то может вовсе худо случиться: убьют.

Тут вот Атласов и сказал своему верному помощнику:

— Эх, Лука, Лука! Не таким, видно, я родился, чтоб за богатством гнаться. Дорогие меха, сам знаешь, подьячему да купцу за долг пойдут. Мне другое дорого, хочу до кромки земли дойти, отломить кусок да в Москву, на Красную площадь. Пускай там будет земля и с самого краешка.

С этим мечтаньем дошел-таки до самой Камчатки. Мало того. Увидел, что вроде острова пошло, так он с Лукой разделился, велел ему вести ватажников по одной стороне, а сам пошел по другой. На том месте, где сошлись, Атласов памятный знак поставил и сделал надпись: в таком-то году и месяце был тут Володимир Атласов с товарищами. Всего пятьдесят пять человек.

Подумай, куда он с полусотней забрался! И только после этого повел ватагу в обратный путь. Тоже маяты было немало, а мешок земли все-таки взять с собой не забыл.

Когда добрался до Якутска, там уж другой воевода сидел. Этот, видать, понятливее оказался,— сразу отправил Атласова с мехами и записями в Москву.

В Москве, в Сибирском приказе с радостью приняли дорогие камчатские меха, а когда Володимир сказал, что он мешок камчатской земли привез, так смеяться стали.

— Зря,— говорит,— старался и лошадь маял. Земля везде земля. К чему ее с места на место перевозить.

Володимиру это обидно показалось. Ну, все-таки смолчал, а про себя подумал:

«Что ни говорите, а по-своему сделаю».

В Москве у Атласова хлопот-то вышло больше, чем он думал. В приказе, видишь, за меха сильно ухватились, а с расчетом туго пошло. Выдали Атласову девятнадцать рублев да товару на сто рублев приговорили отпустить. Атласов видит,— не сходится дело, придется ему за свою-то маяту еще в кабалу купецкую итти, подал челобитье самому Петру. У царя в ту пору как раз эта самая заваруха со стрельцами была. Не до то-

го ему, чтобы челобитье разбирать по сибирским делам. Все-таки велел прибавить столько же рублями и товарами, а в приказе Атласова укорили:

— Что ты нас зря срамишь. Мы, поди-ка, тебя казацким головой сделали. Чего еще надо? Головой-то ты вот как прокормишься.

Атласову этакий расчет не по душе, да что поделаешь, коли до царя больше добиться нельзя. Решил домой ехать, а о мешке с камчатской землей не забыл. В тот день, как уезжать, ранехонько вышел на Красную площадь, помолился на Василия Блаженного, поклонился Кремлю и стал раскидывать из мешка землю, а сам приговаривает, как молитву читает:

— Государыня наша, площадь Красная, прими ты на веки вечные землю камчатскую. Пусть в тебе, как своя, лежит, ничем не разнится.

Сделал так-то, и вроде ему веселее стало. Как проходил мимо Сибирского приказа, ухмыльнулся:

— Бобры да куницы разлиняются, не найдешь их, а земелька камчатская до веку в Москве останется.

По горькой своей судьбине Атласов не доехал на этот раз до Камчатки. В Сибирском приказе, верно, назначили его казацким головой и велели дорогой звать охочих людей. Атласов и набрал ватагу в Тобольске. С ними и дальше пошел, да, на свою беду, на сибирской уж реке набежал на дощаник какого-то купца. Нагружен этот дощаник пушниной. Атласов полюбопытствовал, что за меха, и видит,— из самых высоких сортов. В том числе и камчатские бобры есть, а их с другими не смешаешь. Тут Володимира взяло за живое: «Мы маемся — голов не жалеем, а купцы маются — карманы набивают». Выхватил он саблю, да и объявил:

— Было наше, стало твое, а теперь опять наше!

Захватил, значит, дощаник, а купца отпустил. Ну, ведь не нами сказано, что купец от своего сундука не отпустится, пока душу не вытрясешь. Так же и этот. Перед ватагой атласовской слова не сказал, а как добрался до Тобольска, такой вой поднял, что в Москве слышно стало.

Кончилось это тем, что Володимир со своими тобольскими ватажниками в тюрьму попал. Не один год просидел. Потом его вспомнили и опять начальником послали в Камчатку. Там он и смерть принял. Свои же

зарезали, коим он не давал государскую пушнину по купецким рукам рассовывать.

Так вот,— сказывают,— когда Володимир в тюрьме томился, так он одним себя утешал:

— Есть-таки в Москве, на Красной площади, камчатская земля, с самого краю. И добыл ее своим разуменьем, своим потом и кровью Володимир Васильев сын Атласов с товарищи.

Кончила бабка Кумида сказку и спрашивает:

— Понял ли, Васильюшко, нашу сибирскую сказочку?

— Понял,— отвечает.

— Ты и попомни это. Про Москву нам сказывай,— слушать с великой охотой станем. А что ее вровень с другими городами ставить нельзя, это мы, коим по дальним местам жить привелось, знаем, может, лучше твоего. Вы, тамошни, когда, поди, и забываете, по каким местам ходите, а мы Москву по всякому делу помним. Как говорится, затес на сосне сделал, на Москву оглянулся,— как она: похвалит ли?

Самый бестолковый, небось, это понятие имеет, что в Москве наш головной узел завязан, и про то слышал, что там, на Красной площади — самый дорогой земли виток. Такого нигде больше не найдешь, потому как там крупинки со всякого места есть. Коли на такой, всякому родной, земле огни зажгут, так еще поспорить надо, кому они яснее светят: тому ли, кто близко стоит, али тому, кто на краю нашей земли живет.

У СТАРОГО РУДНИКА

I

Из пяти заводов Сысертского горного округа Полевской был единственным, где мне не приходилось жить и даже бывать до одиннадцатилетнего возраста.

Однако об этом заводе, который в нашей семье обычно звали старым, слыхал довольно часто.

Отец был родом из этого завода и по паспорту числился крестьянином Полевской волости и завода. Там он, как полевской общественник, имел право на покосный надел, но никогда этим не соблазнялся. К жизни в Полевском заводе всегда относился отрицательно, даже с насмешкой:

— Глухо у них. Здесь в Сысерти при большой дороге живем. Чужой народ мимо ездит. Все-таки веселее, как поглядишь. А у них кому проехать? В город и то по-доброму-то дороги нет. Как ехать, так и гадать: то ли через Кургановку, то ли через Макаровку, то ли еще как.

И стоянка у них в беспорядке. Не как у нас — улицы по ниточке, а кто где вздумал, тут и построился. На Большой улице и то порядок вывести не смогли: то она у́же, то шире. В одном месте и вовсе насмех сделано. Идешь-идешь — в дома упрешься... Пойдешь вдоль этих домов, да и воротишься близко к тому месту, откуда пошел. Штанами это место зовут. Штаны и есть.

Про фабрику тамошнюю да медеплавильный говорить не осталось. У нас старье, а у них вовсе ветхость.

Бабушка была «коренных сысертских родов», но в молодости попала «в число обменных девок, коих отправили на старый завод для принятия закону с тамошними парнями».

Об этом «случае» своей жизни бабушка рассказывала не особенно охотно:

— Не знаю, к чему и применить такую штуку. Видно, полевских девок не хватало. Их, видишь, с малолетства на Гумешки наряжали, а потом по дальним рудникам да приискам рассовывали. На Кунгурку тоже порядком прудили. Как раз в те годы эта деревня заводилась. Наших девок, значит, на их место и везли. Когда телег пять, когда больше. Не по один год это было. Как успенье пройдет, так и объявится этот девий набор на старый завод. Сирот, конечно, в перву голову хватали. Ну, и отецких задевало. Стражников еще пошлют с возами-то, чтобы которая не убежала. А кто убежит, коли все без ума ревут. Слезная в ту сторону дороженька! Слезная... Вся девичьими слезами полита.

— То, видно, и не просыхает никогда у Большой-то елани,— пошутил как-то отец. И бабушка, обычно всегда спокойная и добродушная, даже разгорячилась:

— Постыдился бы при ребенке такое слово говорить! Не шуточно, поди-ка, дело хоть бы и девичья слеза!

Отец откровенно сознался:

— Так это у меня... не то слово вылетело.

— А ты их придерживай — слова-то свои. Дело, конечно, прошлое, а все шутить не годится. Хорошо вот я усчастливилась, согласно со стариком прожила. Так ведь это редкость. А сколько народу загинуло из-за этой штуки! Не слыхал?

— Да ладно, мать... Знаю... Говорю — пустое слово вылетело,— оправдывался сконфуженный отец.

Привезенная в Полевской завод таким диким способом, бабушка «приняла там закон, с кем указали», прожила свыше двадцати лет, вырастила детей, но все-таки, как видно, «не вжилась». Едва ли бабушка и не была главной виновницей того, что дед, как только пало крепостничество, перешел из медеплавильщиков в доменщики и переселился в Сысерть.

Однако о Полевском бабушка говорила много мягче отца:

— Завод как завод. Такие же люди живут. Только в яме против нашего пришелся. Медная гора у них — Гумёшки-то эти — место страховитое, а так ничего. Лес кругом, и ягод много. Кроме здешних, там еще морош-

ка растет. Желтенькая ягодка, крепкая. И в лесу у них не все сосны да березы, а ельник да пихтач есть. Дух хороший от пихты-то. Нарочно ее к большим праздникам привозят. Разбросишь по подлавочью — ох, хорошо пахнет! Ну, и чесноку по тамошним местам много. Вроде огородного бутуну, только потверже будет. Весной, как он молодой, целыми мешками его таскают да солят. В петровки, глядишь, из этого соленого чесноку пироги пекут. Славнецкие пироги выходят, только душище потом, как наедятся экого места. Прямо в избу не заходи, коли сама не поела. За это вот полевских и дразнят чесноковиками. А он на пользу человеку, чеснок-то этот. Болезнь будто всякою отгоняет. Скотских падежей у них вовсе не слыхано. И все, говорят, из-за чесноку. Ну, конечно, молока весной тоже не похлебаешь. Горчит оно.

Меня больше всего интересовала Медная гора, но ясности в этом пункте было меньше всего.

Отец скупо объяснял:

— Да рудник же это. Малахит раньше там добывали. Только работали не вскрышей, как вот на Григорьевском либо на Каменной горке, а шахтами, как на Скварце. Видал ведь? Теперь эти шахты затопило. В забросе рудник, а говорят — малахиту там еще много осталось.

Бабушка на вопрос о Медной горе отвечала:

— Самое это проклятущее место. Сколь народичку оно съело! Сколь народичку! У моей-то золовушки парня вовсе в несовершенных годах гора задавила. А девчушка у ней — у золовушки-то — на этой же горе сгорела. Вовсе себя потеряла,— как без ума сделалась. Бегает да кричит, и понять нельзя. Брата-большака у моего-то старика тоже гора изжевала. Семью осиротил. Пятерых оставил. Кум Матвей, на что здоровый мужик был, и того уродом гора сделала: плечо ему отдавила...

После длинного перечня задавленных, изжеванных, покалеченных бабушка неизменно добавляла:

— Вспоминать-то про это неохота. Как жили там, так вовсе в ту сторону и не глядела, где эта самая Медная гора.

По этим рассказам у меня в раннем детстве сложилось самое дикое представление о Полевском заводе, как об огромной яме, в которой рассованы как попало дома. Вокруг ямы какой-то невиданный лес с хорошим

запахом. Вместо травы в нем растет чеснок и желтая крепкая ягода, которую, видно, надо раскусывать, как орех. В стороне от заводской ямы большая гора с тусклым, как у давно не чищенного самовара, блеском. По форме гора похожа на лежащего медведя, вроде той медной фигурки, какую приходилось видеть на подоконнике надзирательского дома. По горе мечется босая девчонка в лохмотьях и дико кричит, как обожженная. Внизу стоит человек без плеча, а перед ним малахит. Тот красивый камень, который я знал тогда по черенкам двух праздничных вилок.

С годами это представление изменилось, но все же «старый» завод продолжал казаться каким-то необыкновенным, а Медная гора даже страшной.

Впервые пришлось поехать в Полевский завод, когда мне было одиннадцать лет. В этот год отец долго ходил без работы. Лишь во второй половине лета, придя домой, объявил:

— На старый завод нарядили.

Большой радости, однако, в этих словах не слышалось. Из дальнейшего разговора выяснилось, что в Полевском заводе работа идет с большими перебоями. Мама даже усомнилась:

— Живут же чем-то?

— Тем и живут, что по огородам ямы бьют,— ответил отец и пояснил: — У полевчан ведь это привычка: как есть нечего, так и пошел по огородам золото добывать.

Этот разговор, помню, встревожил меня, но сначала эту тревогу заглушила другая мысль. По случаю вчерашней ссоры со своими близкими товарищами по улице не без торжества подумал:

«Не обрадуются, как скажу им, что на старый завод уезжаем. Сразу, небось, запоют: «Давай мириться! Давай мириться!» А я им еще про огороды тамошние скажу, как там золото добывают! Пусть вперед не задаются! С Петькой и вовсе мириться не стану. Попомнит, как заединщикам носы разбивать! До крови!»

Но эта мстительная мысль сейчас же сменилась другой — тревожной.

«А как же там? Один-одинешенек? На старом-то заводе?»

Петька перестал казаться таким ненавистным.

«Он, может, нечаянно. Сорвалась рука,— мне и попало по носу».

Так и вышло. Все мои товарищи сейчас же безоговорочно помирились со мной, как только узнали о моем отъезде. Петька даже превзошел мои предположения. Он со свойственной ему горячностью стал доказывать, что не столько у него рука сорвалась, сколько мой нос не вовремя подсунулся. Подсунулся, впрочем, нечаянно, и винить меня в этом тоже никак нельзя.

Конечно, в другое время можно было бы еще поспорить — мой нос или его рука виноваты, но тут было не до того. К моему отъезду Петька отнесся с особым участием и придумал устроить по этому поводу «некрутские проводы».

Отец уехал с обратным возчиком в Полевский завод, мама стала «собираться», а у меня начались хлопотливые дни. Надо было проститься со всеми любимыми местами, выкупаться по разным уголкам заводского пруда, кой с кем «додраться», кой с кем помириться на прощанье. Надо было переиграть во все летние игры не только в своем околотке, но и с «низовскими» и с «верховскими» ребятами своей улицы.

Ходил я тогда «некрутом». Несмотря на жаркую погоду, не снимал шапки с прицепленным к ней матерчатым цветком, который Петька самоотверженно стянул с «венчальной иконы» своей матери. И все-таки мне не было весело. Чувствовалось, что для моих товарищей проводы были новой занятной игрой, а для меня это было действительное прощанье со всем милым и дорогим. Необыкновенная уступчивость и даже «прямая поддача некруту» в играх лишь острее напоминали — а как там... на старом-то заводе?

Ближайший к Сысерти участок дороги на Полевской и Северский заводы был хорошо известен. Сюда летом с ребятами ходил за черникой, осенью — за опятами. В той же стороне в те годы отводились лесосеки для заготовки дров населению, и ребята ходили и ездили сюда с отцами. Случалось бывать и дальше — до Северского завода, но лишь по зимнему пути.

Дорога не была безлюдной, но движение по ней носило чисто заводский, производственный характер. Из Сысерти чаще шли обозы порожняка; иногда везли металлический лом для мартеновского производства Север-

ского завода и другие случайные грузы. Обратно из Северского везли чугун для Верхсысертского и мартеновскую болванку для Ильинского листокатального завода.

Здесь приходится сказать попутно об особенностях хозяйства б. Сысертского горного округа.

Имея три завода (Сысертский, Верхсысертский, Ильинский) на восточном склоне Урала и два завода (Северский и Полевской) на западном склоне, заводоуправление находило выгодным для себя обслуживать передел очные заводы восточной группы чугуном и мартеновскими слитками из заводов западной группы.

Правда, Урал здесь сильно понижен, но все же это была горная дорога, притом совсем плохо сделанная. По такой дороге на лошади средней силы можно было увезти не больше двадцати — двадцати пяти пудов.

Такая непонятная, на наш современный взгляд, переброска полуфабрикатов через Урал, на сорок — пятьдесят километров от места производства, имела свое объяснение.

Прежде всего владелец заводов и слышать не хотел о каком бы то ни было новом строительстве. Сумма в четверть миллиона рублей, которая ежегодно снималась с заводского бюджета под названием владельческой прибыли, полностью расходовалась владельцем и его семьей, мотавшейся где-то за границей, а заводы должны были приспособлять производство к старому оборудованию.

Кроме того, многочисленные заводские перевозки были нужны заводоуправлению, как «судебный повод» в деле, которое тянулось чуть не с семидесятых годов.

Заводское население, ссылаясь на то, что посессионер не выполняет своих обязательств — не обеспечивает заводскими работами население, проживающее на территории заводского округа, требовало выделить часть земель под пахотные участки.

Владельческие адвокаты в ответ приводили подсчеты, доказывая, что население полностью обеспечено и даже не справляется с заводскими работами. Видное место в этих адвокатских подсчетах занимали пудо-версты перевозок и старательские работы. Первые были удобны, так как всегда можно было доказать, что часть перевозок, особенно между Сысертью и б. Екатеринбургом, производилась крестьянами, жившими вне завод-

ского округа. Старательские же работы были и того удобнее: сколько вздумаешь, поставь,— проверить нельзя.

Адвокат со стороны заводского населения — какой-то «дворянин Эйсмонт», вероятно тоже состоявший на службе у владельца, оспаривал эти подсчеты, а по существу затягивал дело, и положение оставалось таким же, каким оно было при крепостничестве. Население заводских поселков пользовалось лишь покосными участками, а пахотной земли вовсе не имело. Заводская дача, в которой считалось 239 707 десятин (свыше 260 000 га или 2 600 квадратных километров), оставалась в полном распоряжении заводоуправления.

К этому надо добавить — заводское начальство было уверено, что население, привязанное к месту домишками, покосами и микроскопическим хозяйством, не разбежится, если его еще слегка придерживать такими поводками, как перевозка и право «искаться в земле». Последнее на официальном языке называлось правом разработки золотоносных россыпей.

И заводское начальство не ошиблось. Население, особенно в Полевском заводе, несмотря на давнюю заброшенность этого завода, упорно держалось за родные места. Может быть, это упорство в какой-то мере поддерживалось и многочисленными, оставшимися еще от крепостной поры легендами о «земельных богатствах». Люди верили в это и ждали, что «опять загремит наша Полевая», а пока, руководствуясь только практикой стариков-старателей да кладоискательскими приметами, «бились в земле», переворачивая миллионы кубометров песков. Причем эти миллионы чудовищно преувеличивались владельческими адвокатами как «судебный повод». Те из полевчан, которые разочаровались в песках, «держались за лес»: заготовляли бревна, дрова и древесный уголь для соседнего Северского, а иногда и для Сысертского заводов — либо по «убойной дороге» везли чугун и мартеновские слитки.

Заводское начальство могло быть спокойно: дешевая рабочая сила на подсобных работах и бесперебойная перевозка грузов были обеспечены. Не надо было думать ни о спрямлении, ни даже об исправлении дороги.

Например, от Северского до Верхсысертского по прямой было не больше тридцати верст. Грузов здесь про-

ходило больше всего. Проложить тут дорогу по просекам с использованием существовавшего моста через Чусовую было совсем легко: требовалось лишь расширить просеку, перебросить пару мостиков через мелкие речушки да проканавить подсыхающую часть болота. Однако даже попытки такой не было, и люди везли груз по круговой дороге через Сысерть, делая свыше пятидесяти верст.

Во время своей первой поездки я, разумеется, не знал того, о чем написано выше. Привыкший в уральских условиях ко взгорьям и спускам на любой дороге, я тогда даже заметил, что здесь был перевал из одного водораздела в другой. По-ребячьи лишь почуял, что после Липовского увала произошла какая-то перемена. Как будто до этого растительность была строже, суровее, а за Липовками стала мягче, кудрявее; появились бабочки неизвестной мне окраски; среди привычной зелени сосняка замелькали и бледно-зеленые листья кустарниковой липы (липняка); показались первые ели.

Крепко засели в памяти две дорожных стлани. Одна покороче, другая — ее и звали Долгая стлань — тянулась верстами. Это был настил из жердей по затопляемым весною участкам дороги. Настил делался небрежно, из жердей разной толщины, очевидно, с расчетом засыпать этот настил сверху песком. По отдельным островкам можно было видеть, что такая засыпка и производилась когда-то, но очень давно не подновлялась. Не только ездить, но и ходить по такому настилу из подпрыгивающих или исковерканных жердей было трудно.

Другое, что привлекло внимание,— это пустынность края. На протяжении сорока пяти верст имелась лишь одна приисковая деревушка. Косой Брод, где был мост через реку Чусовую. Кроме этой деревушки, был еще Липовский кордон — что-то вроде станции для возчиков чугуна и мартена. Этот кордон был как раз на половине пути от Северского до Сысерти.

Чусовая, о которой я слыхал, как о главной реке «Полевской стороны», произвела обратное впечатление: стал вслух удивляться, зачем над такой речонкой построен большой и высокий мост.

Обратный возчик, с которым мы ехали, усмехнулся:

— Мы вот, как весной ездим, так другое говорим. Такой ли мост на этой реке надо! Того и жди,— разнесет по бревнышку. А им что! Сами, небось, в эту пору не ездят, а до нашего брата им и дела нет.

Я прекрасно понимал, что они — это заводское начальство; привык слышать, что всегда начальство старается сделать во вред рабочим, но здесь мне показалось требование чрезмерным.

— Над такой-то речонкой! Да у нас в Сысерти около Механического пруда вон какая ширь, а мост меньше здешнего.

— Не спорь-ка ты, не спорь! — вмешалась мама.— У нас ведь мост над спруженным местом, а здесь вольная река. Сама хоть не видела, а слыхала, что весной она сильно бушует.

— Того вон места не видать,— показал возчик на далекие кусты вправо от реки.

Я просто не поверил этому и по-ребячьи подумал: «Задается своей Чусовой, а тут и лошадь искупать негде!»

После Чусовского моста дорога расходилась: вправо — хорошо накатанная, даже избитая — в Северский завод, прямо — в гору такой же ширины, но какая-то зарастающая, похожая на зимник, шла дорога «на старый завод».

II

Как-то потом, в более позднем возрасте, мне пришлось «искать по приметам» один дом в Мраморском заводе.

Знакомый кустарь, приглашая к себе, говорил:

— Мой-то домик легко найти. От всех он на отличку. На мраморе поставлен, мрамором прикрыт, с боков столбы, а посредине окошко вроде венецианского. Не ошибешься небось. Хоть не широко живу, зато у всякого на примете.

Казалось, что найти такой заметный дом в маленьком Мраморском поселке вовсе не трудно. На деле оказалось не так. Дважды прошел по единственной тогда улице поселка, но ничего похожего не увидел. Удивился, когда проходившая женщина показала пальцем на неказистую хибарку с единственным окошечком.

Только приглядевшись, понял, в чем тут дело: точные приметы указывались в шутливом тоне, а были приняты всерьез.

Избушка, верно, была «совсем на отличку» от всех других построек завода.

Стены были связаны не в угол, как обычно, а сложены в столбы, как забор. Нижние бревна опирались на подобие фундамента из обломков серо-грязного камня. Крыши привычного вида избушка не имела. Сверху настланы были тонкие драницы, а чтобы их не сбрасывало ветром, на них наворочены были крупные обломки того же серо-грязного камня, что и внизу. Даже окошко, пожалуй, было можно назвать венецианским: ширина у него была гораздо больше высоты.

Мой мраморский приятель, несмотря на последнюю стадию чахотки, был неизменно веселый человек. Услышав о моих поисках, он сначала расхохотался, потом стал делать шутливые предположения:

— Искал, значит, дом на мраморном цоколе? Крышу из мраморной плитки? В голубой тон? Окошко в сажень ростом? По цоколю, поди, чеканку глядел? Самыми крупными литерами пущено: «Здесь проживает, нисколь горюшка не знает надгробных дел мастер Иван Степаныч Свешников». А внизу, в венчике: «Плиту делаю на совесть: живому не в силу, мертвому вовсе не поднять. Милости просим, го-го, заказчики».

Посмеявшись над моим легковерием, уже в «учительном тоне» добавил:

— Нет, друг, такого у нас не водится, чтобы сделанный камень дома держать. Как кончил работу, так и сдаешь поскорее заказчику либо в город везешь. Там у нас есть благодетели: чуть не даром принимают, а сдаешь — не обратно же везти. До́ма-то у нас только обломки камня остаются. Этого добра девать некуда. Придумали вон на дорогу валить — мостим будто. Ну, свои-то помалкивают, а кому со стороны случится проезжать по нашим дорогам, те ругаются: испортили дорогу остряком! Лошадь может ноги извести, да и колеса разбиваются.

Кончил все-таки шуткой:

— Вот и угоди людям! Того не понимают, что наши дороги чистым мрамором деланы. Только будто не пошлифованы и воском не натерты.

Этот забавный случай остался в памяти, как пример разрыва между действительностью и представлением, составленным с чужих, неверно осознанных слов.

Такой же — помню — разрыв получился и тогда, при первом моем знакомстве с Полевским заводом.

Все было так, как мне говорили, и все-таки нисколько не походило на то, как я себе представлял.

Прежде всего никакой заводской ямы не оказалось. Главная часть заводского поселка была расположена на довольно ровном месте, ниже заводской плотины. В Сысерти и в Северском мы жили на улицах, которые с нагорья спускались к заводским прудам. Это создавало известный простор, осветление, воздушную перспективу. Здесь, в узких, длинных улицах, упиравшихся одним концом в насыпь плотины, казалось глухо как в яме.

Вскоре стало понятно, что Полевской завод можно было назвать тогда ямой и в другом смысле, как очень глухой угол. Железной дороги в Челябинск тогда еще не было, и завод стоял «на отрыве» от других населенных пунктов. Заметное движение было лишь между Полевским и Северским заводами, но и это движение было односторонним: ездили только полевчане. Туда возили уголь и дрова, оттуда мартеновские слитки. По этой же дороге, через Северский завод, везли «в город» (б. Екатеринбург) готовые изделия: железо и штыковую медь. Дальнейшее направление «городской дороги» определялось мостом через Чусовую в селе Кургановском и селом Горный Щит. Через Курганову, впрочем, ездили лишь в весеннюю пору, а летом, когда Чусовая мелела, и зимой всячески «спрямляли» дорогу. Было ли тут действительно спрямление, судить не берусь. Несомненно одно, что все виды лесных дорожек одинаково не походили на тракт и одинаково выводили к Горному Щиту. Здесь обычно полевские возчики металла делали остановку на ночлег, ранним утром уезжали в б. Екатеринбург и, сдавши там груз, к вечеру вновь приезжали сюда на вторую ночевку. Может быть, это был своего рода исторический пережиток от того времени, когда обозы железа и караваны меди еще отправлялись под вооруженной охраной до крепости Горный Щит.

Считалось, что по «городской» дороге шло движение через Полевской завод на Уфалей, Касли и Кыштым,

но в действительности этого не было: туда предпочитали ездить из Екатеринбурга по тракту через Сысерть, а из Полевского ездить в Уфалей было некому и незачем.

На запад от Полевского не было даже и проселочных дорог. В этой стороне Сысертская заводская дача смыкалась с наиболее слабо освоенными участками Ревдинской и Уфалейской. Все это место, свыше тысячи квадратных километров, было занято лесом, который потом переходил в лесостепь по речкам Нязе и Бардыму, уже Уфимской, а не Чусовской системы. Человеческое жилье в этом лесном участке можно было встретить лишь в виде покосных балаганов, охотничьих избушек да землянок углежогов. В засушливые годы, когда предвиделся недостаток кормов, полевчане пробирались на нязинскую лесостепь и там «пользовались», то есть заготовляли сено, которое с большим трудом можно было вывезти лишь по санному пути. На Бардым ездили за малиной. Ее было так много, что заготовка носила промысловый характер.

Тележные дороги в западном направлении, конечно, имелись, но были так трудны, что чаще отправлялись туда пешком или на верховых, и в Полевском заводе, не в пример другим заводам Сысертского округа, вовсе не редкость было видеть женщину в мужском седле.

Такой оказалась в действительности полевская «заводская яма», где обособленно, почти не видя «посторонних», жило свыше семи тысяч населения.

Пришлось исправлять свое представление о Полевском заводе и по остальным разделам.

Беспорядок в планировке улиц был больше в Заречной части, «по горе». В огородах старательских дудок было не видно, но вблизи заводского поселка было много перемытых и разрабатываемых песков. Пахучий пихтач оказался вкраплением в сосновые леса привычного для меня вида. Чтобы найти дикий чеснок, надо было знать места, где он растет. «Крепкая ягода морошка» оказалась лишь твердоватой и не особенно вкусной.

Фабричные здания, на мой взгляд, ничем не отличались от тех, что я видел по другим заводам округа. Обращала на себя внимание лишь работавшая еще тог-

да медеплавильня. Это было низенькое, похожее на большую кузницу здание с необыкновенно толстыми каменными стенами. В медеплавильне было довольно темно, но все-таки на одной из стен вблизи узкого окна можно было прочитать надпись на чугунной доске. Тут говорилось, что завод основан в 1702 году по распоряжению думного дьяка Виниуса.

Помню, тогда меня очень занимало участие в заводском деле дьяка, которого я отождествлял с церковными дьячками, но мои исследовательские попытки не имели успеха. Взрослые отмахивались от этого вопроса, как от пустякового.

— Ну, мало ли что напишут. Может, был какой-нибудь, а может — и вранье одно.

Только один из моих полевских сверстников сделал удовлетворившее меня предположение:

— Что ты думаешь? Из дьячков-то ведь дошлые бывают. Вон при здешней церкви один есть — еще зубы ему вышибли... Так он, сказывают, лучше всех блесенки мастерит. Вот и узнай их, дьячков-то! И тоже пьяница несусветная. Не лучше этого. В вине уса-то!

Впоследствии я мог догадаться, что мемориальная доска с именем А. А. Виниуса была чем-то вроде грачиного гнезда английских аристократических парков. Там, как рассказывал Диккенс, очень дорожили грачиными гнездами, как признаком древности парка, а здесь владельцы уральских заводов не прочь были щегольнуть один перед другим давностью своих заводов. Имя Виниуса было поставлено вовсе зря: по его приказу в 1702 году было произведено лишь правительственное обследование открытого арамильскими рудознатцами Гумешевского рудника, постройка же завода началась уже при Геннине, в 1724 году.

Гораздо яснее, чем мемориальная доска, говорило о крепостной старине внутреннее оборудование медеплавильни. Особенно была заметна печь, в которой «томили» медь. Это был открытый сверху чугунный сосуд, в который с каждой стороны проходило по шесть тонких трубок-воздуходувок. Чтобы очистить медь от нежелательных примесей, ее «дразнили»: посыпав угольной мелочью расплавленную массу и до предела усилив дутье, совали сверху окоренный, но еще достаточно сырой березовый кол. Березовый сок сейчас же вызывал

бурное кипение, и печь начинала «плеваться», «спускать пену». Когда печь «проплюется» и «медь упореет», массу разливали по изложницам, где она и остывала небольшими плитками по полпуда (около десяти килограммов) весом. Почему-то эти плитки назывались штыками. В таких штыках медь и продавалась из заводских магазинов или увозилась в б. Екатеринбург.

Березовый кол, как оказывается, был бессилен отделить драгоценные примеси меди, но «медной пеной» все-таки интересовались. Взрослые приписывали ей целебные свойства, говорили, что она помогает при переломах, от грыжи и т. д. Ребятишки собирали остывшие металлические брызги — шарики — в качестве игрушек и менового знака. Эти шарики «медной пены» потом сортировались по величине и даже по цвету. За «пузырек» таких шариков давалось от пяти до десяти пар бабок. Выше всего ценились у ребят наиболее крупные шарики с беловатым оттенком. Говорили, что тут есть серебро, хотя это было неверно. Березовым колом, как оказывается, даже самый опытный мастер-практик мог «выдразнить» лишь такие мешавшие ковкости меди примеси, как кобальт, никель, висмут, мышьяковистые соединения, но не золото и серебро.

И без мемориальной фальшивки даже ребенку было понятно, что в медеплавильне все осталось таким, каким было в крепостную пору. Так же, вероятно, дробили руду окованными железом бревнами — пестами, таким же порядком «умельцы медного литья» «варили медь», с помощью березовых кольев «спускали пену» и, выждав, когда масса «упореет», вычерпывали ее ковшами и разливали по изложницам с той же заводской маркой — цапля. Разница была лишь в том, что тогда, в крепостную пору, здесь стояло несколько таких печей, а теперь работала, и то с большими перебоями, одна последняя. Наберут в отвалах Гумешевского рудника тысячу-две пудов руды, старые мастера превратят эту руду в медные штыки, и медеплавильня закрывается на неопределенное время. О восстановлении затопленного еще в 70-х годах Гумешевского рудника даже и разговора не было. Он считался безнадежно погибшим, а с ним умирало и медеплавильное производство.

Все-таки больше всего меня обманула Медная гора.

Подъезжая к Полевскому заводу, я первым делом

искал глазами эту Медную гору, которую так ясно представлял. Кругом завода было много обычных для Урала покрытых хвойным лесом гор, но Медной горы не было. В Заречной части заводского поселка гора спускалась скалистыми уступами к речке. Уж не эта ли? Но возчик сказал, что это Думная, и пояснил:

— Тут, сказывают, Пугачев три дня сидел, думал. Оттого Думная и называется.

Это показалось интересным, но все-таки — где Медная гора? На вопрос об этом возчик указал пальцем направление и сказал:

— Не видно ее из-за домов-то.

От такого пояснения моя гора, конечно, много потеряла.

«Какая это гора, коли из-за домов не видно! Так, видно, горочка какая-нибудь!»

Когда же через несколько дней увидел Гумешки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нем даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами. Возвратившись с Гумешек, с азартом стал «уличать» отца в обмане, но отец спокойно повторял свое прежнее объяснение:

— Я же говорил, что рудник это. Медную руду добывали. Значит, гора и есть. Всегда руду из горы берут. Только иная гора наружу выходит, а иная в земле.

— Тоже объяснил! Что это за гора, если ее не видно!

Бабушку я даже укорить не мог, так как она осталась «домовничать» в Сысерти. Написать ей письмо тоже было бесполезно: она была неграмотна.

— Вот какая! Сколько раз говорил: «Давай научу читать и писать. Давай научу!» А она свое заладила: «Опоздала, дитенок. Седьмой десяток мне». Вот тебе и седьмой! А теперь бы как пригодилось!

Успокоился тем, что решил при первой встрече «как следует отчитать» бабушку за все: за Медную гору, за яму, за чеснок, за морошку. Но и это не удалось. Ко времени нашей встречи уже хорошо понимал, кто был виноват в неправильном представлении о Полевском заводе.

III

Полевской завод был первым по времени и едва ли не самым многолюдным в Сысертском заводском округе. Правда, в Сысертской волости считалось в 90-х годах свыше одиннадцати тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка: Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашину. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше семи тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше: в обоих селениях этой волости не насчитывалось и четырех тысяч.

Между тем фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков.

Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газо-пудлинговая и одна листокатальная. Всего на Северском заводе было занято свыше пятисот человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек.

В Сысертской части на одиннадцать тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, восемь газо-пудлинговых, шесть сварочных, три листокатальных, две листораспарочных и две вагранки. Занято было тысяча сто рабочих, или один на каждый десяток населения.

В Полевском же заводе на семь тысяч населения имелось четыре пудлинговых, три сварочных печи да архаическая медеплавильная, в которой изредка «варились крошки старого рудника». Фабричных рабочих по заводу было меньше трехсот пятидесяти, или один на двадцать человек населения.

Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и одиннадцатилетнему мальчугану.

На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос: «где у тебя отец робит?», в Сысерти обычно слышалось в ответ: «в паленьговой», «на сварке», «под домной», «на механическу ходит», «на Верхний бегает», «листокаталем на Ильинском». Здесь же чаще отвечали совсем по-

другому: «куренная наша работа», «из жигалей мы», «на лошадях робим», «на лошади колотится», «на людей в курене ворочает», «так, по рудникам да приискам больше», «старатель он», «золото потерял: пески переглядывает», «около мастерской кормится», «охотничает по зимам-то», «ремеслишко маленькое имеет».

Обычная в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалась разве у многолошадных да углежогов, остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя, очевидно, оценку взрослых в своих семьях.

В Полевском того времени, и верно, полудикую тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые бо́льшую часть времени жили в лесу. Летом «до белых комаров» заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины, и подростки. Слова: «куренная наша работа», «из жигалей мы» — означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой «наследственной» работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались:

— Кожа к костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас всех дедушко. Ему бы только работай, а похлебать одной поземины, да и то не досыта. А ему одно далось: «Робь, не ленись! Урежу вот бадогом-то! Не погляжу на отца с матерью!»

Положение подростков и особенно молодых женщин, которых «таскали в лес с пеленишными ребятами», было, действительно, крайне тяжелое, и только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов.

О положении наемных рабочих— хоть редко, а все-таки это бывало — едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, в самых первобытных условиях и «ворочать вовсю», а плату тут ужать умели.

Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, «знались и роднились» преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки «со сто-

роны» редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов,— на каторжную куренную работу.

С одним из подобных семейств мы «приходились в родстве», и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с «горницей, через сени». Горницей, однако, не пользовались. Там даже печь не топили, чтоб «ненароком не заглохло имущество в сундуках». С едой туда тоже нельзя было входить,— еще мышей приманишь! Пол был устлан половиками трех сортов (по числу невесток в семье), но сверх половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати «в полном уборе», но никто на них не спал, шкафы с посудой, которой никто не пользовался, и сундуки тремя «горками». Все это было своего рода выставкой, показом, что «живем не хуже добрых людей», единственной утехой женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме.

Безвыездно жили в доме лишь старуха — мать хозяина — да его жена. Они «управлялись по хозяйству», водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в курене. Раз или два в неделю, в зависимости от погодных условий, за хлебом приезжали. Тогда же увозили какой-нибудь приварок: сушеную рыбу, крупу.

Когда вся семья собиралась домой, ютились в «жилой избе», которая тогда становилась не лучше куренной землянки.

Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах.

Старик был именно тот хозяин, «который заморил всех на работе», чтоб в результате иметь необитаемую «горницу с имуществом» да полный двор скота.

Странно было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал «необъезженных степнячков». Может быть, и здесь был скопидомский расчет купить «по круговой цене» редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой «спасались». Чтобы отвлечь внимание

старика либо просто выжить его из избы, которая-нибудь из снох скажет:

— Тятенька, а Игренька-то ровно оберегает заднюю левую?

— Замолола! Кто тебя спросил? — цыкнет старик, но сейчас же спросит: — Кою, говоришь, оберегает? — и, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется.

Кому нужно было поговорить со стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и «виноходце». Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы: «не знаем», «подумать надо», «не наше дело», «нас не касаемо».

Строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен и для всех членов семьи.

— На что ему много грамоты? Научился расписаться, и хватит. По нашему делу больше не требуется, — отвечал старик на просьбы оставить парнишку «доучиться в школе».

— Цыть вы! — кричит он, если женщины заговорят о «чужих делах».

— Ружье завести? А хлыстика не хочешь? Вытяну вот, так будешь помнить: охота — не работа, под старость куска не даст.

Даже обычных в каждом доме удочек у мальчуганов здесь не полагалось под тем предлогом, что «рыбка линьки — потеряй деньки, а кто хомуты починять станет?».

К лесной жизни и лесной фантастике отношение было строгое, деловое.

— Всякий зверь уходит, где лес валить станут, и лешак жигаля боится.

Старик даже по этому поводу рассказывал в поученье младшим:

— Было эк-ту со мной в малолетстве... Наслушался побасенок про девку Азовку... А робили в тот год близко Азова... Ну, я тут эту девку и поглядел... Сейчас забыть не могу... Выполз по ночному времени из балагана, а сам все в то место поглядываю, где Азов-

гора... Боюсь, значит... Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет... Космы распустила, хайло разинула да как заревет диким голосом... Я беги-ко в балаган да давай-ко будить тятю. Он, покойна головушка, схватил вожжи и почал меня охобачивать, и почал охобачивать, а сам приговаривает: «Я те научу в лесу жить. Я те научу Азовку глядеть!» С той поры, небось, не случалось этого со мной. Выучил — спасибо ему — родитель.

На вопрос, кто ревел диким голосом, старик отвечал:

— Страх-от во мне и ревел. Как родитель вышиб его вожжами, так и реветь перестал. — И учительно добавлял: — Вот оно, значит, польза какая, вовремя ума вложить!

Такую же примерно жизнь вели и другие семьи «наследственных углежогов». Только путем самоограничения и самой беспощадной эксплоатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими-то посторонними среди остального заводского населения.

Положение тех, кто «колотился с одной лошаденкой», едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета, так как плата за провоз была снижена до предела. Дело доходило до того, что из Северского завода, который находился на той же дороге, но шестью верстами ближе к б. Екатеринбургу, везли дороже, чем из Полевского. По этому поводу горько шутили:

— У нас ведь не как у людей: дольше проедешь, меньше получишь.

Были в Полевском две-три мастерских, которые использовали навыки медников, камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники, столики с каменной крышкой, шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде. Этим мастерским приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с мраморскими кустарями, которые наряду с могильной плитой и памятниками выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причем камень у мраморчан был мягче, легче для обработки, и вещи выходили дешевле. В таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только «на сорт», на высокое качество работы. Понятно поэтому,

что в Полевском «кормиться около мастерских» могли лишь квалифицированные специалисты, порой настоящие художники, которые «увидели нутро камня» и умели так оправить его в металл и дерево, что он «умному говорил и дураку покою не давал». Из малахита тогда делали только мелочь (броши, запонки), но рассказы о прежних мастерах-малахитчиках были живы в группе камнерезов.

Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими, зато положение подсобных было самое безотрадное.

«Маленькое ремесло имеет» — чаще всего значило: сапожник, реже — портной, столяр, жестянщик, но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе.

Поселились мы сначала у столяра в «задней избе», которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом, во дворе. Столярная работа, особенно когда работают хорошо отточенным инструментом опытные руки, всегда привлекает ребят. Немудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, высказывая полную готовность «пособить дяденьке». «Дяденька» оказался не особенно приветливым и не понимал своей пользы, то есть не давал тупить инструмент, но от мелких услуг: подержать, сбегать за клеем и так далее — не отказывался. И вот раз он говорит:

— Слазай-ко на пятра. Там в самом углу три доски липовых. Увидишь — вовсе белые они. Которая пошире, ту и спусти.

Это уж было поручение, за которым можно было ждать предложения: ну-ко, выгладь доску рубаночком! Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга, когда взлез на пятра. Там в несколько рядов на досках стояли «блюдья» с человеческими головами. «Блюдья» походили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя для «страху» около голов были красные пятна и потеки, легко было догадаться, что это «не настоящие головы». Идти вдоль ряда все-таки было жутко и неприятно. Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски тоже стояло такое блюдо. Волей-неволей приходилось

его сдвигать, и сразу почувствовалось, что оно очень легонькое. Эта легковесность почему-то еще более успокоила, и я, хоть посматривал сбоку на отрубленные головы, все же спокойно сбросил доску под навес. Когда спустился, столяр лукаво улыбнулся:

— Натерпелся страху-то?

— Не настоящие, поди-ко...

— То-то не настоящие! Иные большие пужаются, как нечаянно-то увидят. А кто опять плюется да матерится. На уж, построжись маленько. Сними вон кромку с доски, да за черту не заезжай смотри!

Это была награда за мужество, но мне все-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это работа младшего брата хозяина. Парень тоже был столяром, потом ушел в город и попал работать в иконостасную мастерскую. Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил «хорошо заработать». Он придумал формовать голову «Ивана-крестителя на блюде». Как видно, считал это новинкой и работал «потихоньку от других». Наформовал этих голов несколько десятков и понес продавать, но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошел «по начальству и богатым домам», но нигде не покупали. Одни отказывались — страшно, другие считали грехом «держать фигуру вровень с иконами», третьи просто говорили — не надо. Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали, а рабочие подняли насмех «нового торгована рубленой головой». Так этот «торгован» и уехал из завода «от стыда». Потом, как я услышал, он все-таки разбогател, но не от рубленых голов, а от «дворянских бань с женской прислугой», пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями.

Рубленые же головы так, видно, и остались в Полевском, и угрюмый столяр устраивал себе развлечение, посылая кого-нибудь из незнающих на пятра за доской.

Были, конечно, как и по другим уральским заводам, «ремесленники» по изготовлению и сбыту «драгоценных камней» из бутылочного стекла или «червонного золота» из медной стружки. Многие знали этих «специалистов», но сами они о своем «ремесле» рассказывали, как о «слышанном от людей».

Было и несколько охотников-промысловиков. «Промышляли» главным образом «зверя» (лося) и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов, и в заводском быту нередко можно было видеть дохи из красивых, пышных, но крайне непрочных козлиных шкурок.

Из перечисленных групп занятые перевозками (по-заводски — возчики) составляли самую большую. Еще многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на «казенных» (владельческих) рудниках и приисках, часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков.

Сысертский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но все же за год сдавалось отсюда пудов до двадцати золота. Так по крайней мере значилось по заводским отчетам 90-х годов. В действительности эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной — чуть не втрое против государственной — цене, а старатель всячески «ухитрялся сдать на сторону», «ближе к казенной цене». При распыленности старательских артелей, изворотливости скупщиков и «добрососедских отношениях» со штейгерами, которым платилось владельцами «не очень жирно», это и удавалось вполне.

Можно думать, что и «горное начальство» «не крепко к этому вязалось». В сущности, оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось «раскрепостить старателя от посессионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы за право разработки песков».

В золотоносных песках Полевского района нередко находили самородки довольно значительного веса. Причем находили их иногда в верхних — самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективам — пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались «счастливые комышки», сейчас же устремлялись с других. Сюда же откочевывала часть горнорабочих с «казенных» рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный

характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами «пустяка» «дорогую породу», иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность, но многолетний практический опыт старателей тоже, конечно, содействовал «счастливым находкам». Хорошие золотые жилки «попадали» больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое:

— Этот места знает. Сквозь все пески прошел. С первой лопаты видит, положено ли тут.

— Щегарь по плану, а этот по пенечкам да по камешкам. Подойдет к какому надо, загонит каелку — это место! Вот те и весь план! И будьте спокойны — найдет, не ошибется.

— Ему бы только до старой земли достукаться, а там уж он сразу разберет, как по книге.

К такому простому и в сущности правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка.

— Словинку знает.

— Пособничков, видно, имеет, да нам не сказывает.

— В тот раз в кабаке похвалялся — полозов след видал. Потому и находит!

— Дедушко у них на эти штуки дошлый был. Он, поди, и открыл всю тайность.

Когда случалось «натакаться на богатимое место» совсем неопытному старателю, подобные разговоры о тайном слове, тайной примете, тайных пособниках усиливались.

— Не иначе, сини огонечки подглядел.

— Сидит будто и видит — у камня медянки играют. Цельный клубок их. Перевились все, а головами-то друг дружку подтыкают. Он и заметил этот камешок. Копнул тут, да и выкопнул штучку в три фунтика! Понимай, значит, какие это медянки играли!

— На ходок, говорят, напал. От старых людей остался. Он и давай тут колупаться, да и выгреб свою долю.

— На ходок-от попасть, так уж тут дело верное. Стары люди знали. Зря ходок не сделают.

Разговоры о таинственном Полозе, о синих огоньках и змеиных клубках, как показателях золотоносных мест, мне случалось слыхать и в Сысертской части округа,

но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумешевского рудника, как и другие фантастические образы.

IV

Представляешь себе теперь картину прошлой жизни.

Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасали медеплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. Не было ни клочка пахотной земли, и все-таки население заводского поселка цепко держалось за родные места.

Сопоставляешь, как быстро пустела Сысерть во время промышленного кризиса 1900—1903 годов. Припоминаешь целые улицы заколоченных домов в Северском заводе в начале восстановительного периода 1921—1925 годов. Здесь же, при крайне угнетенном положении производства в 90-х годах, когда на фабрике было занято лишь триста пятьдесят человек, квартиру найти было нелегко. В чем тут дело?

Думаешь об этом и приходишь к выводу, что главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый Гумешевский рудник, воспитанные работой на нем производственные навыки и твердая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумешек.

История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый, заброшенный, еще не написана. По тем сведениям, которыми мы располагаем, можно утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой меди по западному склону Среднего Урала. Одно из тех мест, о котором профессор А. Е. Ферсман в своей книге-поэме «Цвета минералов» говорит:

«Как мишурная роскошь, вспоминается нам малахит наших медных рудников, с грандиозностью запасов которых не могло сравниться ни одно месторождение мира: то бирюзово-зеленый камень нежных тонов, то темно-зеленый с атласным отливом (Средний Урал)...»

В приводимых в V томе «Летописи» В. Н. Шишонко «Сведениях о минеральных богатствах Пермской губер-

нии» видно, что в Гумешевском руднике добывалось и встречалось:

Малахит. Лучистый, мелкокристаллический, почковатый и сплошными массами.

Медная лазурь. Мелкими кристаллами, наросшими на буром железняке.

Медная зелень. Сплошными массами.

Медный колчедан. В сплошных массах.

Красная медная руда. В сплошном виде и кристаллами, являющими иногда сложные комбинации правильной системы.

Медь самородная. Мелкими кристаллами в форме октаэдра, наросшими на землистом буром железняке либо на плотной красной руде.

Брошантит. В виде шестовато-кристаллических агрегатов и мелкими кристаллами изумрудно-зеленого цвета, наросшими на плотной красной медной руде.

Фольбортит. Чешуйками зеленовато-желтого цвета, наросшими на буром железняке.

Халькотрихит. Волосистыми кристаллами карминно-красного цвета, наросшими на буром железняке.

Элит. В виде гроздеобразных почек на буром железняке.

Такое минералогическое разнообразие неизбежно должно было вызвать к жизни камнерезное дело как боковую отрасль. Главное же было в мощности залегания.

Гумешевский и лежавший рядом с ним Полевской рудник и были той жемчужиной, ради овладения которой началось движение на юго-запад от г. Екатеринбурга.

Крепость Горный Щит строилась, чтоб защищать дорогу туда с севера, крепость Полдневая (Полдневское село) была основана для защиты с юга, а Полевской завод закладывался для использования рудных богатств «двух гуменцев», открытых близ речки Полевой.

Строитель завода Геннин высоко ценил полевские руды. В одном из писем Петру I он, рассказывая о расходах на строительство новых заводов, обещал: «А ныне тебе бог заплатит вдруг от полевской и гумешевской, такожде от кунгурских и яйвинских медных руд весь убыток скоро» («Горный журнал», 1726 г., кн. 5).

Однако этому обещанию не суждено было исполниться. Вороватые царские чиновники и немецкие специалисты вели дело все время с убытком. Полевской завод выплавлял за год от 250 до 1000 пудов меди и лишь в последний год «казенного содержания» дал 4577 пудов (у Чупина в «Географическом и статистическом словаре»).

Можно думать, что немцы, стоявшие тогда во главе завода, и сами не знали ценности Гумешевского месторождения. Косвенным подтверждением этого может служить картина расхищения казенных горных заводов. Начавший это «для интересу ее величества полезное» дело разбазаривания государственных заводов немец Шемберг ухватил себе самый лакомый кусок — Гороблагодатские заводы и Лапландские медные рудники. Потом этот кусок у немецкого проходимца перехватил «доморощенный орел» граф Шувалов. За ним протянула руки и остальная «плеяда Елизаветина двора»: другой Шувалов, оба Воронцовы, граф Чернышев и лейб-кампанеец Гурьев, фельдмаршал князь Репин...

Каждый из этой «стаи славных» старался урвать кусок побольше и пожирнее. Особенно отличился граф М. Воронцов, захвативший Ягошихинский, Пыскорский, Мотовилихинский и Висимский заводы; Роману Воронцову отдан был Верхисетский завод; графу Чернышеву достались Юговские; Гурьеву — Сылвенский и Уткинский и т. д.

Среди больших дворцовых птиц, растаскивавших казенные заводы, оказался лишь один ястребок попроще — соликамский «солепромышленник и фабрикант в ранге сухопутного капитана» — Турчанинов. Этот угодил царице изготовлявшейся в его мастерской медной посудой и получил Гумешевский рудник с Полевским и Сысертским заводами.

Турчанинов не в пример вельможным заводовладельцам оказался «рачительным хозяином». В то время как те, не заплатив казне ни копейки условленной стоимости заводов, приписали себе сотни новых крепостных, наделали дополнительных долгов и начали продавать заводы в другие руки, этот стал быстро богатеть. Главным источником его богатства оказалось сначала медеплавильное производство на гумешевских рудах.

Турчанинов по опыту своей прошлой работы, как видно, хорошо оценил высокие качества старых русских мастеров по меднолитейному делу. Получив в свое распоряжение Полевской завод, Турчанинов, как рассказывали в Полевском, в первую очередь привез сюда этих мастеров, а также «своих рудознатцев и рудобоев».

В исторической литературе мне до сих пор не удалось найти подтверждения этим рассказам, но обилие в б. Сысертском округе фамилий, прозвищ и слов несомненно северного происхождения, исключительная «однопородность» и «одноверность» населения говорят, что заселение здесь производилось не так, как в других заводских округах. В произведениях Мамина-Сибиряка, посвященных главным образом Демидовской и Расторгуевской части заводского Урала, а также в романе А. П. Бондина «Лога», написанном на основе материалов по б. Тагильскому заводскому округу, нередки мотивы столкновений по национально-бытовым и вероисповедным особенностям (между «хохлами» и «расейскими», между «кержаками» и «никонианцами»). В Сысертском заводском округе, по моим наблюдениям, даже почвы для этого не было. Не помню ни одной заводской семьи, которая бы заметно отличалась от других своими речевыми особенностями, манерой постройки, бытовыми мелочами, не считая, конечно, разной степени экономического и культурного уровня. Концовские столкновения определялись исключительно территориальными признаками: мальчуганы дрались одна улица против двух соседних, у подростков и «холостяжника» был более широкий масштаб (Зарека против Скату). Отражались иногда и разногласия производственного порядка, хотя бы в обидных кличках: жженопятики (фабричные), кроты и пескомои (горнорабочие и старатели), лесовики (углежоги) и «несчастный подряд» (возчики).

По вере все числились православными. В основном большинстве выполняли житейские обряды: «венчались», «крестили ребят», «отпевали умерших», держали иконы, но большого усердия к церковным делам не проявляли. Для мужчин считалось достаточным сходить в церковь на пасхе или на рождестве да в свои именины. Излишне усердствующих презрительно звали боголизами (все божьи следочки оближет!) и боголазами

(забота есть — на бога лезть). Говели чаще старухи, реже старики, а из молодых лишь те, кто собирался жениться или выходить замуж. (Чтоб заминки не вышло от попов! По полному, значит, закону, как полагается.)

Мне как-то приходилось читать, — кажется, у К. Д. Носилова,— что руссификаторы севера считали подобное «обрядоверие» особенностью «обращенных» коми. Один такой фанатик русификации жаловался:

— Не разберешься, верят они или не верят. Икон не прячут, священников принимают, сами иногда в церковь ходят, обряды крещения, венчанья, погребенья выполняют без напоминания, но все это при полном религиозном равнодушии. Так, для порядка.

Цитата дана произвольно, как уложилась в памяти, да и мнение не представляет такой ценности, чтобы приводить его со всей точностью, но оно все же запомнилось. Читая это место, невольно подумал: «Точь-в-точь как в наших заводах». Может быть, это запомнилось как обратный пример, подтверждавший уже сложившуюся мысль. Наблюдения языкового порядка — в частности над двойными сысертскими и полевскими фамилиями, где уличное прозвище казалось русским переводом неизвестного слова,— говорили, что заводской округ, если не сплошь, то в подавляющем большинстве был заселен выходцами из северных областей. В том числе, конечно, было немало и «обращенных», то есть насильственно окрещенных и русифицированных коми и коми-пермяков. Иногда отметка о национальности и северном происхождении оставалась в фамилиях: Зыряновы, Пермяковы, Олонцевы, Вологодцевы, Устюжанины. Чаще об этом можно было лишь догадываться по значению слова: Чипуштановы, Черепановы, Подкины, Наносовы, Летемины, Тулункины, Мухлынины, Талаповы и пр. Разумеется, много было фамилий и обычного типа — от производства: Валовы, Засыпкины, Кузнецовы, Ширыкаловы; от лесной жизни: Медведевы, Зайцевы, Хмелинины; от имен и различных прозвищ: Антроповы, Григорьевы, Савелковы, Потопаевы, Полежаевы, Потоскуевы и т. д.

Опираясь на привезенных с собою мастеров, рудознатцев и рудобоев, Турчанинов в первый же год владения увеличил выплавку меди более чем вдвое «против

казенного содержания». В последующие годы выплавка все время росла и к концу первого десятилетия перевалила за двадцать семь тысяч пудов. И дальше в течение столетия эта цифра выплавки шла средней, повышаясь иногда за тридцать тысяч, а в один год (1866) даже до сорока восьми тысяч.

При бесплатном крепостном труде полевские медеплавильни и гумешевское месторождение стали золотым дном для владельцев и самой жуткой подземной каторгой для рабочих.

Не зная процентности руды, невозможно представить объем горных работ, но, несомненно, при технике того времени он требовал очень большого количества рабочих.

Отсюда можно сделать вывод, что население Полевского завода в подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на Гумешевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало стариков, которые «до воли» и «после воли» работали забойщиками на этом руднике.

Те же, что работали по разборке руды (дети) или «бегали с собакой» (подростки-катали), были еще совсем не старыми.

При широком применении труда детей, подростков и женщин работа на Гумешках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского завода. Неудивительно поэтому, что, когда в 1871 году рудник затопило, заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и старательскими работами.

Понятен и другой вывод.

О Гумешевском руднике, где в течение сотни лет гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и рассказы чуть ли не в каждой рабочей семье.

Огромное богатство и минералогическое разнообразие, а также то обстоятельство, что рудник и при его открытии был старым, оставленным, вносили в рассказы о Гумешках элемент непонятного, чудесного. Гумешки расценивались как «самое дорогое место», но объяснить это неграмотный горняк прошлого мог только с помощью фантастики.

Чаще всего говорилось о «старых людях». По одним вариантам, эти «старые люди» «натаскали тут всякого

богатства, а потом, как наши пришли в здешние края, эти старые люди навовсе в землю зарылись, только одну девку оставили смотреть за всем». По другим вариантам — «старые люди вовсе в золоте не понимали, толку не знали. Хотя золота тогда было много, его даже не подбирали. Потом одна девка ихняя наших к золоту подвела. Беспокойство пошло. Тогда старые люди запрятали золото в Азов-гору, медь в Гумешки вбухали и место утоптали, как гумно сделали. А девку ту в Азов-гору на цепь приковали. Пущай-де до веку казнится да людей пужает. Таковско ей дело!» По третьему варианту, «стары люди вовсе маленькие были». Они ходили под землей по одним им ведомым «ходкам» и «знали все нутро». Потом опять случилась какая-то «девичья ошибка», и «стары люди из здешних мест ушли, а девку с кошкой за хозяйку оставили». «В какое место девка пойдет, туда и кошка бежит. Когда оплошает, уши у ней из земли высунутся да синими огоньками горят».

Таких вариантов было много. Общее в них было только «стары люди» да «девка». Последняя называлась иногда Азовкой, иногда малахитницей.

Была и другая версия сказов, где фигурировали больше «старая дорога» и горы Азов и Думная. Эту версию сказов надо отнести скорее к кладоискательским: говорилось о кладах, а не о «земельном богатстве».

По этой версии выходило, что вблизи Полевского завода проходила большая дорога. По этой дороге шло много обозов со всякими товарами, а «вольные люди» подстерегали и грабили эти обозы. Захваченное складывали в пещеру Азов-горы. Эта гора, а также Думная служили вольным людям как сигнальные вышки. Когда вольным людям пришлось уйти отсюда, они оставили при своих складах «девку Азовку».

Положение этой «девки» определялось по-разному. Одни называли ее «женой атамана», «его полюбовницей». Другие это оспаривали: коли такая была бы, так давным-давно состарилась бы и умерла, а эта и посейчас такая, какой была. Она вовсе из старых людей им досталась. То и сидит век-веченский, а сама не старится.

Отношение «девки» к охране клада тоже изображалось неодинаково. То она была добровольной храни-

тельницей, которая «никого близко не допустит». То она была прикована цепями в Азов-горе и отпугивала людей своими стонами и криками.

Между прочим, эта «стара дорога», неизменно и упорно упоминавшаяся в сказках о кладах Азов-горы, была одним из толчков, побудивших меня рыться в исторических материалах о «путях сообщений». В изданной в 1838 году книге П. А. Словцова «Историческое обозрение Сибири» я нашел подтверждение, относящееся к периоду с 1595 по 1662 год, то есть ко времени, когда на Урале не было еще ни одного железоделательного завода, но уже строились крепости и остроги. «Была еще летняя тропа для верховой езды, пролегавшая из Туринска, после из Тюмени через Катайский острог на Уфу по западной стороне Урала, с пересечкой его подле Азовской горы».

Дальше рассказывалось и о характере движения.

«И по этой тропе происходили пересылки воевод, в нужных случаях, особенно в последней декаде периода, исключая одного раза, когда в 1594 г. велено было отряду служилых, из 554 человек состоявшему, пробраться в Сибирь от Уфы степью».

Выходил опять разрыв между представлением и действительностью. Оказалось, что те «трудные дорожки», которыми полевчане пробирались на Нязинскую степь и могли добраться до Нязепетровского завода, пролегали по местам исторической тропы — старой дороги сказов. Казалось трудным представить, что по таким местам проходили «обозы с товарами». Может быть, впрочем, тут действовала разница во времени: то, что считали дорогой в XVI и XVII веках, казалось неосвоенным местом в конце XIX века. Гораздо проще было представить, что по этой второстепенной и поэтому менее строго охраняемой колонизационной дороге пробирались в Сибирь «беглые», которые, «сбившись в ватаги», превращались в «вольных людей». Возможно, что эти «вольные люди» и нападали на «воеводские пересылы», которые могли интересовать ценностями, конями, оружием и вообще как живая враждебная сила.

Азов в этой части Урала самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому со всех сторон близко подступает лес. Это создает очень выгодное положение для наблюдателей: оставаясь незаметными из-за

леса, они на десятки верст могли видеть окрестности. Такой же голой скалистой вершиной оканчивалась и Думная гора. Легко было поверить, что обе эти горы, расстояние между которыми по прямой около десяти километров, могли служить сигнализационными вышками.

В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века «два гуменца промеж речками Полевыми», где, кроме рудокопных ям, оказалось «изгарины многое число, что выметывают кузнецы из кузниц», были просто остатками работы одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь, в удобном месте. Ведь известно же, что крестьяне Арамильской слободы задолго до постройки в этом краю первых заводов плавили железо в «малых печах», продавали его и даже платили за это «десятую деньгу». Почему таких же «плавильщиков» и «ковачей» не предположить среди ватаги «вольных людей»? Потребность в металле у них, конечно, была большая: и для оружия, и в качестве товара, как у крестьян Арамильской слободы.

Пещера в горе Азов подходила для всех вариантов сказов. Одни говорили, что в этой пещере и жили «вольные люди». Другие населяли ее таинственными «старыми людьми». Но и те и другие одинаково утверждали, что попасть в эту пещеру очень трудно. Ход в нее так запрятан, что редкий найдет, а если и найдет — тоже не попадет, так как пещера охраняется таинственными силами и разными страшилищами. Самым страшным хранителем кладов была «девка Азовка». Иногда эта «девка» изображалась такой ослепительной красавицей, что всякий, взглянувший на нее, «навсегда свет в глазах потеряет и вовсе без ума станет». Чтобы получить доступ к оставленным в пещере богатствам, надо было знать «заклятое слово», «потаенный знак», «тайное имя», и тогда доступ в пещеру становился свободным, там встречала гостя девица, угощала его «крепким, стоялым пивом» и предоставляла брать из богатства, «что ему полюбится».

Пароль, открывающий доступ к «захороненным богатствам», а также оставленная при богатствах женщина, по моим наблюдениям, обычны для всех сказов о «вольных людях». Подобное, например, приходилось слыхать по чусовским деревням. В одном сказе, помню,

паролем служили условленные слова песни на точно определенном месте. Когда это совпадало полностью, то открывался ход в скале и оттуда выходила девица-красавица, которая начинала «звать-величать, гостей привечать, про здоровье спрашивать». Когда слова песни и место совпадали не полностью, скала тоже раскрывалась и девица появлялась, но сейчас же все исчезало. «Начнут тут люди спорить, было али не было. Спорят-спорят, и давай друг дружку в воду бросать да топить. Коли все утонут, девка опять выскочит, да и заревет по-лешачиному, а коли хоть один останется, тогда не покажется,— будто и не было вовсе».

В сказах этого типа вполне понятен, конечно, образ женщины, которая ждет и «привечает» своих, отводит, обманывает, отпугивает и даже губит чужих. Такие женщины на судебном языке старого времени назывались «пристанодержательные женки», «воровские женки», «береговые девки», а в сказах они фигурировали как красавицы, жены атаманов и есаулов.

В чусовских сказах о «вольных людях» иногда упоминалась и Азов-гора, как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы.

В сказах о «самом дорогом месте» тоже упоминалась гора Азов. Основанием здесь надо считать обилие ценных ископаемых по равнине около Азова. Кроме двух медных рудников, здесь были залегания прекрасного белого мрамора, который у камнерезов зовется полевским; здесь же, по речкам, были найдены первые в этом районе золотые россыпи.

По местам с открытыми выходами сернистых колчеданов, которые Геннин, видимо, имел в виду под названием «медного ила», в сырую погоду держался густой туман особого оттенка. Этот «синий туман» тоже считался показателем богатства в земле.

Все это, поддерживая сказы о «самом дорогом месте» — Гумешевском руднике, связывалось и с Азовом. Там, говорили, и хранится главное богатство.

В пещере Азов-горы, таким образом, сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, «захороненных в горе вольными людьми», жившими тут, вблизи «старой дороги», и горняцкое — с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление

здесь «земельных богатств». Тут фигурировали «стара земля», «стары люди» и «тайна сила».

Понятно, что при таких условиях сказы одного направления сближались, переплетались со сказами другого направления, и одни образы переходили в другие. «Стары люди» получили черты «вольных людей», и наоборот. Красавица — жена атамана или «береговая девка» судебных приказов — превращается в «каменную девку», в «малахитницу», в «Хозяйку горы». Хозяйка из безразличной хранительницы «земельных богатств» превращается в сознательную: одним помогает, сама показывает, облегчает доступ к богатствам, других «отводит», обманывает или губит.

Враждебна Хозяйка к барам, начальству, всякого рода барским прислужникам, а помогает лишь смелым, решительным и свободолюбивым рабочим, которые в какой-то степени родственны «вольным людям». Однако Хозяйка горы не сводится на роль только пособницы, соучастницы, хранительницы собранного (кладов). Нет, она распоряжается не кладами, а «земельными богатствами», и распоряжается самостоятельно. По своему желанию может допустить разработку, может и не допустить, может с помощью подвластных ей ящериц «увести богатство», может и собрать.

Кроме многочисленных ящериц, в подчинении Хозяйки горы еще бурая кошка. Она ходит в земле, но близко к поверхности, выставляя иногда свои огненные уши. В каком-то подчинении находится и хранительница «главного богатства» «девка Азовка». Иногда, впрочем, этот образ кажется не связанным с образом Хозяйки горы, но все же налет горняцкого тут остается: в перечне богатств горы упоминаются лишь золото и драгоценные камни, а не товары и оружие.

Там, где «самое дорогое место», «главное богатство», неизбежен, конечно, и образ змеи. Это ведь повсеместно — змея и золото связывались. «Змеиные гнезда», «змеиные места» считались верным признаком золотоносности. Это не отрицалось и в книгах, которые по состоянию культуры XVIII века можно отнести к разряду научных.

Так, в 1760 году было издано «Обстоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырех частей... сочиненное и многими чертежами изъясненное... бергкол-

легии президентом и монетной канцелярии главным судьею Иваном Шляттером» — объемистая книга,— на 294 страницы большого формата с 35-ю листами чертежей,— посвященная президенту Академии наук П. И. Шувалову, конечно, была одним из капитальных трудов своего времени. И все-таки в этом «капитальном труде» читаем: «Что о пребывании ящериц, змей и тому подобных насекомых при богатых рудных жилах говорится, то хотя оное за неосновательное почитается, однако узнавание особливо при Колывановоскресенских заводах ясно доказывает, что сего вовсе опровергать не надлежит: ибо множество змей, находящихся там на горе, золотою и серебряною рудами изобилующей, от которых и оная гора Змеиною горою названа, есть явное свидетельство, что такие гады больше водятся в тех местах, где золотые и серебряные руды находятся».

Ящерицы и змеи обычного типа у старателей считались только слугами, пособниками. Среди ящериц одна была главной. Она иногда превращалась в красивую девицу. Это и была Хозяйка горы. Над змеями начальствовал огромный змей — Полоз. В его распоряжении и находилось все золото. Полоз, по желанию, мог «отводить» и «приводить» золото. Иногда он действовал с помощью своих слуг — змей, иногда только своей силой. Иногда роль Полоза сводилась только к охране «земельного золота». Полоз всячески старался не допустить человека до разработки золотоносных мест: «пужал», показываясь «в своем полном виде», «беспокойство всякое старателю производил», утягивая в землю инструмент, или, наконец, «отводил» золото. Реже Полозу давались черты сознательного, полновластного распорядителя золотом: он, как и Хозяйка горы, одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже «подводил золото», других отгонял, пугал или даже убивал.

Между подчиненными Полозу силами нередко упоминались его дочери — Змеевки. С их помощью Полоз «спускал золото по рекам» и «проводил через камень». Чаще всего олицетворением Змеевок считались небольшие бронзовые змейки-медяницы. Широко распространенным было поверье, что эти змейки проходят через камень и на их пути остаются блестки золота. Иногда о Змеевках говорилось без связи с Полозом; они считались одним из атрибутов колдовской ночи, когда рас-

цветает «папора». В эту ночь Змеевки в числе прочей «колдовской живности» вились около чудесного цветка. Вспугнутые человеком, «знающим слово», они сейчас же уходили в землю, и если тут был камень, то оставляли в нем золотой след. Если кладоискатель «не знал слова», Змеевки устремлялись на него и тоже «сквозь пролетали». «Умрет человек, и узнать нельзя — отчего. Только пятнышко малое против сердца останется».

Взаимоотношения между Полозом и Хозяйкой горы были не вполне ясны. Помню, мы потом не раз спрашивали у лучшего полевского сказителя дедушки Слышко о Полозе.

— Он хоть кто ей-то? Муж? Отец?

Старик обычно отшучивался:

— К слову не пришлось, не спросил. Другой раз увижу, так непременно узнаю,— то ли в родстве они, то ли так, по суседству.

V

В «квартире с рублеными головами» жили недолго. Удалось найти лучше — на шлаковых отвалах, за рекой, у самой Думной горы, рядом с женской школой.

Домик строился как квартира для учительниц, но так как он тогда стоял еще совсем на пустыре, то две девушки-учительницы боялись тут жить, предпочитая ютиться в самом школьном здании, где жила и сторожиха. Нам и пришлось «обживать» этот «флигель при девичьей школе».

Взрослые были довольны переменой квартиры, а мне сначала показалось здесь совсем скучно.

На шлаковых отвалах, ближе к берегу реки, тянулись бесконечные поленницы дров. Тут была так называемая «дровяная площадь», где обычно «стоял годовой запас дров» для пудлингового и сварочного цехов. Для охраны дров была поставлена на горе будка с колоколом.

Нельзя сказать, чтобы вид на безлюдную дровяную площадь мог привлекать внимание одиннадцатилетнего мальчугана. Не лучше был и пустырь за домом. Правда, там по перегнившим уже навозным свалкам росли мощные сорняки, в которых неплохо бы поиграть «в разбойники», но играть-то было не с кем. Улица-

одинарка, в конце которой стоял наш школьный флигель, была какая-то совсем нежилая. В противоположном конце, около пруда, стояло здание заводской конторы. Через интервал — мужская школа, потом какой-то заводской склад, потом два-три домика обычного типа, новый интервал — и женская школа с флигелем.

Вечерами здесь было совсем безлюдно.

— Пойдем на гору сказки слушать,— пригласил меня как-то один из моих новых «знакомцев» на новом месте. Я сначала отказался, но приятель настаивал:

— Пойдем, говорю. Сегодня в карауле дедко Слышко стоит. Он лучше всех рассказывает. Про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства. Не слыхал, поди?

Это было даже обидно.

— Не слыхал! Да об этом, поди, все говорят! Как соберутся вечером на завалинке, так обязательно про земельные богатства разговор. Где их искать, как добыть, какой Полоз бывает, в котором месте стары люди жили. Ну, все как есть. В Сысерти у нас такие разговоры в редкость, а тут их каждый вечер слушай! Надоело даже, а ты говоришь — не слыхал!

Товарищ, однако, продолжал приглашать:

— Пойдем! Слышко занятнее всех сказывает. Ровно сам все видел. Что на Медной горе было, так он и места покажет.

Хотя Медная гора, как я уже говорил, больше всего обманула мои ожидания, но интерес к ней был жив. Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышка. Даже потом, когда круг моих товарищей расширился, отказывался по вечерам от игры, чтобы не пропустить дежурство у караулки этого заводского сказителя.

Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это так только — по заводским и волостным спискам. Ребята обычно звали его дедушка Слышко. У взрослых было еще два прозвища, на которые старик откликался: Стаканчик и Протча.

Почему звали Стаканчиком, об том, конечно, легко догадаться, а два других прозвища шли от любимых присловий: слышь-ко и протча (прочее). Никого не удивляло, когда к старику обращались:

— Стаканчик! Ты на Фарневке пески знаешь?

— А то нет?

— Пойдем тогда,— тезку поднесу. Поглянется, так и другой поставлю. Поговорить с тобой охота.

— Это можно... Отчего не поговорить... К нам с добром, и мы не с худом. Что знаю — не потаю.

Даже официальное лицо — «собака расходчик», как его звали рабочие, при месячной выплате кричал:

— Эй, Протча, огребай бабки! Ставь крест — получай пятерку! Не убежала у тебя гора-то?

— Гора, Иван Андреич, не собака, зря метаться не станет.

Среди ожидающих получки смех. Расходчик делает вид, что не понял ответной насмешки, и продолжает подшучивать:

— Сказки там сказываешь. Только у тебя и дела!

— Кому ведь это дано, Иван Андреич. Иному вон сказать охота, а только тявкать умеет.

Опять смех. Расходчик откровенно сердится:

— Ты у меня, гляди!

— На то и в карауле держат. На людей не кидаемся, а глядеть — глядим. Недаром пятерку-то платишь.

— Отходи, говорю... Не задерживай!

— Это вот верное слово сказал.

Когда старик отходит, в толпе одобрительные замечания:

— Отбрил собаку-то!

— Бывалый старичонко. Со всяким обойдется как надо. Переговори его!

Таким бывальцем, «знатоком всех наших песков», ловким балагуром и «подковырой» слыл Хмелинин среди взрослых. Ребятам он был известен как самый занятный сказочник.

Детей старик любил и с ними был всегда ласков.

Старик, по-моему, был почти одинок. Знаю, что у него была «старуха», годов на десять моложе, но она больше «по людям ходила: бабничала, домовничала»... Были ли у них взрослые дети,— не знаю.

Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках, не без задора вскидывал клинышком седой бороды, но все же чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий рост, но все еще не могло потушить веселых искорок в глазах.

Не по росту широкие плечи и длинные руки напоминали, что сила в этом теле была раньше немалая.

У караулки на Думной горе хорошо. Даже надоевшая дровяная площадь с длинными рядами поленниц и широкими полубочьями воды на перекрестках кажется отсюда по-новому. Видно все — до свалившегося полена и сизых пятен на стоялой воде в полубочьях, но все это уменьшилось, стало игрушечным. Особенно забавны бани по огородам за рекой. Они похожи на карточные домики.

Радует глаз круглая, будто переполненная чаша Полевского пруда и уходящая вдаль широкая река — Северский пруд. Красивым кажется кладбище. С горы оно — купа стройных елей в белоснежном кольце каменной ограды. Это единственный яркий кусок среди унылых дальних улиц с заплатанными крышами, покосившимися столбами и разношерстными заборами. Да и весь заводский поселок не лучше. Дома побольше, дома поменьше, а все-таки глазу остановиться не на чем на этой низине под заводской плотиной.

Веселей глядят лишь фабричные здания, когда там есть работа. Только приземистый почерневший четырехугольник медеплавильни всегда кажется унылым и страшным.

В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, было видно лишь серое чуть всхолмленное поле старого Гумешевского рудника. Ближе к берегу Северского пруда прижалось несколько убогих лачужек, а дальше по всему серому полю одни обломки старинных загородок да три тяговых барабана, которые издали похожи на пауков в своих гнездах.

Зато там, за Гумешевским рудником и заводским поселком, насколько глаз мог охватить, однообразная, но красивая лесная картина — темно-синие волны густого хвойного бора. Седловатая волна выше других — Азов-гора. До нее считалось верст семь-восемь, а «может, и больше». Острый ребячий глаз различает на вершине Азова постройку. Это охотничий домик владельца заводов со сторожевой вышкой «для огневщиков».

На плотине «отдали восемь часов». То же повторилось на церковной колокольне. Третья очередь Думной горы. Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий

помост и ждет, когда замрет последний звук с колокольни. Отбил и похвалился:

— Знай наших! Тонко да звонко, и спать неохота! Сразу, поди, на две копейки перед конторой отсчитался.

Не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою «аппетитную».

На дровяной площади уже нет рабочих, пешее и конное движение стало редким, а еще светло, и нет надобности караульщику ходить между поленницами. Самое спокойное время. Часы сказок. Человек пять ребятишек уже давно ждут, но если кто-нибудь попросит сказку, старик всегда поправит:

— Сказку, говоришь? Сказки это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот еще про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Много таких сказок маленьким сказывают. Только я это не умею. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье да про земельные дела — это вот помню. Много таких от своих стариков перенял, да и потом слыхать немало доводилось.

Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве меня топтали, и на золотой горке сиживал. Всякого бывало. Восьмой десяток отсчитываю — понимай, значит! Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался!

Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!

— Думаешь, про тайну силу — правда? — возражал кто-нибудь из слушателей.

— А то как же...

— У нас в школе говорили...

— Мало что в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь, тогда и разбирай — кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?

Старик, как видно, и сам «хотел считать все за правду». Рассказывал он так, будто действительно сам все видел и слышал. Когда упоминались места, видные от караулки, Хмелинин показывал рукой:

— Вон у того места и упал...

— Около дальнего-то барабана главный спуск был. Туда и собрались, а Степан и говорит...

— Теперь нету, а раньше поправее тех вон сосен горочка была — Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда...

Коли приходилось слышать сказ второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же закостеневшими словами. Порой менялся и самый порядок рассказа. По-разному освещались и подробности. Иной слушатель не выдержит — заметит:

— В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил.

— Ну, мало ли... Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде — так!

Хмелинин с десятилетнего возраста до глубокой старости — «пока мога была» — работал исключительно по горному делу.

— Мне это смолоду досталось,— рассказывал старик.— В ваши-то годы я вон там, на Гумешках, руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишко от земли подымется, так его и гонят на Гумешки.

Самое, сказывают, ребячье дело — камешки разбирать. Заместо игры!

Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:

— Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.

Счастье мое, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата — молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки — это вместо пряников считалось, а под плеть не подводили ни разу. И за то им большое спасибо.

Еще подрос — дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные: «Поиграй-ко, позабавься!»

И довольно я позабавился. Медну хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В Гумешках-то дух такой был — по началу будто сластит, а глонешь — дыханье захватит. Ну как от спички-серянки. Там, вишь, серы-то много было. От этого духу да от игрушек-то у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал рудничное начальство упрашивать:

— Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди — умрет, а двадцати трех парню нет.

С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять. Тут, дескать, привольно: дождичком вымочит, солнышком высушит, а солнышка не случится — тоже не развалится.

Не изменилось положение Хмелинина и после падения крепостничества. Разница свелась лишь к тому, что теперь он «больше на себя старался», то есть преимущественно работал в мелких старательских артелях и реже на владельческих приисках.

В этой полосе жизни у Хмелинина был «случай», когда удалось найти крупный самородок — в восемнадцать фунтов. Конечно, Хмелинин от этой находки не получил ничего, кроме вреда. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вся система прошлого, бытовое окружение и бескультурье неизменно вели к этому. Правда, контора не отобрала самородок, не обвинила старателя, не посадила в острог, как бывало с другими, но все-таки «находка ушла» и увела в могилу жену Хмелинина. Постарался тут скупщик золота и кабатчик Барышов. Он под покровом пьяного угара очень быстро вернул выданные за самородок деньги и выставил пропившегося старателя из кабака.

Бесследно этот «случай» все же не прошел. Старик, рассказывая о нем, добавлял:

— Поучили меня. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье старательское уходит.

Понятно, что Хмелинин, на себе испытавший всю тяжесть «крепостной горы» и потом продолжавший работать по горному делу, знал жизнь старого горняка во всех деталях вплоть до «нечаянного богатства». Это давало сказителю возможность насыщать сказы живыми и совершенно правдивыми подробностями.

В 90-х годах Хмелинину было за семьдесят, а на Гумешевский рудник он попал в десятилетнем возрасте. Приходится это на 30-е годы прошлого столетия. Тогда, вероятно, можно было встретить стариков из второго и даже из первого поколения «турчаниновских выведенцев», которыми был заселен Полевской завод. В силу этого некоторые подробности о колонизации, о первых годах работы «на новом месте» приобретают у Хмели-

нина характер исторического документа. Если до настоящего времени не все подтверждено письменными документами, то, вероятно, лишь потому, что поиски были недостаточны.

То же самое, вероятно, надо думать и о встречающихся в сказах указаниях на «особо богатые места». Пусть горняки прошлого были технически безграмотны, пусть они считались порой с разными смешными приметами, все же их многолетний опыт, опиравшийся вдобавок на опыт предыдущих поколений, мог давать немало и ценных знаний. Поэтому не удивляешься, когда читаешь: «По ориентировочным данным в Гумешевском месторождении запасы меди превышают два миллиона тонн. Причем разведки проведены на весьма незначительной площади. По сообщению главного инженера Уралцветметразведки, Гумешевское месторождение заслуживает исключительного внимания» («Уральский рабочий» от 4 ноября 1938 г. № 255).

Красногорка в пору сказителя была покосным участком со следами заброшенного железного рудника. Такой оставалась она в моем представлении, когда в 1936 году воспроизводились сказы, связанные с этим старым рудником («Медной горы Хозяйка», «Сочневы камешки»). И уж только потом, но тоже без большого удивления, узнал, что Красногорка — теперь одна из мощных разработок ценных ископаемых. Как видно, вовсе не зря старатели прошлого «кружились» около этого рудника. Своими жалкими орудиями производства они не могли добиться успешных результатов, но оценка места была правильная.

VI

В какой-то степени специфическим, свойственным по преимуществу Полевскому району, по моим наблюдениям, можно считать лишь опоэтизированный образ «старых людей». В других районах случалось слыхать о «старике», или даже о «старце» (в последнем названии, по-моему, чувствуется отзвук старообрядчества), наделенном некоторыми сходными признаками. Этот «старик», или «старец», так же как «старые люди», «собирает богатство в одно место», «ограждает заклятием», «переносит от людей».

Остальные фантастические образы, как уж говорилось выше, не представляют собой ничего нового. Везде хранитель и хозяин золота — змей, змеиный царь; везде ему служат змеи, некоторые из змей — его дочери. Не знаю, как по Северному Уралу, но по Среднему и Южному этого фантастического змея чаще зовут Полозом, Великим Полозом, вероятно, потому, что здесь издавна идет разговор, частично поддерживаемый натуралистами прошлого (Сабанеев, например), о существовании особо крупного вида змеи — полоза.

Не менее широко был известен и образ «горной», «каменной», «золотой девки», «хозяйки горы». По всему Уралу бродил и «серебряный олень» и его разновидности «зверь (лось) — золотые рога» и «козел — серебряное копытце». Случалось слышать и о «синих огонечках», и об «огненных ушах», и о «синем паучке» — хранителе богатства. Только этот паучок не имел дальнейшего превращения, но его лапы имели свойство далеко вытягиваться по земле, и прикосновение их к голове человека вызывало сон, переходивший в смерть.

Упоминался и «дедко Филин», почему-то всегда в роли противодействующего Полозу, но не встречался больше образ «лисички», как в сказе «Золотой волос». Можно думать, что этот образ пришел извне.

При всей замкнутости Сысертского заводского округа в пору крепостничества все-таки на горных работах были заняты и башкиры. Об этом легко догадаться хотя бы по речевым признакам. Кроме широко распространенных слов, вроде: елань, тулаем и др., здесь были понятны и такие, как сармак (выгода, польза), камча (плеть); встречалось даже русское словообразование от башкирских корней, например, тартмачить (торговать вразнос). Понятно, что и башкирский эпос был в какой-то мере известен русским горнякам, и ходовой в башкирской сказке образ лисички-свахи перешел, видимо, оттуда.

Происхождение образа Полоза — змея-хранителя золота — как-то совсем не интересовало: этот образ казался с детства привычным. Думаю, однако, что образ пришел не от древней символики и не от морализаторских разговоров, а от внешних окружающих впечатлений. Любопытно, что в кладоискательской рецептуре

рекомендовалось «подглядывать» «след Полоза», его «кольца» в вечерние часы, после чего они уходят в землю. Купанье же Змеевок и полосканье в реке золотых кос можно было увидеть чаще всего ранним утром. Не случайно, конечно, говорилось, что сквозь камень проходила не всякая змея, а лишь бронзово-золотистая медянка.

Предположения о происхождении образа Хозяйки горы уже высказывались. Здесь надо лишь повторить, что этот образ далеко перерос свой первоначальный. Хозяйка горы стала олицетворением мощи, богатства и красоты недр, которые раскрываются полностью только перед лучшими представителями трудящихся.

Образ ящерицы как воплощение Хозяйки горы достаточно ясен для всякого, кому случалось видать открытый выход углекислой меди или ее разлом. По цвету, а иногда и по форме здесь сходство очевидное. Можно думать, что подвижность и веселый вид ящерицы получили отражение в образе Хозяйки горы. Недаром Хозяйка всегда изображалась очень подвижной, быстрой в решениях, большой насмешницей и «мудровальницей», которая любила потешиться не только над неугодными ей людьми, но часто ставила в затруднительное положение и тех, кто ей нравился.

Впрочем, эта сложность фантастических образов раскрывалась лишь в сказах горняцкого направления.

У кладоискателей все это было гораздо проще. Вся «тайная сила» одинаково представлялась только хранителями богатств. Задача у всех их — Полоза, Змеевок, Азовки, горной Хозяйки — была одна: не допустить человека к богатству. Чтобы это было легче осуществить, вся «тайная сила» изображалась «самой страшной» да еще окружалась всякими чудовищами вплоть до рогатой лошади с чугунными копытами и быка с медвежьими зубами и змеиным хвостом. Но даже в разговорах этого типа больше налегали на хитрость Хозяйки, а не на ее страшный вид. Такими же изображались и ее слуги. Они могли завести в такое место, откуда трудно было выбраться, могли испугать бегущими навстречу огнями, могли, наконец, погубить слабыми по виду руками старухи Синюшки.

Чтоб преодолеть все эти «страсти и хитрости», человеку надо было знать «тайность». К сообщению этой

«тайности» (секретного слова, средства, приема) и сводилось основное содержание сказов кладоискательского типа.

Совсем иную нагрузку получила «тайна сила» в сказах чисто горняцкого характера.

С помощью этой «силы» неграмотный горнорабочий и старатель прошлого прежде всего хотели объяснить себе многие непонятные явления, которые приходилось наблюдать при горных работах.

Откуда так много богатства в Гумешках?

Десятки лет сотни людей надрываются над добыванием и подъемом руды, а ее не убывает. Почему это? И фантастика дает простой и легкий ответ: Гумешки — это склад, оставшийся от «старых людей», которые сюда «захоронили все богатство».

Откуда самородки в верхних пластах?

Те же «стары люди» разбросали или не подобрали.

Куда исчезла золотоносная жилка?

Полоз отвел золото.

Как оказалось золото внутри кварца?

Змеевка прошла, на ее пути и остались золотые блестки и капельки.

Почему один рабочий гораздо «удачливее», «добычливее» другого?

Ответ напрашивается простой: «тайна сила» помогает. Чем-то приобрел ее расположение. Но чем?

При ответе на последний вопрос явственно выступает вторая нагрузка «тайной силы» сказов.

Условия труда в горé в крепостное время были самые тяжелые. В сущности это была самая тяжелая форма каторги, из которой выхода вовсе не было. В таких безвыходных условиях крепостные горнорабочие могли мечтать лишь о помощи со стороны непонятных им «тайных сил». В результате Хозяйка горы, Полоз и все их слуги из безразличных хранителей недр превращаются в силу, дружественную горнорабочим и определенно враждебную, противодействующую барину и всем его прислужникам. Естественно поэтому, что в таких сказах появляется много крайне неприятного и невыгодного для заводского начальства. Сказы начинают преследоваться, и поэтому они становятся «тайными»: их передают тайком от начальства, которое обычно изображается в сказах в довольно непривлекательном виде.

Можно думать, что у «тайной силы» сказов была еще одна нагрузка.

Заводское начальство крепостного времени по своей грамотности стояло не выше рабочих. Оно тоже верило в существование «тайных сил». Поэтому рабочим иногда можно было прикрыться этими «тайными силами». Например, в сказах отмечалось, что в руднике «людей не пороли». Мотивировалось это боязнью начальства лютовать во владениях Хозяйки горы. Нарушивший этот обычай приказчик понес заслуженное наказание. Причем смерть приказчика и обстоятельства, ей предшествующие, так и тянут сказ к другой, совершенно реальной концовке: «Может, рудничные сами все это подстроили и приказчика в рудничную зелень затоптали, а на Хозяйку одна слава пущена». Такое же примерно положение в сказе «Две ящерки». Там из рудника исчезает прикованный цепями рабочий, потом он появляется в заводе, замораживает печи в медеплавильне и после этого совсем скрывается. Объясняется это чудесным содействием Хозяйки горы, но легко предположить и другое.

«Пустить славу на Хозяйку» рабочим было выгодно и потому, чтобы отвести от себя наказание, и потому, чтобы поддержать и укрепить у невежественного заводского начальства суеверный страх перед «тайными силами», которые помогают рабочим.

Хмелинин не был единственным рассказчиком «тайных сказов» своего района, но бесспорно рассказывал лучше всех, кого мне приходилось слыхать.

Его огромный горняцкий опыт позволял ему встать выше старательских примет, поверий и всех подобных «тайностей». Старик относился к ним критически и никогда не засорял свои сказы «рогатыми лошадьми» и разной кладоискательской рецептурой. В силу этого в сказах оставалась лишь та исторически ценная часть фантастики, с помощью которой неграмотный горнорабочий прошлого пытался осмыслить непонятные ему явления геологии.

Отбрасывая кладоискательскую шелуху, порой насмехаясь над ней, Хмелинин зато очень живо изображал «тайну силу» как сознательную помощницу рабочих, однако далеко не всех, а только таких, кто не робел перед начальством, не унижался, не жадничал при

удаче, честно выполнял свои обязательства перед товарищами по работе.

Большой жизненный опыт, живой ум и несомненный талант художника давали Хмелинину возможность легко и свободно вводить в сказы живые детали из жизни горняков, хорошо видеть и слышать героев своих сказов, в том числе и «тайную силу».

Хмелинин говорил, что «переняв сказы от своих стариков», и это было верно.

Он, конечно, слыхал еще в детстве все, что говорилось в Полевском заводе о земельном богатстве и его таинственных хранителях. Отбросив из этого материала кладоискательские «тайности» (приметы и рецепты), он принял на веру все остальное и строго его хранил. Когда, например, старику возражали по поводу «старой дороги», доказывали, что такой тут не могло быть, он все-таки отстаивал свое и, оказалось, был прав.

Эта особенность позволяет думать, что и другие исторические детали из периода колонизации завода, из времени Пугачевского движения так же верны. И вообще сказы кажутся историей, рассказанной крепостными горнорабочими, где отразилась не только беспросветно тяжелая жизнь горняка, но его наивная фантастика и его неясная мечта о каких-то иных временах, иных условиях жизни.

Сказы В. А. Хмелинина никем не были записаны, и это вполне понятно. «Настояще грамотных» в заводе тогда было совсем немного: доктор, учитель мужской школы, две учительницы мужской же школы и две — женской. Вот и все грамотные, кто мог произвести эту запись.

Была, правда, еще группа заводских служащих, но она по состоянию своей культуры не могла оценить сказы по достоинству. Большинство этих служащих были или вовсе малограмотные «практики заводского дела», или люди «с хорошим почерком и бойким счетом».

Управитель, надзиратель, лесничий были, конечно, чуть пограмотнее, но это уже было начальство, которое свысока смотрело на «старичонку-караульного».

Этим важным людям было не понять, что «неграмотный старичонка» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее и всю историю ок-

руга в образах гораздо ярче и правдивее, чем делали это официальные историки. Да, впрочем, Хмелинин и сам не стал бы рассказывать начальству или рассказал бы так, что записывать нельзя.

Раз мне удалось, притаившись за углом, у заводских магазинов, слышать, как старик рассказывал в присутствии начальства, и я рад, что это больше не повторилось.

Сказ о «Хозяйке Медной горы» превратился в такую грубую похабщину, что мне до слез было обидно и за Степана и за Хозяйку, которые так нравились в этом сказе. Когда сказал об этом старику, он спокойно ответил:

— Так ведь тут надзиратель сидел. Разве при нем можно по-доброму-то сказывать? Не для них, поди-ко, это сложено, не им и слушать.

Подобную же маскировку «худыми словами» мне приходилось наблюдать у сысертского песенника-импровизатора Н. Н. Медведева. Обычно скромный в быту и «воздержанный на язык», он всегда был нарочито грубым в своих песенных импровизациях, посвященных барину, заводскому начальству или попам.

Воспроизведенные по памяти, притом почти через полвека, сказы Хмелинина, конечно, потеряли ценность фольклорного документа. Неизбежно кое-что могло прийти и от других сказителей и от производившего запись. И если даже в таком виде сказы были замечены и вызвали широкий интерес, то это лишь говорит о высокой значимости фольклора, связанного со старыми уральскими рудниками. Мне кажется, и теперь не поздно старательно собрать и самым внимательным образом обработать рассказы стариков около таких старых месторождений, как Меднорудянское, Быньговское и особенно Березовское и Мурзинское. Бывшая же Турчаниновская Медная гора настоятельно требует своей полной истории.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Азов, Азов-гора — на среднем Урале, километрах в 70 к ю.-з. от Свердловска, высота 564 метра. Гора покрыта лесом; на вершине большой камень, с которого хорошо видны окрестности (километров на 25—30). В горе есть пещера с обвалившимся входом.

В XVII столетии здесь, мимо Азова, шла «тропа», по которой проходили «пересылки воевод» из Туринска на Уфу, через Катайский острог.

Азов-горы клады.— По большой дороге на Сибирь шло много «беглых», которые, «сбившись в ватаги», становились «вольными людьми». Эти «вольные люди» нередко нападали на «воеводские пересылки и на купеческие обозы».

В сказах об Азов-горе говорилось, что «вольные люди» сторожили дорогу с двух вершин: Азова и Думной горы, устраивая здесь своего рода ловушку. Пропустят обоз или отряд мимо одной горы и огнями дадут знать на другую, чтобы там готовились к нападению, а сами заходят с тыла. Захваченное складывалось в пещере Азов-горы.

Были сказы и другого варианта — «о главном богатстве», которое находится в той же Азов-горе.

Основанием для сказов этого варианта послужило, вероятно, то, что на равнине у Азова были открыты первые в этом крае медные рудники (Полевской и Гумешевский) и залежи белого мрамора. По речкам, текущим от Азова, нашли первые в этом районе золотые россыпи, здесь же стали потом добывать медистый и сернистый колчедан.

Азовка-девка, Азовка.— Во всех вариантах сказов о кладах Азов-горы неизменно фигурирует девка Азовка — без имени и указания ее национальности, лишь с неопределенным намеком: «из не наших людей».

В одних сказах она изображается страшилищем огромного роста и непомерной силы. Сторожит она клады очень ревностно: «Лучше собаки хорошей, и почуткая страсть — никого близко не подпустит». В других сказах девка Азовка — то жена атамана, то заложница, прикованная цепями, то слуга тайной силы.

Айда, айда-ко — от татарского. Употреблялось в заводском быту довольно часто в различном значении: 1) иди, подойди; 2) пойдем, пойдемте; 3) пошел, пошли. «Айда сюда», «Ну, айда, ребята, домой!», «Свалил воз — и айда домой».

Артуть — ртуть. *Артуть-девка* — подвижная, быстрая.

Ашать (башкирское) — есть, принимать пищу.

Бадог — старинная мера — полсажени (106 см); употреблялась как ходовая мерка при строительных работах и называлась пра́вилом. «У плотинного одна орудия — отвес да пра́вило».

Бадожок — дорожный посох, палка.

Байка — колыбельная песня, с речитативом.

Балодка — одноручный молот.

Банок — банк.

Баской, побаще — красивый, пригожий; красивее, лучше.

Басcенький-ая — красивенький-ая.

Бельмень — не понимает, не говорит.

Бергал — переделка немецкого бергауэр (горный рабочий). Сказителем это слово употреблялось в смысле старший рабочий, которому подчинялась группа подростков-каталей.

Беспелюха — неряха, разиня, рохля.

Блазнить — казаться, мерещиться; *поблазнило* — показалось, почудилось, привиделось.

Блёнда, блёндочка — рудничная лампа.

Богатимый — богатый, богатейший.

Болботать — бормотать, невнятно говорить.

Большину брать — взять верх, победить, стать верховодом.

Братцы-хватцы из Шатальной волости — присловье для обозначения вороватых бродяг (*шатаются* по разным местам и *хватают*, что под руку попадет).

Васькина гора — недалеко от Кунгурского села, в километрах 35 от Свердловска к ю.-з.

Ватага, ватажка — группа, артель, отряд.

Взамок — способ борьбы, когда борцы, охватив друг друга, нажимают при борьбе на позвоночник противника.

Взвалехнуться — беспорядочно, не вовремя ложиться; ложиться без толку, как попало.

Взыск будет — придется отвечать в случае невыполнения.

Винну бочку держали — под предлогом бесплатной выдачи водки рабочим беспошлинно торговали водкой.

Виток или *цветок* — самородная медь в виде узловатых соединений.

Витушка — род калача со сплетенными в средине концами.

В леготку — легко, свободно, без труда, безопасно.

Вожгаться — биться над чем-нибудь, упорно и длительно трудиться.

Впотай — тайно, скрытно от всех.

Вразнос — открытыми разработками.

Всамделе — в самом деле, действительно.

Вспучить — поднять, сделать полнее, богаче.

Вы́ходить — вылечить, поставить на ноги.

Галиться — издеваться, мучить с издевкой.

Гаметь — шуметь, кричать.

Гинуть — гибнуть, погибать.

Глядельце — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева — место, где видно напластование горных пород.

Голбец — подполье; рундук около печки, где делается ход в подполье, обычно зовется голбчик.

Голк — шум, гул, отзвук.

Гольян — болото на водоразделе между речками Исетской и Чусовской системы, которые здесь близко сходятся.

Гоношить — готовить.

Гора — медный рудник (см. Гумёшки).

Город — без названия всегда имелся в виду один — бывший Екатеринбург, ныне Свердловск.

Горный шит — по-настоящему Горный Щит, к ю.-з. от Свердловска. В прошлом был крепостцой, построенной для защиты дороги на Полевской завод от нападения башкир. В Горном Щиту обычно останавливались «медные караваны». Даже в девятидесятых годах прошлого столетия полевские возчики железа и других грузов обычно ночевали в Горном Щиту. В какой-то мере это было тоже отголоском старины.

Грабастенький — от грабастать, загребать, захватывать, отнимать, грабить; грабитель, захватчик, вороватый.

Грань — см. заводская грань.

Гумёшки (от старинного слова гумёнце — невысокий, пологий холм) — Гумешевский рудник. Медная гора или просто Гора — вблизи Полевского завода. Одно из наиболее полно описанных мест со следами древних разработок, богатейшее месторожде-

ние углекислой меди (малахита). Открытые в 1702 г. крестьянами-рудознатцами два гуменца по речке Полевой начали разрабатываться позднее. Одно гуменце (Полевской рудник), около которого Генниным в 1727 г. был построен медеплавильный завод, не оправдало возлагавшихся на него надежд; второе (Гумешевский рудник) свыше сотни лет приносило владельцам заводов баснословные барыши. О размере этих барышей можно судить хотя бы по таким цифрам. Заводская цена пуда меди была 3 р. 50 к., казенная цена, по которой сдавалась медь,— 8 руб., и были годы, когда выплавка меди доходила до 48 000 пудов. Понятно поэтому, что такие влиятельные при царском дворе люди, как Строгановы, пытались «оттягать Гумешки», и еще более понятно, какой жуткой подземной каторгой для рабочих была эта медная гора Турчаниновых.

Дача, заводская дача — территория, находившаяся в пользовании Сысертского горного округа (см. Сысертские заводы).

Девка на выданьи — в возрасте невесты.

Дивно, дивненько — много, многонько.

Диомид — динамит.

Добренькое — хорошее, дорогое, ценное.

Дознаться маяками — узнать с помощью знаков, мимикой.

Дозорный — старший по караулам; контролер.

Долинà — длина; *дòлиной, в долину* — длиной, в длину.

Долить — одолевать; *долить приняла* — стала одолевать.

Доступить — добыть, достать, найти.

Доходить — узнавать, разузнавать, исследовать.

Думная гора — в черте Полевского завода, со скалистым спуском к реке. В пору сказителя этот спуск был виден частично, так как с этой стороны находились в течение столетия шлаковые отвалы медеплавильного и доменного производства.

Елань, еланка — травянистая поляна в лесу (вероятно, от башкирского jalan — поляна, голое место).

Ельничная — одна из речек, впадающих в Полевской пруд.

Емко — сильно.

Жженопятики — прозвище рабочих кричного производства и вообще горячих цехов, где ходили обычно в валеной обуви с подвязанными внизу деревяшками-колодками.

Жидко место — слабый.

Жоркий — тот, кто много ест и пьет; в сказе — много пьет водки.

Жужелка — название мелких самородков золота.

Забедно — обидно.

Завидки — зависть; *завидки взяли* — стало завидно.

Заводская грань — линия, отделявшая территорию одного заводского округа от другого. Чаще всего «грань проходила» по речкам и кряжам, по лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте — межевыми столбами. *За нашей гранью* — на территории другого заводского округа, другого владельца.

Завозня — род надворной постройки с широким входом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, сани и пр.

За́все — постоянно.

За всяко просто — попросту.

Заделье — предлог.

Зазнамо — знаючи, заведомо, в точности зная.

Зазорина — видная из вырезов или прорезей материя другого цвета.

Заневолю — невольно, поневоле.

Заплот — забор из жердей или бревен (однорезки), плотно уложенных между столбами; *заплотина* — снятая с забора жердь или однорезка.

Зарукавье — браслет.

Запон, запончик — фартук, фартучек.

Заскать — засучить.

Застукать — поймать, застать врасплох.

Заступить — поступить вместо кого-нибудь.

Званья не останется — не будет, и следа не останется.

Звосиять — сверкнуть.

Здвиженье — осенний праздник 27(14) сентября.

Змеиный праздник — 25(12) сентября.

Знат — знает.

Знатко, незнатко — заметно, незаметно.

Знатье бы — если бы знать.

Золотник — старая мера аптекарского веса — 4,1 грамма.

Зорить — зорко смотреть, высматривать.

Зюзелька, Зюзельское болото, Зюзельский рудник — речка, один из притоков речки Полевой, Чусовской системы. Здесь на заболоченной низине, покрытой лесом, в прошлом была разработка золотоносных песков. В настоящее время на Зюзельском место-

рождении большой рабочий поселок со школами, больницей, рабочим клубом; связан автобусной линией с Полевским криолитовым заводом.

Изварначиться — превратиться в негодяев (варнаков), испортиться, разложиться.

Изготовиться — приготовиться.

Изброченный — нанятый на срок по договору.

Изоброчить — нанять по договору (оброку), законтрактовать.

Изробиться — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.

Из пору изойти — устать до предела.

Изумруд медный — диоптаз. Встречался ли этот редкий камень в Гумешевском руднике, точных сведений нет. Возможно, что основанием для упоминания о нем послужила находка других разновидностей этого драгоценного камня.

Исхитриться — ухитриться.

И то — в смысле утвердительного наречия: так, да.

Казна — употребляется это слово не только в смысле — государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим. «Сперва старатели добывали тут, потом за казну перевели» — стали разрабатывать от владельца.

Как счастье поищет — как удастся.

Калым — выкуп за невесту (у башкир).

Каменка — банная печь, с грудой камней сверху, на них плещут воду, «поддают пар».

Карнахарь — одна из бытовавших еще в девятидесятых годах переделок немецких технических названий. Вероятно, от гармахерского горна, на котором производилась очистка меди.

К душе — по душе, по мысли, по нраву.

Кого до́ходя — всякого, каждого.

Колтовчиха — Колтовская, одна из дочерей первого владельца заводов. Эта Колтовская одно время занимала среди промотавшихся наследников первое место и фактически была «главной барыней».

Коробчишечко — уменьшительное от коробок — плетенка, экипаж из плетеных ивовых прутьев.

Королек — самородная медь кристаллами; вероятно, название перешло как перевод бытовавшего слова «кених». «Зерна, называемые кених, взвеся записать... а по окончании года медные кенихи объявлять в обер-берг-амт» (Из инструкции Геннина).

Косоплетки плести — сплетничать.

Кош — войлочная палатка особого устройства.

Празелиты — хризолиты.

Красненькое — виноградное вино.

Красногорка — Красногорский рудник вблизи горы Красной, у Чусовой, километрах в 15 от Полевского завода. В пору сказителя это был заброшенный железный рудник, теперь там ведутся мощные разработки.

Крепость — крепостная пора, крепостничество.

Крица — расплавленная в особой печи (кричном горне) глыба, которая неоднократной проковкой под тяжелыми вододействующими молотами (кричными) сначала освобождалась от шлака, потом под этими же молотами формировалась в «дощатое» или «брусчатое» железо.

Кричная, крична, кричня — отделение завода, где находились кричные горны и вододействующие молоты для проковки криц; крична употреблялась и в смысле — рабочие кричного отделения. «Крична с горой повздорили» — рабочие кричного отделения поспорили с шахтерами.

Кричный мастер — этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение и большая физическая сила. Кричный подмастерье был всегда синонимом молодого сильного человека, которого ставили к опытному, но уже старому мастеру, потерявшему силу.

Крылатовско — один из золотых рудников вблизи Кунгурского села.

К чему гласит — куда ведет, направляется.

Кышкаться — возиться, биться.

Ласкобай — ласково говорящий, внешне приветливый, сладкий говорун.

Лестно на себя навздевать — любить наряжаться.

Листвянка — лиственница.

Марков камень — гора формы огромного голого камня, находится почти в средине между заводами восточной и западной группы бывшего Сысертского округа.

Мараковать — понимать.

Мертвяк — мертвец; иногда только потерявший сознание. «Сколько часов мертвяком лежал».

Местичко — место.

Мешат — мешает.

Милостина — милостыня, сбор кусочков, подаяние.

Мода была — такой был обычай, так привыкли.

Моду выводить — модничать, наряжаться.

Мошенство — мошенничество, жульничество, обман.

Мрамор, Мраморский завод — в 40 километрах к ю.-з. от Свердловска (население поселка занималось исключительно камнерезным делом, главным образом обработкой мрамора, змеевика, яшмы).

Мудровать — придумывать необыкновенное, дурачить кого-нибудь, ставить в трудное положение.

Мурзинка, Мурзинское — село (в прошлом слобода, крепость). Одно из древнейших на Урале. Здесь впервые в России в 1668—1669 гг. братья Тумашевы нашли «цветные каменья в горах, хрустали белые, фатисы малиновые и юги зеленые и тунпасы желтые».

По обилию и разнообразию драгоценных камней Мурзинское месторождение является одним из самых замечательных в мире.

Здесь добывались аквамарины, аметисты, бериллы, топазы, тяжеловесы, турмалины розовые, малиновые, черные, зеленые, бурые, сапфиры, рубины и другие разновидности корунда.

Мягкий камень — тальк.

Навидячу — на глазах, быстро.

Надсада — надрыв, повреждение организма от чрезмерного напряжения при работе.

Назгал, назгально (от галиться — насмехаться, издеваться)— на смех, издевательски, с издевкой.

На кривой аршин — неправильно, по неверной мерке.

На ладан дышит — близок к смерти, скоро умрет.

Нали — даже.

Намятыш — крепкий, сильный, плотный, как туго намятое тесто.

Нареченная — невеста.

На славе были — широко известны.

Настовать — наставлять, учить, следить за поступками.

Натаскаться — найти.

На хлеб не сходится — не стоит работы.

Находить — походить, иметь сходство. «На отца находит по волосам-то».

Не ахти какой, неахтительный — несложный, недорогой, простой.

Не́вдолге — вскоре.

Неженатик — холостой парень. «У неженатиков разговор вышел — друг дружке рожи покарябали».

Некорыстный — нестоящий, плохой.

Неминуче дело — неизбежное.

Немудрящее — немудренькое, плохонькое, мало стоящее.

Не оказывать — не показывать.

Не от простой поры — некогда, нет времени.

Не охтимнеченьки живут — без затруднений.

Не по ноздре — не по нраву, неприятно.

Не сладко поелось — не удалось жить спокойно и сытно, как было: «что-то несладко сношеньке у нас поелось — ушла».

Не стояли (ребята) — не выживали, не оставались в живых, умирали в детстве.

Не тем будь помянут, покойна головушка — присловье, когда об умершем вспоминали что-нибудь отрицательное.

Не того слова — сейчас, немедленно, без возражений.

Не утыхаючи, без утыху — не переставая.

Нокоток — ноготок.

Нюхалка, наушник — заводской сыщик, шпион.

Нязя — река, приток Уфы.

Нязи — лесостепь, по долине реки Нязи, по направлению к Нязепетровскому заводу. Эта лесостепь часто упоминалась в быту Полевского завода.

Обальчик — пустая порода.

Обахмурить — овладеть вниманием, поразить.

Обдуват — обдувает, освежает.

Обзариться — сильно пожелать, устремиться к чему-нибудь.

Обережный — телохранитель, ближайший прислужник.

Обломать — победить, скрутить.

Обой — куски камня, которые откалываются, отбиваются при первоначальной грубой обработке, при околтывании.

Оболтать — заговорить, обмануть.

Оборуженный — вооруженный, с оружием.

Обраковать — забраковать, признать негодным.

Обратать — надеть оброть, недоуздок, подчинить себе, обуздать.

Обсказать — рассказать.

Обстроил — устроил.

Обуй — имя сущ. м. р.— обувь.

Обутки, обуточки — род кожаной обуви; коты.

Объедь — 1) ядовитые растения, которыми объедается скот; 2) то, что остается от корма, не съедается. «Объеди много в тамошних сенах».

Огневаться — разгневаться, рассердиться.

Огневщик — лесной сторож, которого брали на сезон летних пожаров (по стаянии снегов до свежего травостоя, иногда до осенних дождей).

Ограда — двор (слово «двор» употреблялось лишь в значении семьи, тягловой и оброчной группы, но никогда в смысле загороженного при доме места).

Одинова — один раз.

Одно свое — повторяет сказанное, стоит на своем.

Оклематься — прийти в сознание, начать поправляться.

Околтать — обтесать камень, придать ему основную форму.

Омельян Иванович — Пугачев Емельян Иванович.

Омег, или *вех* — ядовитое растение Cicuta virosa.

Омман — обман.

Оружьé — ружье. «Как из оружья стреляно» — прямо.

Оплести — обмануть.

Оплетать — в смысле быстро и с особой охотой есть.

Опупышек — округление, круглый выступ.

Ослабу давать — снисходительно, терпимо относиться к кому-нибудь, слабо держать.

Остатный раз — последний раз.

Осыпь — обвал мелких камней с песком.

Откать — отброс.

Отутоветь — отойти, прийти в нормальное состояние.

Отходить охота — хотелось вылечить, поправить, поставить на ноги.

Оха поймать — оказаться в трудном положении и притом неожиданно для себя.

Охлестыш, охлест, охлестка, охлестанный хвост, подол, полы — человек грязной репутации, который ничего не стыдится, наглец, обидчик.

Охота — хочется.

Охотку стешить — добиться того, что хотелось, остыть.

Охтимнеченьки, охтимне (от междометия «охти», выражающего печаль, горе) — горе мне, тяжело. *Не охтимнеченьки* — без горя, без затруднения, спокойно. «Жизнь досталась охтимнеченьки» — тяжелая, трудная. «Не охтимнеченьки прожили» — свободно, без больших затруднений.

О чём — почему. «О чём не сделать? — Сделаю». «О чём не спросить, коли надобность».

Очестливый, очесливый — почтительный, обходительный, вежливый; *неочесливый* — неучтивый, невежа.

Папора — папоротник.

Парун — жаркий день после дождя.

Парча — ткань с серебряной или золотой ниткой.

Перебуторивать — перерывать песок, землю, перемывать пески; вероятно, от слова «бутара» — промывальный станок.

Переоболокчись — переодеться.

Пескозоб — пескарь.

Петровки — вторая половина июня и первая половина июля, когда в старое время был так называемый «Петров пост».

Пехло — доска, посаженная поперек черня, род скребка для перегребания и разборки промываемых песков.

Пировля — пир, гулянка.

Пище — пуще, сильнее, больше.

Пла̀вень — примесь к руде, облегчающая плавку, флюс.

Плёха — распутница.

По времени — с течением времени, через известный промежуток.

Погалиться — насмехаться, издеваться, измываться.

Подавывать — неоднократно выдавать понемногу.

Подбегать стали — стали обращаться.

Податься — пойти, уйти.

Под всюё — под всю.

Поддерново золото — то, что находят в верхних слоях песка — под дерном.

Поддонить, поддодонить — незаметно подставить, подсунуть.

Подлеток — подросток (преимущественно о девочках в возрасте от 12 до 16 лет).

Подлокотник — близкий слуга, доверенный, помощник.

Подыскиваться — приискивать повод для обвинения.

Пожарна — она же *машина* — в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи.

Позаочь, позавочь — за глазами, заглазно, в отсутствие заинтересованного.

Покарябать — побить, поцарапать, окровянить, оставить след. «Кто тебя эдак покарябал».

Покорпуснее — плечистее, сильнее, здоровее.

Покров — старый праздник 14(1) октября.

Покучиться — попросить, выпросить.

Полева̀, Полевая — Полевской завод, ныне криолитовый, в 60 километрах к ю.-з. от Свердловска. Строился Генниным, как казенный медеплавильный, в 1727 г. одновременно был и железоделательным, со своей домной. С 1873 г. переделочные цеха работали на слитках Северского завода. Плавка меди держалась до конца прошлого столетия и была основной для Полевского завода. Во время, когда слушались сказы, медеплавильное производство уми-

рало, переделочные цеха тоже работали с большими перебоями. В первом десятилетии XX в. здесь был построен один из первых на Урале химических заводов (сернокислотный), который при Советской власти был переконструирован и расширен. Ныне здесь организован большой криолитовый завод, около которого развернулся соцгородок. В пору сказителя еще не было Челябинской железной дороги, и завод был вовсе глухим углом. Входил он в состав Сысертского горного округа (см. Сысертские заводы и Гумешки).

Полер навести — отшлифовать.

Полштоф — старая мера жидкости (0,75 литра).

Помстилось — почудилось, показалось.

Помучнеть — побледнеть.

По насердке — по недоброжелательству, по злобе, из мести.

Понастовать — понаблюдать, последить.

Понаторкать — плотно уложить.

Пониток — верхняя одежда из домотканого сукна (шерсть по льняной основе).

Понуждаться — не иметь больше надобности в ком-нибудь, не надобно.

Поправляться житьишком — жить лучше.

Попущаться — отступить, отступиться.

Порушать — разрезать хлеб ломтями.

Посадить козла — остудить, «заморозить» чугун или медь. Отвердевшая в печи масса называлась козлом. Удалить ее было трудно. Часто приходилось переделывать печь.

Поскакуха — один из действовавших владельческих приисков.

Поскыркаться — поскрести, поковыряться в земле, порыть.

Пословный — послушный, кто слушается «по слову», без дополнительных понуканий, окриков.

Посоветовать — посоветоваться с кем-нибудь. «Посоветовать с ним ладил».

Постряпенька — домашнее праздничное печенье.

Посупорствовать — противиться.

Потишае — потише.

Правиться — направляться, держать направление.

Пригон — общее название построек для скота (куда пригоняли скот).

Пригрожать — угрожать, грозить.

Приказал долго жить — обычное в прошлом присловье при извещении о чьей-нибудь смерти.

Приказный — заводской конторский служащий. Название это держалось по заводам и в девятидесятых годах.

Приказчик — представитель владельца на заводе, главное лицо; впоследствии таких доверенных людей называли по отдельным заводам управителями, а по округам — управляющими.

Приклад — пожертвование, подарок, вклад (в церковь); *на приклад отправил* — послал бесплатно, как подарок.

Прилик — видимость; для *прилику* — для видимости, ради приличия.

Припалить — быстро приехать.

Припека — прибавка; *сбоку припека* — случайно приставшее, постороннее, чужое.

Припой — медная стружка, которую иногда сдавали неопытным скупщикам за золото.

Присадить — 1) прикрепить к дереву, металлу; 2) крепко, больно, садко ударить.

Прискаться — придраться.

Притча — неожиданный случай, помеха, нежданная беда.

Приходить на кого-нибудь — обвинять кого-нибудь, винить.

Прихорониться — укрыться, спрятаться.

Причтется — придется.

Пробыгаться — проветриться, освежиться.

Провинка — ошибка.

Проворный — сильный (в обычном значении почти не употреблялось в заводском говоре; для понятия «проворный» употреблялись другие слова: *развертной, верткий*).

Промяться — пройтись, проходиться.

Просто было — свободно, легко, без проволочек.

Профурить, профурять — расшвырять, растратить; *фурять* — бросать; *фурка* — род ребячьей пращи, рогатки.

Пустоплесье — открытое место среди леса.

Пушить — быстро бросать в кого-нибудь, забрасывать.

Пятисаженные столбы — упоминаемые в сказе «Медной горы Хозяйка», видимо, малахитовые колонны Исаакиевского собора.

Раделец — от слова «радеть» — кто заботился о них, старался для них.

Различка — разница.

Разоставок — то, чем можно разоставить ткань, вставка, клин, лоскут; в переносном смысле — подспорье, прибавок, подмога.

Растолмачить — перевести, разъяснить.

Резунцы — растения типа осоки.

Ремки, ремье — лохмотья, отрепье. *Ремками трясти* — ходить в плохой одежде, в рваном, в лохмотьях.

Ро́бить — работать. Основное слово для обозначения этого действия. «Где ро́бил?», «Куда ро́бить?», «Ушел ро́бить».

Руками хлопали — удивлялись (от жеста).

Рыкало-зыкало — свирепый, непомерно строгий, крикун (от *рычать* и *зыкать* — хлестать, ударять).

Рябиновка — речка, приток Чусовой.

Сбить народ — созвать, скликать.

Свышный — привычный; *не свышны* — не привычны, не в обычае это.

Сголуба — голубоватый, бледно-голубой.

Северский завод, Северна — один из заводов Сысертского округа. В прошлом доменное и мартеновское производство (см. Сысертские заводы).

Северушка — приток Чусовой; впадает в Чусовую в километрах трех от Северского завода.

Синюха, синюшка — болотный газ.

Скажи на милость — присловье, в смысле — удивительно даже, удивляться надо.

Сквозь свитеют — просвечивают.

Скудаться — хилеть, недомогать, хворать.

Скыркаться — скрести, скрестись (в земле).

Слань — вернее *стлань*, настил по дорогам в заболоченных местах. Увязнуть в болоте такая стлань не давала, но ездить по ней тоже было невозможно.

Сличье — удобный случай, к *сличью* пришлось — подошло.

Слышок, слушок — слух.

Сметить дело — понять, догадаться.

Смотник-ца — сплетник-ца.

С находу — приходить на время.

Сном дела не знать — даже не предполагать.

Сноровлять, сноровить — содействовать, помогать, сделать кстати, по пути.

Совестить — стыдить, укорять.

Сойкнуть — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия «ой»).

Сок — шлак от медеплавильного и доменного производства.

Сопнуть — сдвинуть ногой.

Сорочины — сороковой день после смерти.

Сполоху наделать — переполошить, поднять на ноги, привести в беспокойное состояние.

Справный — исправный, зажиточный; *справа* — одежда, внешний вид. «Одежонка справная», то есть неплохая. «Справно живут» — зажиточно. «Справа-то у ней немудренькая» — одежонка плохая.

Сряжаться — снаряжаться.

Стара-дорога.— Памятником этой старинной дороги надо считать и название горы около Нязепетровского завода — Катайский холм.

Стары люди.— Может быть, потому, что Полевской завод строился на месте древних рудокопен — «чудских» капаней, здесь были живы рассказы о «старых людях». В этих рассказах «стары люди» изображались по-разному. Одни говорили, что «стары люди» жили в земле, как кроты, а потом засыпали себя, когда в этот край пришли «другие народы»; другие говорили, что «стары люди» брали медь только сверху, а золота вовсе не знали и жили охотой да рыболовством. Предполагалось, что слой земли, на котором жили «стары люди», уже так завален сверху, что до этого слоя приходилось «докапываться». «Докопались до той земли, где стары люди жили,— нет золота. Не на место, видно, угадали».

Стенбухарь — так назывались рабочие у толчеи, где дробилась пестами руда. Этим рабочим приходилось все время бросать под песты руду — бухать в заградительную стенку.

Столб-гора — за Северским заводом, со сторожевой вышкой.

Страмец, страмина — от слова «срамить» (бесчестить, позорить); употреблялись в быту довольно часто в смысле бесстыдник-ца, бесчестный-ая. Слова *срам, срамить* произносились с наращенным *т* — *страм*.

Стурять — сдавать, сбывать (поспешно).

Сугонь — погоня; *в сугонь пошли* — бросились догонять.

Сумки надевать — дойти или довести семью до сбора подаяния, до нищенства.

Сходственность — сходство.

Счунуться — связаться, сцепиться, заняться с кем-нибудь.

Сысертские заводы — группа из пяти заводов, принадлежавших на так называемом посессионном праве сначала Турчаниновым, потом Соломирскому. Называлась эта группа Сысертским горным округом.

В восточной части округа было три железоделательных завода: Сысертский, главный завод округа, Верх-Сысертский (Верхний), Нижне-Сысертский (Ильинский) — все на речке Сысерти Обской водной системы (через Исеть). В западной части округа были заводы: Полевской и Северский на речках Волжской системы (через Чусовую).

Кроме заводских поселков, на территории округа были в восточной части деревни: Кашина, Космакова (Казарина) и села: Абрамовское, Аверинское, Щелкунское; в западной части: Кунгурское, деревня Косой Брод и Полдневское. В прошлом населяли их или крепостные, или «непременно обязанные работники» Турчанинова. После падения крепостничества многие из жителей этих селений занимались тоже исключительно заводскими работами.

Общая численность населения заводов и поселков, расположенных на территории заводского округа, немногим превышала тридцать две тысячи человек, или двенадцать человек на один кв. километр. Пахотная земля лишь у сельского населения, да и то больше за пределами заводской дачи. Жители заводских поселков пахоты вовсе не имели, и почти вся «заводская дача» была занята лесом, в котором ежегодно вырубали свыше 2400 десятин сплошной рубкой и 7500 десятин — выборочной.

На территории округа насчитывалось до сорока железных рудников, восемь владельческих золотых рудников и приисков и свыше сотни золотоносных россыпей (разрабатывалось не больше трети); кроме того, добывали тальк, огнеупорную глину, известь, мрамор, хризолиты. Медистые и сернистые колчеданы в пору сказителя не разрабатывались: их считали обальчиком — пустой породой.

По территории Сысертского округа тогда проходила одна трактовая дорога на Челябинск; железной дороги не было, и западная часть округа была особенно глухой. Расстояние между группами восточной и западной было примерно сорок километров; расстояние между Полевским и Северским — семь километров.

Общность заводского хозяйства отразилась и в сказах. Особенно часто упоминается Сысерть, как главный завод округа, а также Северский и деревня Косой Брод — как ближайшие.

Таку беду — в смысле сильно, очень. «Суетится, *таку беду*, хлопочет», то есть очень суетится.

Тамга — знак, клеймо.

Тайный купец — скупщик золота.

Твердой — решительный, с характером.

Терсут, Терсутское — самое большое болото б. Сысертской заводской дачи.

То́лкуют, то́лковать — понимают, знают толк в чем-нибудь. «В песках-то он добро то́лкует» — знает золотоносные пески.

Толмить — твердить, повторять.

Тонцы-звонцы — танцы, веселье.

Туё — вин. п. ж. р. от местоимения *та*; «в туё гору, в туё дудку».

Тулаем — толпой.

Турчанинов — владелец заводского округа. В сказах фигурирует обыкновенно первый владелец — «старый барин». По историческим материалам, он действительно уже был стариком, когда выклянчил себе заводы. Был он из купцов, числился «в ранге сухопутного капитана», но не имел дворянского звания, а с ним и права покупать крестьян. Это, однако, не помешало Турчанинову заселить заводы «выведенцами» из северных областей.

Во время Пугачевского восстания Турчанинов системой обмана, угроз, жестокостей и посулов сумел удержать в повиновении большую часть рабочих и едва ли не один из уральских заводовладельцев не понес материального ущерба по заводам. Екатерина II высоко оценила эту изворотливость Турчанинова и в своей грамоте писала: «За такие похвальные и благородные поступки, особенно учиненные в 1773 и 1774, возвести с рожденными и впредь рождаемыми детьми его и потомками в дворянское достоинство Российской империи».

Неудивительно, что этот хитрый, ловкий и жестокий старик остался в памяти заводского населения. Что касается остальных Турчаниновых, то к ним, видимо, подходит определение из сказа «Малахитовая шкатулка»: «Однем словом, наследник».

Туяс, туес, туесок, туесочек — берестяной бурак.

Угоить — устроить, сделать.

Удобриться — стать добрым, ласковым (чаще притворно).

Удумать — придумать, выдумать.

Ужна — ужин; *чужа ужна* — кто живет за счет других.

Укрепа — укрепление; *для укрепы* — чтобы крепче было.

Умуется — близок к помешательству; заговаривается.

Урево — стадо.

Уроим или *Ураим* (по-башкирски котел) — котловина по реке Нязе, где расположен Нязепетровский завод. Селения, близко подходившие к этой котловине, назывались тоже Ураимом.

Уставщик — завцеха или передела; на его ответственности было, чтоб продукция выпускалась установленного образца, по уставу.

Устороньe, на устороньи — в стороне, отдельно от других, на отшибе.

Утуга — густая толпа.

Ухайдакать — уходить, сгубить, убить, истратить, потерять. «Тут в лесу ухайдакали» (убили); «все наследство ухайдакал» (прожил, промотал, истратил); «там, видно, и пестерь свой ухайдакал» (потерял свою суму); «сколь посуды на свадьбе ухайдакали!» (разбили).

Фаску снять — обточить грань.

Фунт — старая мера веса, 400 гр.

Хватовщина — растаскивание второпях, как попало, что под руку подвернулось, что успел схватить.

Хезнуть — ослабеть, слабеть.

Хитник — грабитель, вор, хищник.

Чести приписывать — похвалить.

Чирла — яичница, скороспелка, скородумка, глазунья (от звука, который издают выпускаемые на сковородку яйца).

Что хоти — хотя, хотя бы.

Чутешный — едва, чуть заметный.

Шалыганить — праздно шататься, повесничать, бездельничать; в сказе — уклоняться от работы на барина.

Шварев Ванька — был главным приказчиком Сысертских заводов во время крестьянской войны под предводительством Пугачева.

Ширинка — полотенце; отрезок ткани по всей ее ширине.

Шмыгало — быстрый, подвижной человек.

Щегарь — штейгер.

Щелкунская дорога — Челябинский тракт. Название по ближайшему селу в направлении от Сысерти на Челябинск.

Яга — шуба из собачьих шкур шерстью наружу; такая же шуба из оленьих, козьих, жеребковых шкур называлась дохой.

Ясак — подать, дань.

Яшник, яшничек — ячменный хлеб (ячный).

ПРИМЕЧАНИЯ

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Книга вторая

Второй том сочинений П. П. Бажова содержит сказы писателя, в большинстве своем написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвященных В. И. Ленину. Затем следуют сказы о мастерах-литейщиках, чеканщиках, оружейниках, сталеварах. Рассказчик, как и в сказах первого тома,— опытный, бывалый горщик. Но теперь это участник гражданской войны, с оружием в руках боровшийся за Советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Подчас в сказах слышится голос самого автора, от лица которого и ведется повествование.

ОРЛИНОЕ ПЕРО

Впервые — газ. «Уральский рабочий» и «Красный боец», 1945, 21 апреля. Принадлежит к группе сказов о Ленине. Сюда входят также «Солнечный камень» (1942), «Богатырева рукавица» (1944).

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1942, 21 января. Вошел в сб. «Ключ-камень» (1942, Свердлгиз).

Этот сказ был задуман еще в 1941 году. На вечере, организованном 26 апреля 1941 года в Московском клубе писателей в связи с выходом первого издания «Малахитовой шкатулки», П. Бажов поделился творческими планами. «Я хочу,— сказал он,— продолжить свою книгу до наших дней и завершить ее повествованием о том, как советские горнорабочие посылали в Москву драгоценные камни для Кремлевских звезд» («Литературная газета», 1941, 1 мая). Из этого замысла выделился сказ об уральских ходоках к В. И. Ленину и о том, как был создан про-

славленный Ильменский заповедник. Первоначальный же замысел должен был явиться основой второго сказа, как бы продолжающего «Солнечный камень». Осуществить свое намерение писатель не успел.

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1944, 21 января и журн. «Новый мир», 1944, №№ 8—9. Затем входил во все последующие издания книги «Малахитовая шкатулка».

СТАРЫХ ГОР ПОДАРЕНЬЕ

Впервые — газеты «Уральский рабочий», 1946, 1 мая; «Во славу Родины» (Вена), 1946, 25 августа и 2 сентября и в журнале «Звезда», № 9 за тот же год.

ИВАНКО КРЫЛАТКО

Впервые — газ, «Челябинский рабочий», 1942, 4 апреля, затем в альманахе «Уральский современник», 1942, № 6, Свердловск.

«Иванко Крылатко» — один из наиболее популярных сказов П. Бажова. Закончен был 1 апреля 1942 г. Героем сказа является историческая личность — русский мастер, в начале XIX века живший и трудившийся в Златоусте. П. Бажов, подчеркивая, что в своих сказах идет всегда «от фактов и наблюдений действительности», пишет: «Если рассказываю об Иванке Крылатке, так в действительности был Иван Бушуев, замечательные работы которого можно и сейчас видеть в Оружейной палате. Был у него и соперник — немец, только звали его не Штоф и был он не один, а братья Шааф». (См. письмо М. А. Батину от 20 ноября 1949 г.) Бажовский сказ пробудил интерес к творчеству замечательного мастера, повел к новым поискам оружия с его чеканкой. В конце 50-х годов в газетах появились известия, что обнаружено еще одно изделие Иванки Крылатки. «Это булатный нож, уже источенный безжалостной ржавчиной, но золотой узор, местами сохраненный временем, говорит о мастере-искуснике. На одной стороне изображена охота на медведя, на другой — на кабана. Фигурки охотников, лошадей, собак, точно живые, разбросаны по клинку. А вокруг — уральский пейзаж, который так любил изображать прославленный мастер. Пощадило время и факсимиле автора — около рукоятки отчетливо видна надпись: «И. Бушуев. Златоуст. 1824 год». Это еще одна весточка от Иванки Крылатко!» Нож работы Ивана Бушуева передан в Отдел уральского прикладного искусства Свердловской картинной галереи («Учительская газета», 1959, 10 октября).

Поэт старшего поколения, Юрий Верховский, написал в дни Отечественной войны книжку патриотических сонетов; один из них он посвятил бажовскому сказу «Иванко Крылатко». (См. однодневную газету «Литературный Урал», Пермь, 1943, 12 июня.)

Клинок уральский — восхищенье глаз:
В лазурном поле мчится конь крылатый;
Почтен неоценимою оплатой
Строй красоты, не знающей прикрас.

Таков же, мастер, твой волшебный сказ,—
Связуя вязью тонкой и богатой
Торжественно тревожный век двадцатый
И быль веков,— обворожая нас.

Да будет это творческое слово,
Грядущему являя мир былого,
Оружьем столь же мощным на века,—

Как эта сталь и как душа народа,
Как с ней одноименная свобода —
Крылатый конь уральского клинка.

В 1945 г. Свердловская киностудия создала фильм «Крылатые кони» на основе сказа «Иванко Крылатко» («Уральский рабочий», 1945, 29 декабря).

ВЕСЕЛУХИН ЛОЖОК

Впервые — журн. «Новый мир», 1943, № 1, и сб. «Сказы о немцах», 1943, Свердлгиз. Работа над сказом была завершена 28 октября 1942 г.

КОРЕННАЯ ТАЙНОСТЬ

Впервые — журн. «Краснофлотец», 1945, № 1, и газ. «Уральский рабочий», 1945, 10 ноября. Герои сказа — реальные исторические фигуры: талантливый русский металлург прошлого века П. П. Аносов и его соратник мастер Н. И. Швецов. Сказ в основе своей полемичен. Здесь оспаривается концепция романа Е. Федорова «Тайна булата», опубликованного в 1944 году. П. Бажов, тщательно изучив подлинные исторические документы, решительно отверг выдумку об «иностранном происхождении» аносовского булата.

АЛМАЗНАЯ СПИЧКА

Впервые — газеты «Уральский рабочий», 1945, 18 февраля и «Вечерняя Москва», 1945, 3 марта.

Писатель неоднократно подчеркивал: «Историкам надо направить свои усилия в сторону изучения творческой деятельности тех простых людей — уральцев, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей». Говоря о де-Геннине, практике и историке уральского горнопромышленного дела в XVIII веке, П. Бажов замечает: «По его словам выходит так, что без немцев мы бы на Урале и заводов не построили... Как дошел он в своей истории заводского устройства хотя бы до плотинного дела, так и пошли русские наименования: вешняк, веш-

нянный прорез, ряжи, водные лари, понурный мост». И писатель добавляет: «О первых строителях таких плотин, об истоках их знания и опыта, об их ближайших сотрудниках хотелось бы знать гораздо больше, чем мы знаем сейчас» (К. Боголюбов. Наш Бажов. Альманах «Южный Урал», 1951, № 5, стр. 54).

ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Впервые — газ. Карельского фронта «В бой за Родину», 1943, 8 февраля. Затем — «Челябинский рабочий», 1943, 7 ноября. Посвящен мастерам художественного литья. Герой его — реальный рабочий Каслинского завода, талантливый литейщик Василий Федорович Торокин, живший в конце XIX и начале XX века. Глубокое, длительное изучение исторических источников, материалы и личные впечатления от посещений Касли, беседы с тамошними рабочими — такова основа сказа. Писателем был опубликован еще в 20-х годах очерк «Из поездки в Каслинский завод» (в журн. «Товарищ Терентий», № 12, 1925 г.), где уже намечалась тема будущего сказа. Каслинский завод, старейший на Урале, был основан в 1747 году. Работали здесь «беглые люди», среди которых находились мастера с тульских и олонецких заводов. В конце XVIII века завод выплавлял чугун, который на месте перерабатывали в полосовое, кусковое и сошниковое железо.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛАК

Впервые — однодневная газета «Литературный Урал», 1943, 12 июня. Выпущенная пермской и свердловской организациями писателей в связи с открытием уральской межобластной научной конференции, посвященной настоящему и прошлому Урала в художественной литературе.

«Хрустальный лак» принадлежит к группе «озорных» сатирических сказов, высмеивающих заграничных невежд и плутов, ловцов легкой наживы, стремящихся поживиться за счет русских богатств. Сюда относятся и сказы «Веселухин ложок» (1943), «Тараканье мыло» (1943) и другие.

ТАРАКАНЬЕ МЫЛО

Впервые — журн. «Огонек», 1943, №№ 34—35, газ. «Тагильский рабочий», 1943, 26 сентября и сб. «Во славу Отчизны», Челябинск, 1943 г. Выходил отдельными книжками. «По части издания листовками и на широких площадках,— писал П. Бажов одному из своих корреспондентов,— уже много делается. Саратовский, например, обком ВКП(б) издал сказ «Иванко Крылатко» по серии в помощь партучебе для громкой читки. Наши издают «Тараканье мыло» тиражом 200 000» («Уральский рабочий», 1959, 25 января).

ШЕЛКОВАЯ ГОРКА

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1947, 7 ноября. П. Бажов так определил его тему: «Недавно закончил сказ «Шелковая горка»... Как-то мне пришлось прочесть в одном учебнике, что искусство изготовления пряжи из асбеста возникло во Франции при Наполеоне. А между тем известно, что еще на Урале демидовские крепостные успешно занимались этим ремеслом. Вот об этом я и написал свой новый сказ» («Вечерняя Москва», 1948, 31 января).

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

Впервые — газ. «Красный боец», Свердловск, 1943, 17 октября, а также одновременно в «Правде» и «Труде» — 21 ноября 1943 г. Историю московской публикации рассказал Демьян Бедный в письме к старому большевику, уроженцу Башкирии А. А. Пьянкову, другу П. Бажова, переславшего поэту сказ «Живинка в деле».

Демьян Бедный писал ему: «Милейший Адриан Афанасьевич!.. я рекомендовал настойчиво «Правде» сказ Бажова. Но будучи твердо убежден, что дело затормозит правдинская теснота, я предложил сказ «Труду», пообещав и свой комментарий. И вот получилось — сказ сегодня напечатан и в «Правде» и в «Труде» с моим стишком. Теперь, конечно, будет мне в «Правде» головомойка. Что поделаешь! Придется претерпеть хорошего сказа ради. Сказ, действительно, что надо!» И, сравнивая бажовский сказ с другими произведениями того же жанра, Демьян Бедный заявляет: «То, что случайно попадалось мне на глаза, ни в какое сравнение с «Живинкой» не идет. Не в охуление говорится, а в доказательство, что «живинка — вершинка». К письму были приложены стихи Демьяна Бедного, посвященные им автору сказа и сопровождавшие публикацию в «Труде» в качестве комментария.

Колдун уральский бородатый,
Бажов дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» — сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра.
Найдут, чему здесь поучиться,
Любого дела мастера.
Важны в работе ум и чувство,
В труде двойное естество.
«Живинкой в деле» мастерство
Преображается в искусство,
И нет тогда ему границ.
И совершенству нет предела,
Не оторвать тогда от дела
Ни мастеров, ни мастериц.
Их вдохновение безмерно,

Глаза их пламенем горят.
Они работают? Неверно,
Они — творят.

(«Советское Зауралье»,
г. Курган, 16 декабря, 1960 г.).

«Живинка в деле» открывает цикл философских сказов, утверждающих этические трудовые принципы. Заголовок сказа, как поговорка, вошел в современную речь. К этой же группе сказов относятся такие, как «Круговой фонарь» (1943), «Васина гора» (1946), «Далевое глядельце» (1946), «Рудяной перевал» (1947), «Широкое плечо» (1948), «Золотоцветень горы» (1949), «Не та цапля» (1950), «Живой огонек» (1950).

ВАСИНА ГОРА

Впервые — журн. «Молодой колхозник», 1946, № 1; газ. «Уральский рабочий», 1946, 5 марта. Писатель рассматривал этот сказ как образный отклик на события современности.

ДАЛЕВОЕ ГЛЯДЕЛЬЦЕ

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1946, 7 ноября.

РУДЯНОЙ ПЕРЕВАЛ

Впервые в сокращенном варианте с подзаголовком «Из рассказов старого забойщика» — газ. «Красная звезда», 1947, 19 октября. Первоначальное название сказа «Рудяные вихорьки» было затем изменено при включении в издание «Малахитовой шкатулки» (Свердловское областное издательство, 1949).

ЗОЛОТОЦВЕТЕНЬ ГОРЫ

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1949, 18 декабря и «Литературная газета», 1949, 24 декабря.

КРУГОВОЙ ФОНАРЬ

Впервые — журн. «Мурзилка», 1943, №№ 9—10, затем газ. «Уральский рабочий», 1944, 7 ноября.

Героем сказа является наш современник, рабочий одного из крупнейших заводов Урала. На это указывает сам автор. Он пишет: «За старой рамой люди не видят не совсем старого содержания, которое, однако, нельзя дать в виде фотографии, чтобы человек мог точно сказать — это я. А ведь есть у меня и сказы прямого боя. Например, «Круговой фонарь», писанный о прокатчике ВИЗа

Обертюхине. С героем сказа не знаком. Прочитал лишь несколько газетных заметок о нем и передвинул его качества в хорошо известный мне быт. История это или современность? Вот решите-ка этот вопрос». (Из архива П. Бажова.)

ШИРОКОЕ ПЛЕЧО

Впервые — журн. «Огонек», 1948, № 26 и газ. «Уральский рабочий», 1948, 1 мая.

АМЕТИСТОВОЕ ДЕЛО

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1947, 1 мая, и журн. «Огонек», 1947, № 30. Несмотря на подзаголовок «Рассказ старого горщика»,— это единственный сказ в творчестве П. Бажова, в котором писатель обращается к материалу не столько горнозаводской, сколько колхозной жизни.

НЕ ТА ЦАПЛЯ

Впервые — журн. «Огонек», 1950, № 29 и газ. «Уральский рабочий», 1950, 1 мая. Замысел его возник летом 1950 г. «Прихожу в обком партии,— рассказывал П. Бажов.— Секретарь обкома говорит мне: «Едем на Уралмаш, посмотрим шагающий экскаватор». Поехали. Рассматриваю части этой машины, ее ноги, длинную стрелу, и сразу возникает образ цапли. А у нас, в Полевском, прежде была заводская марка — изображение цапли. Вот откуда и пошли мысли о сказе «Не та цапля» («Литературная газета», 1955, 5 мая).

ЖИВОЙ ОГОНЕК

Впервые, под названием «Советский мастер»,— журн. «Советский Союз», 1950, № 8. Затем посмертно в газ. «Уральский рабочий», 1950, 8 декабря, и в отдельном сборнике, носящем то же самое название («Библиотека «Огонек», изд. «Правда», 1951, № 1).

«Живой огонек» — последнее произведение, написанное П. Бажовым.

ДЕМИДОВСКИЕ КАФТАНЫ

Впервые — журн. «Индустрия социализма», 1939, № 10. Сказ повествует о раннем периоде развития горнопромышленного Урала. Принадлежит к группе сказов-былей. Сюда же относятся такие произведения, как «Марков камень» (1937), «Надпись на камне» (1939), «Тяжелая витушка» (1939), «Про главного вора» (1941), «Дорогой земли виток» (1948), «Про водолазов» (1950), «Медная доля» (1946).

ПРО ГЛАВНОГО ВОРА

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1941, 28 августа. Входил позднее в состав сборников «Сказы о немцах», Свердловск, 1943 г.; Челябинск, 1944 г.; изд. «Правда», 1945 г. Это сказ-побывальщина, повествующий о периоде правления Бирона, о засилье немецкой администрации в управлении заводами на Урале.

МАРКОВ КАМЕНЬ

Впервые — «Литературный альманах», 1937, № 3, Свердловск. Это один из первых сказов П. Бажова. По мотивам сказа свердловским Театром музыкальной комедии был поставлен сатирический спектакль «Марк Береговик». Премьера состоялась 30 декабря 1955 г.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Впервые — журн. «Индустрия социализма», 1939, № 11, а также в кн. «Светлое озеро», 1939, Свердловск. Позднее не переиздавался. Это сказ-побывальщина. События сказа относятся к крепостному периоду на Урале.

ТЯЖЕЛАЯ ВИТУШКА

Впервые — журн. «Индустрия социализма», 1939, № 1, затем в детском альманахе «Золотые зерна», 1939, Свердловск.

Первые наброски этого сказа даны писателем в его книге «Уральские были» — очерки недавнего быта Сысертских заводов («Урал-книга», Екатеринбург, 1924 г.) и «У старого рудника» — очерк истории Гумешевского рудника («Уральский современник», 1940, № 3).

Героем сказа является реально существовавший полевской старатель Василий Алексеевич Хмелинин. О нем писатель неизменно вспоминает в очерковых предисловиях к своим сказам. (См. «Красная новь», 1936, № 11, свердловские сборники 1936 г.— «Дореволюционный фольклор на Урале» и «Урал медный».) В основе повествования случай из жизни Хмелинина, или история старательского «фарта». «Тяжелая витушка» говорит о судьбе талантливого «первого добытчика» в условиях капиталистического хищничества на Урале.

ПРО «ВОДОЛАЗОВ»

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1950, 7 декабря. С подзаголовком «Из литературного наследия П. П. Бажова» напечатан в начале 1951 г. в журн. «Огонек», № 16.

Краткий вариант сказа впервые был опубликован в сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале», 1936, Свердлгиз. Этот

вариант представлял собою «запись по памяти рассказа, слышанного в годы гражданской войны от одного старика-партизана» (Письмо П. Бажова М. А. Батину от 20 ноября 1949 г.). Позднее он был переработан писателем в развернутый сказ.

ИОНЫЧЕВА ТРОПА

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1948, 7 ноября, затем в журн. «Огонек», 1949, № 4.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Впервые — сб. «Урал медный», 1936, Свердлгиз. Первоначальное название — «Под знаком синего тумана». Сокращенный вариант вошел в сб. «Уральские были» (Свердлгиз, 1951), где автор оставил только историческую часть о хищническом хозяйствовании в Гумешках купцов Злоказовых и назвал этот отрывок «Сложный химический процесс». В настоящем томе публикуется полный вариант сказа.

МЕДНАЯ ДОЛЯ

Впервые — газ. «Заря», Ачитский район, на Урале, 1946, со 2 по 5 сентября. Затем в журн. «Огонек», 1951, № 16.

ДОРОГОЙ ЗЕМЛИ ВИТОК

Впервые — журн. «Огонек», 1948, № 17. Первоначальное название сказа «Земли виток» было изменено писателем при последующих публикациях.

У СТАРОГО РУДНИКА

П. Бажов неизменно включал очерк «У старого рудника» во все издания «Малахитовой шкатулки», стремясь подчеркнуть в своих сказах их реально-историческую основу. Первый краткий вариант очерка, озаглавленный «У караулки на Думной горе», вошел в качестве предисловия уже в первое издание «Малахитовой шкатулки» (Свердловское областное издательство, 1939), а затем во второе («Советский писатель», 1942).

В 1940 г. П. Бажов развернул это предисловие в большой очерк, широко введя материал, рисующий горнозаводской быт конца прошлого столетия. Этот вариант первоначально был опубликован в альманахе «Уральский современник», 1940, № 3. Затем начиная с третьего издания «Малахитовой шкатулки» (Гослитиздат, 1944) входил во все последующие собрания сказов.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Словарь этот составлен самим П. П. Бажовым и неизменно публикуется, начиная с первого издания «Малахитовой шкатулки» (Свердлгиз, 1939), во всех последующих выпусках этой книги. В первом издании автор сопроводил словарь краткой заметкой «О речевых особенностях округа и сказителя», где давал пояснение историческим корням, а также звуковым особенностям уральской горнозаводской речи. «Сысертский округ был заселен исключительно «выведенцами» из северных областей,— поясняет П. Бажов.— Наряду с Олонцевыми, Вологодцевыми, Устюжаниными (видимо, переманенными мастерами) шли более многочисленные Медведевы, Зайцевы, Хмелинины, Рябинины и основная группа людей, у которых «уличное прозвище» являлось переводом давно забытого слова. (Например, у Турыгиных прозвище Бураковы, у Тулункиных — Кожины. В сущности, это перевод слов: турыга — бурак, тулун — кожа, снятая рукавом.)

Говорили здесь на «О», с большим уважением относились и к «Ё» («розговаривали твёрдо, во всю её силу»), зато вовсе не признавали «Э», чокали усердно, но в середине перед согласными заменяли «Ч» звуком «Ш», плохо признавали «Ц» и «Щ», заменяя их «С» и «Ш», укорачивали окончания прилагательных и глаголов.

— Чо-жо ето! Копеёшно дело, а евон как играт — на всюё улису!»

Сохранению и осмыслению в сказах речевого своеобразия горнозаводской речи П. Бажов придавал серьезное значение.

Л. Скорино

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Книга вторая

Орлиное перо 5
Солнечный камень 12
Богатырева рукавица 17
Старых гор подаренье 23
Иванко Крылатко 33
Веселухин ложок 41
Коренная тайность 54
Алмазная спичка 65
Чугунная бабушка 73
Хрустальный лак 83
Тараканье мыло 93
Шелковая горка 96
Живинка в деле 108
Васина гора 114
Далевое глядельце 119
Рудяной перевал 129
Золотоцветень горы 140
Круговой фонарь 149
Широкое плечо 155
Аметистовое дело 165
Не та цапля 173
Живой огонек 182
Демидовские кафтаны 191
Про главного вора 198
Марков камень 203
Надпись на камне 210
Тяжелая витушка 220
Про «водолазов» 232
Ионычева тропа 238
На том же месте 250
Медная доля 256
Дорогой земли виток 260
У старого рудника 273
Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах 323

Примечания 341

Павел Петрович БАЖОВ

Сочинения
в трех томах

Том II

Оформление художника
Р. Р. Вейлерта

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1234

Сдано в набор 02.07.85. Подписано к печати 27.09.85.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 18,90. Уч.-изд. л. 18,57. Усл. кр.-отт. 21,42.
Тираж 750 000 экз. Изд. № 62. Заказ № 1122.
Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства
ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Индекс 70684

